

АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ

**ГАМАЮН
-ПТИЦА
ВЕЩАЯ**

- [Гамаюн — птица вещая](#)
 -
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Гамаюн — птица вещая

АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ



ГАМАЮН
-ПТИЦА
ВЕЩАЯ

РОМАН



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

P2
П—261

Первенцев Аркадий Алексеевич
ГАМАЮН — ПТИЦА ВЕЩАЯ
М. «Московский рабочий», 1967, 368 с.

Редактор *В. Яковченко*
Художественный редактор *И. Терехина*
Художник *М. Шлосберг*
Технический редактор *М. Похлебкина*

Издательство «Московский рабочий», Москва, пр. Владимирова, 6.

Л77704. Подписано к печати 29/III—1967 г. Формат бумаги 84x108¹/₃₂.
Бум. л. 6,0. Печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,16. Тираж 100 000. Тем. план 1966 г.
№ 165. Цена 80 коп. Зак. 413.

Набрано в типографии изд-ва «Московский рабочий», Москва, Петровка, 17. Отпечатано в типографии «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16.

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Наивная — кобылица сухая и нервная. Два года назад ее привели из Венгрии, по импортному ремонту. Эта дикая табунная кобылица досталась курсанту Николаю Бурлакову после того, как чуть не оторвала зубами ухо Кешке Мозговому, а второго курсанта, Жору Квасова, лягнула в грудь. Только стальное тело Квасова сумело выдержать такой удар. Квасов исстегал кобылицу длинным ременным бичом и ушел в околоток, схватившись обеими руками за грудь.

Комвзвода Арапчи, жестокий службист и смелый наездник, с наслаждением наблюдал за разыгравшейся сценой — с некоторых пор он возненавидел Жору Квасова. Арапчи был старшиной школы и растрчивал всю свою неукротимую энергию потомка кочевых цыган и свой мстительный, озлобленный характер на воспитание порученных ему курсантов. Кто-кто, а Арапчи мог вытянуть из человека все жилы, заставить беспрекословно выполнять любое приказание. Все личное

оставалось за пределами казармы, манежа и просторного двора кавдивизии, обнесенного монументальным кирпичным забором.

Арапчи презирал Мозгового за плоскую грудь, вялые мускулы и изворотливый ум и в конце концов загнал его в каптерку. Квасовым же в душе восхищался: и ловкостью его, и яркой мужской красотой, и умением схватывать и исполнять приказания на лету. Арапчи выбрал этого молодого рабочего парня из десятков других и сделал его своею правой рукой. Квасов легко вышел в отличники, лучше многих рубил, выкидывал разные фортели на вольтижировочном седле, пленяя простодушных шефов текстильщиц, метко стрелял, крутил на турнике «солнце», чего только не делал Жора Квасов! Арапчи души в нем не чаял. И вдруг любовь превратилась в ненависть. Как позже выяснилось, Квасов отказался «тянуть» своих товарищей, в общем, не вышло из него правой руки старшины. Его списали в пульэскадрон, на тачанку, а потом уволили в запас рядовым.

Спустя год был уволен в долгосрочный отпуск и его друг Николай Бурлаков.

И вот Наивная, темно-гнедая кобылица венгерских кровей, последняя память о дивизии, осталась далеко-далеко позади. В ушах Николая еще слышится ее ржание.

...Поезд пересекал Донецкий бассейн в сплошной мутной пелене студеного осеннего дождя. Через окна вагона проникали едкие запахи паровозного дыма. На перронах толпились мокрые люди с мешками и сундучками. На лицах будто вырублена железная решимость попасть в поезд, а раз попал, то и доехать до места. В сброшенных с плеч мешках похрустывали сухари. В дерюжки аккуратно завернуты топоры и пилы. Строители шли со своим инструментом на Магнитку, в Кузбасс, в Сибирь.

Никто не жаловался, не скулил, не надоедал своими лишениями и горечью. Ели хлеб, пироги с картошкой и рыбой, отрезали острыми, как бритвы, ножами ломтики от больших кусков сала, потом бережно прятали сало в холстинку. Кое-кто прикладывался и к баклагам. В нехитрой крестьянской таре хранился свекольный первач.

Читали газеты, верили каждому слову, запоминали цифры. Капитализм был обречен, будущие строители заводов и домен не сомневались в этом. Твердо, на крепчайшей основе, стояла только одна шестая часть суши. То, что было задумано в расчете на пять лет, проворачивали в три года. Разбуженная энергия народа обрушивалась на лопасти мощных турбин и вертела их.

Молодые люди с кимовскими значками орали песни с такими

дерзновенными словами, что мороз пробежал по коже. Судьбы их складывались вместе с эпохой. Их матери подавляли в себе сомнения и жалость, штопали сыновью одежку в дорогу, выплакивались в одиночку, а к детям выходили с сухими глазами.

— Удивительный народ! Пятнадцать лет кипит как в котле, и хоть бы что! — приподнимая рыжие брови и неподвижно уставясь в невозмутимое лицо Бурлакова, говорил его вагонный попутчик, назвавшийся инженером Парранским. — Только прошу запомнить, моя фамилия произносится и пишется с двумя «эр». Паранские с одним «эр» имели сахарные заводы на юге, пускались в сомнительные предприятия и... как вы понимаете, отшелушились от нашей системы. Я никакого отношения к ним не имею и в родстве с ними не состою. Мой отец знал Мамина-Сибиряка, служил в Екатеринбурге, его имя Илья Андреевич, мое — Андрей Ильич. Я тоже служу молоху, как и мой тезка Андрей Ильич Бобров. Доводилось читать Куприна?

Николай Бурлаков ежился под этим пристальным, испытующим взглядом фаянсовых глаз, стыдливо краснел, когда вопросы ставились с полной бесцеремонностью. Никогда в жизни он не слыхивал ни о каких Парранских, ни с одним, ни с двумя «эр», Куприна читал, однако ни фамилии, ни тем более имени и отчества главного героя не запомнил. Екатеринбург теперь, кажется, Свердловск. А что касается знакомства папы этого рыжебрового и краснобородого служителя молоха с Маминым-Сибиряком — врет, без зазрения совести врет.

Будь тут Кешка Мозговой, он ответил бы, за словом в карман не полез. Он сумел бы точно так же положить ногу на ногу, откинуться на спинку дивана и закурить с фасоном, оттопырив мизинец, и этим же мизинцем небрежно и ловко сбросить пепел.

Но рядом Кешки не было. До Жоры Квасова — еще далеко. Жора Квасов по-братски пригласил Николая не куда-нибудь, а в Москву. Письмо с адресом лежало в левом кармане гимнастерки. Квасов с присущей ему прямолинейностью и радушием предлагал другу обосноваться в Москве, не забираться снова в деревню, хотя дела там идут в гору, текут туда машины из Харькова, Ленинграда и Ростова-на-Дону. Жора обещал устроить Николая на фабрику, познакомить с «рено» и «Веревочкой». Что означали последних два слова, Николай так и не мог разгадать.

Миновали Украину. Дневная суতোлка, песни, разноголосица уступили место сонному бормотанию и храпу. В коридорах не протолкнуться: люди сидели, привалившись друг к другу, прикорнув у стенок. В вагоне затопили добытым в пути углем. Стало теплее. Кисло запахло просыхающая одежда.

Угрюмые дядьки, ввалившиеся в купе после Артемовска, наелись лука и сала, свирепо обсудили вопрос о каких-то гадах, не то подкулачниках, не то троцкистах, мешавших развиваться колхозу согласно партийным решениям, и, подложив под головы мешки и сапоги, улеглись спать на верхних полках.

Парранский раскрыл несессер, молча стал подпиливать ногти. Рыжая борода закрыла шею, резче обозначились глубокие пролысины в его реденьких волосах. Теплый свитер с серыми матовыми пуговками свободно сидел на его некрупном, хорошо упитанном теле. Такие вот устроенные, хорошо одетые и сытые люди всегда вызывали в Бурлакове двойственное чувство уважения и зависти. В восемнадцатом такого бы «рубали» только за его внешний вид, в двадцатом потащили бы в первое же вокзальное Орточека, а сейчас никому до его внешности нет дела. Никто не назвал буржуем, никто пальцем не потыкал. Люди заснули, свалились как мертвые. Одежонка на них, ежели разобраться, ветхая, обувь и того хуже. У каждого впереди Урал, Сибирь, Дальний, тайга, апатиты, руда, шахты...

Парранский перестал шуршать пилочкой, поднял глаза и, не меняя позы, по-прежнему подогнув маленькие ножки, сказал:

— Крепкая же должна быть вера у всех этих людей...

Бурлаков переспросил осторожно:

— Какая вера?

— Вера в самих себя... Ведь они ополчились на капитализм. Для вас капитализм — это гниль, развал, одна нога в пропасти и прочее. А ведь я был за рубежом. Вот мы тащимся сейчас по России, темно, поглядите — ни одного пятнышка света. А там читать ночью можно. Бешеный электрический свет. Улицы как потоки. Машины, огни... Жрут вволю, пляшут, в рессорных плавных пульманах пересекают страну. А мы... Строим, конечно, строим везде. Магнитную гору решили перелопатить на сталь. Кузбасс. На Днепре, у запорожских могил, — ГЭС, в Березниках — химия, в Саратове — комбайны, в Нижнем Новгороде, в торфах Монастырки, — автозавод; шарикоподшипники, трубчатки, крекинги, самолеты, станки, спецстали... Все верно, все нужно. Подшипник выскакивает из автомата упругий, красивый, блестит, сволочь! А человек? Черный, с землистым лицом, полуголодный, одетый черт те во что, пахнет-то от него как!.. — Grimаса страдания передернула лицо Парранского. Он говорил искренне, не издевался. Казалось, он обращался не к Николаю, а к самому себе. — Мы слишком много молчим. Уверяю вас, это не от глубокомыслия. Мы обмениваемся соображениями только с трибун или на совещаниях и большую часть нужного нам скрываем, опасаемся друг

друга, боимся улучшать или видоизменять. У меня есть дельные мысли. Конечно, я могу ошибаться, но я должен их высказать. Пусть это покажется бредом. Но и в бреде выбалтывают иногда важные вещи... С полки прохрипел полусонный голос:

— Хлопцы, чи вы еще не набалакались? А нет, то хоть ланпу прикройте газеткой...

— Извините, товарищ, — сказал Парранский и зашуршал газетой.

— Я-то шо... Я ничего, ребята. Не могу на боку спать, сердце болит и жжога. Потому и прошу. Не набалакались, пожалуйста... Извините... — Бурливый басок превратился в бормотание — дядько дал храпака.

Парранский улыбнулся и, уловив заинтересованность спутника, спросил его:

— Вы не расположены последовать их примеру?

— Нет.

— Я не люблю односложных ответов, молодой человек, — несколько обиженно заметил Парранский. — Поезд объединяет на короткий срок случайных людей и так же быстро и навсегда их разъединяет. Человек сошел с поезда — и канул в бездну. Больше никогда вы его не увидите, никогда... Странно и отрадно. В поезде можно быть откровенным. Вспомните, вы о чем думали, когда сидели у окна и смотрели на терриконы? Я заметил на вашем лице следы грусти. Мне это понравилось. Наша молодежь мало грустит, она скачет, поет, бодрится. Итак, о чем вы думали?

— Я думал о Наивной, — просто ответил Бурлаков, покоренный искренним тоном своего попутчика. — Наивная — это всего-навсего лошадь. Я сам обучал ее, объезживал, научил многому и потом расстался с ней... Увольняясь, мы, кавалеристы, по традиции едем на станцию железной дороги на конях. Если много уходящих из армии, дают оркестр. Мало — ограничиваемся товарищами и своими командирами. Наивная провожала меня. Ржала. Мы это называем — плакала... Вот о чем я думал. О том, что я больше никогда не увижу Наивную.

Парранский задумался. Веки его опустились и чуть-чуть вздрагивали при толчках вагона. За окнами по-прежнему бежала равнина. Кажется, это среднерусская земля. Бурлаков заметил: губы у Парранского свежие, молодые и сложены, как у раздосадованных капризных детей. Вот у сестренки Марфиньки так же надуваются губы, когда ее рассердишь. Лицо Парранского в пятнах, как у человека, кожа которого не поддается загару. Руки в запястье крепкие, пальцы тоже сильные, короткие. Рабочие пальцы. Ступня ноги, обтянутая пестрым, явно заморским носком, маленькая, будто

у женщины. Мужчины с такими физическими качествами всегда вызывали у Бурлакова чувство пренебрежения и жалости. Когда Арапчи разносил его за какую-нибудь чепуховую провинность, Бурлаков нарочито вытягивался перед ним во весь рост, и это бесило старшину школы. Но возникший в памяти смуглый неистовый Арапчи исчез так же быстро, как и появился. Бурлаков смотрел на высокий лоб Парранского, на его подвижное умное лицо.

Пожалуй, стоило рассказать ему о Наивной, о ее первом появлении во дворе дивизии, о том, какая она была недоверчивая, опасная. Видно, Жора Квасов действительно получил тогда от нее крепкий удар, если уж взялся за бич. Потом впервые за службу побрел в презренный околоток.

— ...когда я к ней подошел, она дрожала всем телом. Под кожей вспухли рубцы. Увидев меня, она натянула чумбур и скосила глаза. У лошадей бывают такие глаза: в них ненависть, обида или оскорбленность. Лошадь — чуткое животное и многое понимает инстинктом. Если человека можно обмануть, ее нельзя. И, кроме того, лошади, как и все животные, любят ласку, ценят человеческое к ним отношение...

— Простите. — Парранский предупредительно наклонился. — Вы, очевидно, получили образование? Из какой вы семьи?

— Образование? — Бурлаков сразу нахмурился, будто вопрос был ему неприятен, и в упор взглянул на своего попутчика.

— Вы извините, — обеспокоенно и мягко произнес Парранский, — извините за то, что я вас перебил... Мой вопрос продиктован одной... потребностью глубже разобраться в процессах, происходящих в России, иногда помимо воли или, вернее, прямого желания людей. Мне неинтересны вон те, страдающие «зжогой». Я их знаю еще по Бунину, по Горькому, да и по собственному опыту. Мне хочется понять молодежь нынешнего века: какова она, каковы ее идеалы, искренни ли ее песни, стремления, ее разафишированный и уже набивший оскомину энтузиазм? На Семнадцатой конференции, где присутствовало триста восемьдесят шесть делегатов с решающим голосом и пятьсот двадцать пять с совещательным... — Парранский не надел, а как-то ловко набросил пенсне на переносицу и ткнул коротким пальцем с отшлифованным ногтем в страницу лежавшей перед ним серой брошюры. — Указано (письменно указано!), что основной политической задачей второй пятилетки является окончательная ликвидация всех капиталистических элементов... — голос Парранского сбился на скороговорку, — полное уничтожение причин, порождающих эксплуатацию человека человеком, и... вот тут самая цепкая закорючка: «и преодоление пережитков капитализма в экономике и

сознании людей». — Парранский стряхнул пенсне, поймал его лодочкой ладошки и недоуменно вскинул брови. — Что угодно пойму, любые гипертрофические планы, но преодолеть пережитки капитализма в сознании людей за одну пятилетку? Другими словами, полностью освободить человека от зависти, коварства, жажды прелюбодеяния, кляузничества, воровства, элементарного права на свое личное гнездышко... Такие фантастические задачи не могут решить не только триста восемьдесят шесть делегатов с «правом решающего голоса», но и в сто, в тысячу раз больше. Если даже устроить мировой плебисцит, и все выскажутся «за», если завтра уже в тысячи концов понесутся, завывая сиренами, полицейские машины выполнять решение... Нет, ничего не выйдет. Человечество не может искренне поставить «да» под анкетой подобного фантастического плебисцита. Природа человека останется неизменной... Триста восемьдесят шесть делегатов решили за одну пятилетку — а ее, вероятно, тоже выполнят за три или четыре года — ликвидировать страсти героев Шекспира, лукавство слуг Лопе де Вега, расейскую кондовость, пустить по ветру соломенные крыши, вытащить за хвост коровенок из их вековых катухов! Нет, тот, кто протянет только палец к мужицкой коровенке, к кормилице, у того надолго отнимутся руки... — Парранский, казалось, торжествовал, голос его окреп и негодовал. — Наивная хватила копытами такого волосатого мужчину, каким вы представили мне своего Брагина...

— Квасова, — осторожно поправил Бурлаков.

— Пусть будет Квасов. Неважно. Пусть вместо Мозгового будет Безмозглый, кобыла все равно хватит его копытами в грудь. И не уверен, поможет ли фельдшер в околотке. Так и пережитки, как эта кобыла. Крестьянина попробовали уложить на прокрустово ложе нового обихода, кричали, восторгались успехами. А потом что? Глотать горы пирамидона от головокружения? Милиция может согнать в вагоны миллионы кулаков и вывезти их куда угодно, хоть свалить под откос. Это они могут, это шикарно удалось. Но ведь пережитки не запломбируешь в ящиках, это же нечто неуловимое, флюиды, это существо человека, его импульсы...

— Это вы очень... сплеча, — сказал Бурлаков, застигнутый врасплох водоворотом чужих и, видно, опасных мыслей. — Если партия решила, то сделает.

Парранский мучительно сморщился и, вяло отмахнувшись, налил себе полстакана холодного крепкого чая; он выпил его маленькими жадными глотками.

Дядько на полке сипло постанывал, лежа на левом боку, и бормотал

густым булькающим голосом: «Ты его под дыхало... под дыхало». В кошмарном сне дядько продолжал битву с подкулачниками, а может быть, и еще с кем-то из сонма врагов, накинувшихся на вздыбленную матушку Русь.

— Легче всего «под дыхало». — Парранский провел ладонью по вспотевшему лбу. — Что это они так нажаривают? Натаскали дармового антрацита в Донбассе и жгут... Вот вы о партии. И она борется с искривлениями своей линии. Хотя, как инженер, привыкший к точности, могу сказать: если линия искривлена, то это уже не линия. Для геометрических кривых существуют другие названия... Да, вы не ответили мне на вопрос.

— Это насчет образования?

Бурлаков сидел, прислонившись спиной к жесткой стенке, чувствуя ритм движения поезда. Лицо его теперь было скрыто в тени, падающей от верхней полки. Мятущаяся речь случайного попутчика вызывала любопытство, даже острое. Но в то же время ему было жалко его. Бурлаков сказал, что ему не удалось закончить среднюю школу, пришлось работать в небольшой мастерской тракторной станции. Потом призыв, армия.

Думает ли он остаться в деревне?

Сразу на такой вопрос не ответишь. Надо вернуться домой, осмотреться, обдумать. Артель у них маленькая, две деревеньки, почвы малоплодородные, кругом косогоры. Полезной земли в артели немного, гектаров шестьдесят. Трактор гоняют издалека, топливо обходится дороже. Пашет не пашет, крутится, как индюк на золе.

Колхозники тянутся в город: молодежь — на заводы, старики — на базары. Под Москвой каждая травка стоит деньги.

— Вот видите... Факты, как говорится, упрямая вещь, — сказал Парранский. — Ленин, чтобы разобраться в сущности капиталистического земледелия, сколько потрудился, сколько керосина в лампе сжег. А теперь я что-то не вижу теоретиков, способных разобраться в вопросах социализма в земледелии.

— Ну что вы, сколько принимается решений, — попробовал возразить Бурлаков.

— Решения — это практика, а не философия, и тем более не перспективная философия. Решения — это эмпиризм, если хотите...

Козырнув философским термином, Парранский взял полотенце, мыло в хромированной коробочке и пошел умываться.

Из коридора остро пахло прокисшей одеждой, нечистым телом. Люди устроились на ночь по-братски, спали вповалку. Вскоре Парранский

вернулся.

— Извините, молодой человек, — сказал он, — вы уже устроились на ночь? У меня есть предложение: давайте-ка заберемся на третий этаж.

— Не понимаю...

— Там, в тамбуре, на сквозняке... дети. — Парранский развел руками и почему-то снизил голос до шепота. — Вы не будете возражать, если мы — на насест, а их сюда? Их матери совсем извелись... Слоняются люди по лику земли...

— Вы хотите их устроить здесь?

— Да... Не подумайте только, что в данном случае играет роль интеллигентская слабохарактерность или никому не нужное слюнтяйство. И тем более желание щегольнуть своим великодушием. Я люблю удобства, забираться наверх меня не заставили бы ни наганом, ни Евангелием. Просто жаль ребятишек. У одной женщины девочка лет двух, глазенки такие скорбные, круглые, как у птички; у другой — близнецы, лет по шести, крепкие такие, русые, стриженные... На полу спят, понимаете?

Женщины ехали в Сибирь, к своим мужьям. «Вызвали. Из Кривого Рога мы, — объяснила одна из них, молодая украинка, с тугим узлом косы на затылке. — Летом там в балаганах жили, ехать было некуда, а к зиме построили бараки. Заработков хватает на хлеб да квас, а на два дома жить нетерпимо. Едем на рудники, на медь. До Москвы, а там пересадка. Не знаем, как попадем. Туча народа кругом...»

Утром женщин перевели в соседний вагон. Они ушли с достоинством, поблагодарив скупое. На одной из захолустных станций поезд стоял невыносимо долго, и «верхние дядьки» отправились с мешками покупать дешевую, по слухам, картошку. Парранский возобновил вчерашний разговор.

На комсомольские протесты своего попутчика он не обращал никакого внимания и не добивался от него единомыслия. Бурлаков понял, что этот человек, по существу, совсем не «контрик» и ни в какие непотребные дебри затащить его не стремится. Он положительно рассуждал о том, что поставлено, напечатано в газетах и должно решаться безоговорочно. Но человек с рыжей бородкой думал обо всем этом как-то на свой лад: вроде и так и все-таки не так. Арапчи назвал бы такого очень просто: «Мужчина с кривыми мозгами». Жора Квасов, будучи на месте своего друга, заставил бы инженерика пить с ним водку и закусывать солеными огурцами. Кешка Мозговой, пожалуй, нашел бы с ним общий язык. А он, Николай Бурлаков, мог только слушать и либо возражать, привлекая весь свой небольшой комсомольский опыт, либо поддакивать.

Парранский верил в полноту и крепость власти, в окончательную победу над троцкистами и правыми реставраторами, не сомневался в монолитности совместных усилий партии и доверившихся ей народов бывшей Российской империи, преклонялся перед железной четкостью работы аппарата, принуждающего несознательных личностей к государственной ответственности. И только в одном колебался: можем ли мы так быстро, как намечено планами, перегнать индустрию капитализма?

— Современное производство — не только рудники, не только выплавка стали, передельного чугуна или выпуск грубых станков, тракторов и обиходных машин. Индустрия теперь — синтез сложной науки. Она дышит, чуть ли не мыслит. Это не кувалда, молодой человек. Если догонять капиталистов, нам нужны, прежде всего, точнейшие измерительные приборы, аналитические механизмы, термическая аппаратура... Пока мы сидим на импорте и на наследстве, оставшемся от прошлого. А потом? Понадобится золото. Сотни тонн золота, лицензии на огромный импорт...

— Что же делать?

— Покупать у них... Пока будут продавать и не спохватятся.

— А если откажут?

Парранский подсвистнул, сложив губы бантиком. Бородка дернулась вверх, глаза сощурились.

— Откажут? Ну, уж тогда мы сами должны сделать все необходимое.

— Сделаем?

— Если возьмемся дружно. Миром возьмемся. Если перестанем в старом специалисте видеть замаскированного предателя, вредителя, вооружим его доверием. Если рабочий поймет свое место в государстве и откажется от старинки. Не понимаете, что сие значит? Все весьма просто. Есть такая заповедь: сработать поменьше, получить побольше. Пережиток? Возможно. А вернее — отсутствие чувства хозяина. Ему кричат: «Гегемон, диктатор!» — а он кепчонку на бровки — и к мастеру: «Ну, братец, как наряд закрыл?» То есть сколько, мол, заработано. Чуть не по его: «За что боролись?!» Вот тут меня и начинает точить червь сомнения... Вы читали «Мать» Горького? — Бурлаков кивнул. — Из-за чего там сыр-бор загорелся? Из-за болотной копейки. Мы слишком рано стали глумиться над копейкой, молодой человек.

Бежали столбы. Сырые поля будто упирались в оловянное небо. Давно исчезли села с белобокими хатками, похожими на сорочьи стайки. Пошла деревянная, избяная Россия, загадочная и в то же время необыкновенно простая.

— Чугун будут лить, чугун... — слышался из коридора женский голос,
— а с чугуна железо, а с железа — все: гвозди, шило и разные машины...

ГЛАВА ВТОРАЯ

А Москва встретила мокрыми хлопьями снега. По расквашенной жиже с чавканьем бежали грузовые автомашины, куцые, маленькие, новых марок. Их было совсем немного. Пока еще господствовали на улицах ломовики и легковые извозчики. Фаэтоны, похожие на скрипки, выстроились в ряд возле вокзалов. Несколько таксомоторов «рено» стояли особняком, и транзитные пассажиры посматривали на них с любопытством и опаской.

Парранского встречала жена, высокая белолицая дама с кудряшками, выпущенными на лоб из-под шляпки, и две девочки в одинаковых пальтишках и капорах. Парранский, не опуская чемодана, поднял поочередно дочек свободной правой рукой, поцеловал. Потом они пошли по перрону к выходу. На мокром снегу отпечатывались их следы.

Бурлаков попрощался со своим попутчиком еще в вагоне, и тот попросил не забывать его. Но адреса не оставил и точного места работы не назвал. Действительно, расставшись в поезде, люди исчезают, как в бездне. Нижегородский новенький автомобиль «газик», в то время верх всякого шика, увез Парранского вместе с его семьей. Последний раз мелькнул вдалеке приметный брезентовый верх машины. Вот кто-то устроился в жизни, обзавелся семьей, кого-то встречают, радуются... Грустные мысли владели Николаем недолго. Надо было сдать в камеру чемодан, а потом где-то поесть, прежде чем пускаться в путешествие по столице.

Мужчина в кожаном фартуке и рукавицах, нагружавший конный полук ящиками с пустыми бутылками из-под пива, указал локтем куда-то в сторону виадука, по которому бесконечно тянулся товарный состав.

Тяжелый битюг утробно дохнул бывшему кавалеристу в лицо и любопытно пошевелил ноздрей. Возможно, московский битюг уловил неистребимый запах конюшни, пропитавший шинель.

— За «Оргметаллом» — столовка! — прокричал вслед ему возчик. — Слышишь, за «Оргметаллом»! Если нет карточек, то по коммерческим ценам...

Чтобы попасть к «Оргметаллу», самому значительному сооружению в Москве (поэт писал о нем: «Краса и гордость «Оргметалл» многоэтажно заблистал»), нужно было пересечь загруженную часть вокзальной площади и пройти под виадуком.

Казалось, конные обозы попеременно с грузовичками двигались беспрерывно. На платформах везли ящики со станками, муку, рогожные туки с красным товаром, сырые кожи, бочки, источавшие запахи сельди.

Черные людские гроздья висели на подножках трамваев. Везде кишели сосредоточенные люди. Пока все их богатство заключалось в наплечных мешках, и они крепко держались за ляжки. Москва вышла на скрещение дорог пятилетки.

Снег перестал. Подул холодный ветер. Руки Николая озябли, пришлось натянуть перчатки. Фуражка, носившая полковые цвета, белый и красный, вскоре должна будет уступить место суконному шлему.

В столовой можно было получить котлеты из верблюжьего мяса, вареный картофель, соленую сомятину и желудевый кофе с таблеткой сахара.

Денег у Николая было немного. Две сотни рублей, скопленные за последние месяцы и зашитые в гимнастерке, в счет не принимались. Они предназначены родителям: писали, просили добавить на корову. Посетители столовой с серыми лицами и красными пальцами ели без удовольствия, как бы справляя повинность, платили хмуро и уходили, взглянув только на сдачу. Все были заняты спешными делами, а в массе из таких отдельных дел, точно из кубиков, складывалось большое, вызывающее удивление государство.

Поев, Бурлаков вышел на улицу, осмотрелся. Люди шли и шли, толпились возле трамвайных остановок.

Поезд в Удолино отходил после полуночи. Оставалось свободное время. Прежде всего надо было разыскать Квасова, сговориться с ним о работе, а потом повидать знакомую девицу, мысли о которой ни на минуту не покидали Николая.

О ней чуточку позже. А пока пойдем вслед за Николаем Бурлаковым. Как и многие провинциалы, он прежде всего направился на Красную площадь. Из тех, кто появлялся в сердце России, никто не миновал Красной площади.

Еще один человек смешался сейчас в многоликой толпе. Никому не было до него дела, никому!.. Редкий прохожий лишнюю секунду задержит взгляд на кавалерийской фуражке — белый околыш и алый верх — и продолжит свой путь. Прекрасно и жестоко равнодушие большого города.

Трамвай проехал через торжище близ Сухаревой башни и, осилив подъем, покатился вдоль голых деревьев бульвара. Над бульваром летали вороны, тяжелые и крикливые. Их пронзительные крики усиливали чувство одиночества.

Город казался не только чужим, но и страшным. Незачем всматриваться в лица, все они одинаковые и мгновенно стираются из памяти.

От Садово-Триумфальной можно ехать трамваем до Красной площади. Но лучше пешком, и как можно медленнее, впитывая в себя самые мелкие впечатления. Кино «Ша-Нуар». Человек смотрит через черные перчатки зловещим круглым оком: «Иди на «Мисс Менд»!»

За обомшелыми кирпичами старинных стен поднимались бочоночки куполов и кресты Страстного монастыря. Возле ворот по привычке собирались калеки и протягивали руки из-под лохмотьев.

Пушкин исподлобья глядел на монастырь и калек. Возле него ползали дети. На плече одноглазого шарманщика сидел, сжавшись в комочек, белый озябший попугай.

Старая Тверская падала вниз вместе с трамвайными рельсами, людьми и домами.

Городу становилось тесно в старых пределах, тесно от трамваев в узких улицах, от машин и обозов, от людей, ютящихся где придется: в подвалах, бараках, на чердаках, в затхлых углах домов... И чем больше ютилось людей в этом городе, чем тесней набивались ячейки в общих сотах, тем больше, по какому-то закону тяготения, манило новые толпы сюда, в Москву.

Бурлаков наперед знал: здесь не мед. Никто не собирается выстилать его дорогу цветами. Если с работой легко, если со всех рекламных щитов скликают рабсилу, то с жильем трудно. Вначале он готов на что угодно: на общежитие, на рабочий барак, даже на простые нары. В селе и того хуже: постоянная забота о «картохе» и ржи, зимние вьюги, фитилек в керосиновой лампе; пашня и прорубь, ведра, покрытые льдом, словно салом...

А Москва есть Москва. Не выйдет тут, можно податься в Сибирь, в Кузнецкий бассейн, а то наняться в Дальстрой. Призывные плакаты с белыми пароходами, скалами и кедрочками звали на Тихий океан, на Чукотку, в тайгу.

На Центральном телеграфе у одного из окошек вытянулась очередь. Вербовщик Дальстроя тут же снабжал желающих проездными билетами и подъемными деньгами.

Телеграф, как и вокзал, был переполнен людьми. И сюда перекочевал устойчивый, будто спрессованный запах великого людского кочевья. Измученные телеграфистки в вигоневых кофточках и бумажных юбках с самоотверженным деспотизмом придавали хаосу какую-то стройную

форму. Девушки исправляли телеграммы, переписывали адреса, листали пухлые справочники и ничему не удивлялись. Ранее неизвестные географические названия, словно грибы после теплого дождя, возникали на первых полосах газет, на кумачах, на телеграфных бланках и превращались в символы гигантски растущей индустрии.

«Нет, не усидишь теперь в удолинской хатенке, — думал Бурлаков, — там выше двух аршинов не поднимешься».

Когда освободилось место за дубовой конторкой, он написал бодрую открытку в полк, послал привет из столицы, спросил о Наивной.

Сейчас в полку время послеобеденной чистки. Двор залит солнцем. У коновязей мелькают щетки и шуршат щетиной скребницы, прохаживаются и покрикивают старшины; квохчет насос, и корыта наполняются голубоватой водой. Возвращаются с полевого манежа призовые наездники: комвзвода Ибрагимов, с фуражкой набекрень и румянцем во всю щеку, и его соперник, джигит Шихалибеков — горбоносый, узколиций, с кривой потомственной шашкой в серебряных ножнах и в мягких козловых сапогах.

Стоит Арапчи, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Арапчи видит все: и коновязи, и каждого курсанта, и темп чистки, и кто как моет хвост или расчищает копытную стрелку, и живописных джигитов Ибрагимова и Шихалибекова, которых ревнует к их удаче и славе; все видит Арапчи, только отделенный командир Николай Бурлаков выпал из поля его зрения. И кто его знает, на какой срок.

«Передайте привет товарищу Арапчи...» — дописал Николай Бурлаков и помахал бумагой, чтобы просохли чернила.

Смутное чувство растерянности не покидало его. Недавно все было определено и ясно. Была надежная крыша казармы над головой, койка, полковая сытная кухня, твердый регламент жизни и отношений: «На поверку становись!», «Манежным галопом!». Чертовски все точно. Наивная звенит поводом, жует свой гарнец овса. Арапчи вынимает белый платок из кармана шинели и встряхивает им. Заканчивается чистка. Арапчи будет проверять «на платок» чистоту шерсти на крупе и даже у пахов.

А тут... Тверская катит вниз, к бывшему руслу речушки, закованной в трубы. Как черный остров, поднялось здание «Экспортхлеба» и еще какие-то дома, запирающие выход улицы к Боровицкому холму.

Напротив Центрального телеграфа — кавказский ресторан. Его бы и не приметить, если бы не несло на всю улицу жареным на вертелах мясом и сгорающим на углях бараньим жиром.

Бурлаков невольно задержался возле входа в подвал у меню, обещающего изобильные кушанья. Все можно купить без карточек: и вино,

и мясо, и цыплят, запеченных над раскаленными камнями.

Пожилой мужчина в сибирском малахае еле вяжет языком:

— Бухарина здесь видел вчерась, Радека видел, жизнью клянусь... Тут все: коммунисты... оппортунисты... головокружисты... Нейтральная шашлычная территория... Плацдарм шампуров и мангалов...

— Хочешь сказать, равенство? — сурово спрашивал второй, почти трезвый субъект в английском френче трофейного происхождения.

Серый конь с расчесанным хвостом и белой гривой, волнисто разлетавшейся над картинно выгнутой шеей, остановился у входа. Извозчик-лихач, сохранивший былую выправку и ватный кафтан, быстро перегнувшись с козел, отстегнул кожаный фартук, не выпуская из рук туго натянутых малиновых вожжей.

На тротуар легко выпрыгнул сутулый человек в кожанке и кепке, с лицом, изуродованным сабельным шрамом. Оттеснив толпу руками и спиной, он освободил место сошедшему с пролетки могучему мужчине. Нагольная широко распахнутая поддевка еще хранила на себе следы портупей. На черном френче в ряд, на бантах, три ордена Красного Знамени.

У мужчины был массивный затылок, сильные плечи атлета и неприступно-гордый профиль.

— Чего уставился? — с великодушной грубоватостью спросил он, заметив ошалевшего человека в малахае. — Служил, что ли, у меня? Говори поскорее, некогда.

И подал ему руку.

— Не служил у вас, товарищ Серокрыл... — Человек в малахае обрадованным голосом назвал его не только по фамилии, но и по имени и отчеству.

— Знает вас, Степан Петрович, — сказал мужчина в кожанке и, расстегнувшись, будто невзначай открыл орден Красного Знамени.

Человек в малахае не обратил внимания на его жест. Он спешил высказаться перед ошеломившем его знаменитым партизаном:

— Мы у Федько тогда служили. А вас я в Пятигорске видел. На вороном коне... Потом картину художник дал про вас, точно, ну, будто сам был там.

— Да, да, — подтвердил знаменитый партизан внушительно, пытаясь придать басовитость своему глухому и тонкому голосу, — я у него на картине похож на зубра. — Глаза партизана, цвета полированной стали, дерзко блеснули; взгляд его обежал столпившихся людей, только на миг задержавшись на восторженно глядевшем на него Бурлакове. — Брали мы

атакой город один, художник был с нами, ничего не скажешь, был... С натуры брал кистью... Моторный был живописец. — И сразу оборвал речь, подкинул руку к шапке бухарского смушка. — Жрать хочу зверски. Пока, хлопцы!

Человек в кожанке пропустил его вперед и, когда знаменитый вожак скрылся в дверях, спустился вслед за ним по ступеням.

Лихач поскучал три минуты, наметанным глазом окинул никчемную для него толпу и отпустил вожжи. Рысак бешено рванулся и понесся вверх по Тверской.

— Вот тебе штука, — сказал человек в малахае, — такая высота. Эльбрус рядом с ним ниже, а за руку поздоровался, не пренебрег. А в каком-нибудь занюханном собесе ухом на нашего брата не поведут, справки хреновой не добьешься...

Второй снял картуз, вытер им лысину.

— Там государственная служба, на законе сидят. Если нужна бумажка, значит, никуда не денешься, ищи ту самую бумажку, предъяви. Чего же им перед тобой расшаркиваться? А тут случай, настроение. И у него и у нас политическая база одна: выпить и закутить. Полное равенство. Говорил же тебе...

Милиционеры, похожие на снегирей, разгоняли торговков в Охотном ряду, приваливших сюда по привычке с корзинами и мешками. Тяжелое здание «Экспортхлеба» и смежные с ним дома, обращенные фасадами к Историческому музею, занимали почти всю площадь до Манежа.

Трамваи с трудом одолевали крутой въезд на Боровицкое всхолмье. На Красной площади, напротив Мавзолея, стоял памятник, сооруженный благодарной Россией князю и нижегородскому купцу-патриоту. Возле памятника поджидали трамвая пассажиры в невзрачной одежке, с поднятыми воротниками.

На крыльях Мавзолея лежал снег. Шпили башен, двуглавые орлы, казалось, плыли в свинцовом, облачном небе.

Курсанты пехотной школы Кремля, будущие маршалы и генералы, несли караул у дверей подземной великой гробницы. Острия их штыков, казалось, были похожи на острые верхушки елей.

Бурлаков по скользкой брусчатке прошел мимо Спасской башни и спустился к реке. За спиной остались Лобное место и сказочно разукрашенный храм. Медленно текла река, окрашенная в тона чугуна и шлака. Паровой буксир тащил баржу с песком. Каменотесы стучали, как дятлы, по облицовочным кустам гранита, а землекопы в телогрейках, похожих на латы, работали на бурых склонах набережной. Богатырские

кони, будто сошедшие с полотен недалеко отсюда «Третьяковки», тащили громоздкие грузы, понукаемые сермяжными Муромцами.

Приречная стена Кремля, казалось, поднималась до неба. Часовой в суконном шлеме, застывший у зубцов, возвращал память к истокам русской истории, к Куликовскому полю, к половецким степям.

Снова возникло чувство пустоты и одиночества. Нужно поскорее разыскать Квасова, без него ничего не решить. Живая Москва сосредоточилась для Николая в одном человеке. На потертом конверте значился адрес Жориной работы: переулок, номер, затем следовало загадочное слово «орка», а после какая-то странная, нерусская фамилия. Письма по этому адресу доходили. Что такое «орка», Бурлаков не знал и забывал попросить разъяснения.

Только десятый по счету прохожий знал этот переулок. «Это к заставе, товарищ. Отсюда можно доехать... — Он перечислил номера трамвайных маршрутов. — Вначале попадете на площадь. Узнаете ее сразу, там фонтан с купидоном, и с площади вниз, сразу найдете».

Добравшись до купидона, Бурлаков без труда догадался, куда идти дальше. Фабрика была рядом. Жилые дома вплотную примыкали глухими своими стенами к фабричному двору. Производственный корпус на нижней террасе глаголем выходил в переулок на днище оврага. Сторона, обращенная к основному переулку, была застроена кирпичными складами с фальшивыми окнами, чтобы слепыми стенами не обезображивать и без того невзрачный переулок. Стены складов заканчивались высокой металлической оградой, защитой тесом с внутренней стороны. В фабричный двор с переулка вели единственные ворота, художественно откованные руками каких-то талантливых мастеров. Их искусства нельзя было не заметить и не оценить. Чего стоили замысловатые узоры, сплетенные из букв готического и церковнославянского алфавитов и разнообразных цветов! Здесь были и ландыши и лилии, сделанные вручную с потрясающей точностью. Искусный орнамент как бы обрамлял выкованных на обеих створках ворот двух фантастических птиц с павлиньими хвостами и человеческими лицами.

— Птица эта — Гамаюн, — сказал Бурлакову охранник в черной шинели, подозрительно наблюдавший от дверей проходной за новым, приметным по всем статьям человеком.

— Гамаюн? — переспросил Бурлаков. К стыду своему, он никогда не слышал про такую птицу.

— Не ломай голову, отделком, — добродушно продолжал охранник и поправил ярко-желтую кобурю. — Гамаюн не скворец, это райская птица. И

если кому прокричит, будет счастье тому... Немец-хозяин, говорят, уговорил русского мастера сделать ворота. Три года ковал мастер. Сделал — и помер. Разорвалось сердце. Фамилию его еще можно разобрать. На птичьем крыле нацарапал. А ты чего тут?

Бурлаков подошел ближе, показал конверт.

— Квасов мне нужен. Должен работать тут.

— Квасов? — Охранник взял конверт, прочитал. — Работает Квасов...

Жора?

— Жора.

— Значит, он... Великан-головушка Жора Квасов. — Охранник оживился от каких-то приятных воспоминаний. — По всему видно, вместе служили.

— Откуда знаете?

— Фуражка ваша рассказала. Точно в такой же прибыл Квасов с действительной службы. А теперь его не узнаешь, ходит в заграничной одежде. Тут немцы у нас работают, помогают. Так Жора для них — царь и бог.

— Мне бы его вызвать. Или пройти к нему в цех.

— Вызвать нельзя, потому нет его еще на работе. С двенадцати ночи заступит, в третью смену...

— Беда!.. — Бурлаков подавил вздох. — А где живет, не знаете?

— Где-то в Петровском... — Охранник посерьезнел. — Почему же адрес Квасов вам не дал? Не знаю, где он ныне живет, не знаю...

Над воротами, во всю их ширину, была укреплена решетка, и на ней бронзовыми литыми буквами новое название государственной фабрики имени такого-то товарища. Значилась шефская фамилия одного из руководителей индустрии, малоизвестного и ничем не примечательного человека.

Происхождение загадочного слова «орка» наконец-то объяснилось. Это было искаженное слово «фабрика».

Вольное обращение Жоры Квасова с письменностью превратило «ф» в «ор», а исчезнувший дефис при сокращении слова окончательно запутал Николая.

«Орка» ритмично гудела. Казалось, под ногами ходила земля. Это был основной и устойчивый признак механического производства — работали станки. Откуда-то справа доносилось утробное уханье парового молота. Часть окон второго этажа озарялась вспышками электрической сварки. Где-то, далеко от входа, визжали пилы, резавшие металл. Вероятно, там находился заготовительный цех. Над фабрикой поднимались две трубы —

кирпичная, отопительная, и клепанная квадратная, выбрасывающая буромалиновый дым.

Грузовики привезли связанные в длинные пучки латунный и стальной прутки и листовую медь. Ворота легко раскрылись на смазанных петлях и, пропустив машины, закрылись; со звоном упал засов, и железные птицы дрогнули павлиньими своими хвостами.

— Ты, братец, до ночи здесь не потолчешься, — сказал охранник официальным тоном. — Прошу извинить, а не положено. Госфабрика, и мало ли чего...

— Я и не думаю ждать до ночи. Просто мне хотелось повидать приятеля, с которым вместе служили, — мирно, не обидевшись, сказал Бурлаков.

— Что же, я ничего, — покоренный его мирным ответом, сказал охранник. — Может, что в моих силах, скажи — сделаю.

Во дворе на асфальте, промытом растаявшим снегом, — пирамида упаковочных ящичков одной и той же формы. Невдалеке от них грудой — поковки. За стеклом решетчатого высокого окна подрагивало пламя термозакалочных печей. Возникали расплывчатые тени людей и исчезали, рассасываясь в золотистом багрянце.

Смешанное чувство зависти и тайной тревоги овладевало Бурлаковым. Пока не поздно, можно уйти от этого мира огня и железа. Жора писал о фабрике, увлекал рассказками о красивой и легкой работе, о каких-то баснословных заработках. Какая же это фабрика? Может быть, раньше при хозяине немце тут и была фабрика, но теперь здесь самый настоящий завод. Угарный чад вырывался из раструбов мощных вентиляторов, оседал на соседних домах, на стенах и на чахлах деревьях, закованных в решетки у черных комлей.

— Мы не берем людей от ворот, — разъяснял охранник, — кабы от ворот брали, отбоя не было бы... Хрестьяне валят толпой... У нас нацет приема строго. Как мы кадры куем? Очень просто. Своя фэ-зэ-у. Вон в церкви. Видишь, кумпол без хреста?

Слева от фабрики, за бревенчатыми домами и дымом печных труб, поднимался церковный купол, напоминавший армейскую буденовку. Издалека доносился глухой шум производства. Там обучали детей работе на станках. Николая туда не потянуло.

Оставался еще один человек в Москве кроме Жоры Квасова, который был интересен ему. Туда и надо идти, пусть даже его там не ждут. Что бы ни случилось, а он пойдет к ней.

С Аделаидой, так несколько вычурно звали девушку, он познакомился случайно в Сокольниках, в первомайский день, когда группа сельской молодежи приезжала на праздник в Москву. Впрочем, в этом знакомстве, если разобраться, ничего не было случайного. Над группой колхозов шефствовала шелкоткацкая фабрика, принадлежавшая до революции какому-то французскому капиталисту. Шефы навещали колхозы примерно два раза в год. Обычно оттуда приезжали с докладами, если дело было зимой, а летом иногда помогали в уборке. Работали шефы весело, понемногу, и заканчивался день в небольшом клубе соседней суконной фабрики. Там танцевали, пили ситро, закусывали пряниками, и после полуночи колхозники с гармониками провожали шефов на станцию, на последний пригородный поезд.

Выезды колхозников в Москву, в октябрьские и майские праздники, проходили так же. Только деревенские не пытались делать доклады, а тем более помогать фабрике выполнять план. Шли одной колонной на демонстрацию, обедали в фабричной столовой, а потом отправлялись в парки. Там танцевали, разучивали песни, смотрели фильмы и, измученные, тащились на вокзал, тоже к последнему поезду.

Аделаида работала в ткацком цехе. Она резко отличалась от фабричных и одеждой, и манерой держать себя, рассчитанной на то, чтобы ее заметили. Ей это давалось без особых усилий, и она не могла пожаловаться на невнимание мужчин. И все же Аделаида старалась расширить круг поклонников, кокетничала, лишь бы заставить их крутиться возле себя; причем ей, по-видимому, доставляло удовольствие не только позлить своих подруг, но и поиздеваться над ними. Николай не видел ее в деревне. Не приезжала она и с шефскими бригадами.

Подруги Аделаиду недолюбливали, называли пренебрежительно Аделью, как бы отделяя от обычных Машенок, Зинок и Симочек. Но, как бы там ни было, мужская половина общества тянулась к ней, и не только зеленая молодежь, но и взрослые. Перед ней старались быть учтивее, приглашали на танец галантно и, танцуя, не прижимались, вели себя прилично.

Красота Аделаиды была немного холодна. Аделаида ни в чем не походила на бесчисленных хохотушек и пышек, от которых рябило в глазах. Коротконогие, грудастые, завитые девчонки, визгливые и суматошные, в большинстве своем недавно понаехали из деревень и сразу нахватались не хорошего, а дурного, наносного, что есть в большом городе. Они резко отличались от Аделаиды. С ними Николаю было весело, можно было держаться на равной ноге. Во всяком случае, так чувствовали и он, и

фабричные девушки. Они в какой-то мере нравились ему своей непринужденностью, простотой и отзывчивостью на ласку. Тогда еще фокстроты не перекечевали из-за границы, в моде были так называемые бальные танцы. Вальс, падеспань или падекатр Николай танцевал лучше других, и Аделаида охотно принимала его приглашения. На танцевальной площадке Сокольников и произошло их знакомство. После танцев она попросила его прогуляться с ней. Они пошли по освещенной аллее, а затем углубились в глухую часть парка, где не было ни фонарей, ни лавочек. Зато там пахло нагретой хвоей, сырым листопадом, всем тем, что так щедро приносит ранняя весна. Аделаида первой взяла его под руку и прижалась к нему. При луне, положившей на землю черные стволы теней, он видел ее полуопущенные ресницы и тень от них, упавшую на покрасневшие щеки. Дыхание ее стало ровнее, шаг ленивее. «Я озябла, — сказала она, подняла глаза и поглядела на него снизу вверх, чувствуя свою власть над этим смущенным и неуверенным молодым пареньком. — Надо бы догадаться, Коля, и предложить мне пиджак...» Она тихо засмеялась и запахнула полы наброшенного на ее плечи пиджака. Теперь неудобно было идти с ней об руку. Тогда она снова помогла ему и, положив его левую руку на свое бедро, сказала: «В Англии, как мне сказали, так гуляют даже днем...» Спустя несколько минут она добавила с тем же тихим смешком: «Вы всегда так неловки и нерешительны с девицами? Сколько вам лет?» Он ответил, досадливо поморщившись, так как считал, что молодость самое уязвимое его место. «Неужели вы еще такой мальчик? Вы знаете, Коля, я почти на пять лет старше вас...» Потом они поцеловались, и она, улыбнувшись только глазами и посмотревшись в зеркальце, сказала ему: «Вы и целоваться еще не умеете, Коля. Неужели вас некому было научить? Наши девчонки такие недотроги? Они только болтают о своих победах над парнями...»

Эти воспоминания не давали ему права для возобновления отношений. Но накануне его отъезда в армию произошел следующий случай.

Ему поручили вернуть в фабричную библиотеку связку книг из передвижки. Сдавая их пожилой, доброжелательной библиотекарше, утомлявшей всех своим профессиональным энтузиазмом, Бурлаков увидел Аделаиду, сидевшую за одним из столов читальни. Скучающая, пренебрежительная, будто делающая одолжение и библиотеке, куда она пожаловала, и книге, которую она лениво перелистывала выхоленными пальцами, всей своей позой Аделаида и тут выделялась среди скромных и заурядных по внешнему виду девушек, среди этих курносеньких простушек с одинаковыми барашковыми прическами, оголенными

затылками и красными руками.

Прежде всего бросались в глаза ее волосы, пышно падавшие на узкие, покатые плечи. Она сидела спиной к окну, к солнцу, и поэтому ее волосы, обычно цвета овсяной соломы, казались золотыми.

— Ах, это вы! — произнесла Аделаида, едва размыкая полные маленькие губы, и не спеша подала ему руку ладонью вниз. — Кстати, если вы никуда не торопитесь, проводите меня.

Она небрежно, покачивающейся походкой подошла к старой библиотекарше, отдала книгу и поклонилась. В гардеробной Николай помог Аделаиде надеть ее шикарное пальто. Аделаида долго прихорашивалась у зеркала, поворачиваясь то одной, то другой стороной, пытаясь уловить свое лицо в профиль. Конечно, она была красива, свежа, с чистой белой кожей и ярким румянцем блондинки. У нее были полные длинные ноги, тонкая талия и в меру широкие бедра. Когда она, чуточку покачиваясь, шла по улице в своем модном реглане, на нее оглядывались и мужчины и женщины. Вряд ли это доставляло удовольствие Бурлакову. Ей бы под пару кто-нибудь другой, а не этот худой, длинный новобранец с неуверенными движениями и сконфуженным лицом. А тут еще дурацкая одежда: старый плащ и кепчонка, растоптанные сапоги и шерстяной шарф материнской вязки.

Аделаида была полностью занята собой, и можно было несколько не сомневаться, что она пропустила мимо ушей все его слова. Да и в самом деле, зачем ей знать о задержавшейся сдаче двух токарных станков, из-за чего Николай не попал в эшелонную группу призывников и теперь вынужден с опозданием добираться до войсковой части куда-то далеко на юг.

— Там, наверное, тепло? — только и спросила она.

— Наверное.

— И море там?

— Нет, город расположен в степи.

В трамвае она молчала, наблюдая отражения пассажиров в оконном стекле, и все с той же единственной целью узнать, смотрят ли они на нее. Потом она предложила купить бутылку зеленоватого ликера «Аллаш» и зайти к ней. Старый дом с широкими лестницами и дубовыми перилами. Две комнатки. Висячая лампа с запыленным абажуром цвета крыжовника, стены в обоях, увешенные фотографиями лошадей и наездников.

— Мой папа всю жизнь служил на ипподромах. Недавно, всего два года тому назад, он умер, — сказала она, набрасывая полотняную скатерть на круглый столик, инкрустированный перламутром и черным деревом. —

Папу ударила лошадь, и у него обнаружилась злокачественная опухоль. Оперировал его профессор Очкин. Поздно. Папа умер в Боткинской больнице, недалеко от ипподрома... Но давайте условимся: о печальном не говорить. Присаживайтесь к столу. Давайте вашу руку. Почему у меня так горят щеки? Вы знаете, я очень люблю «Аллаш». Он согревает, приятен на вкус и не раздражает гортани.

Этот суховатый, точный язык — «приятен на вкус», «гортань», — воспоминания о покойном отце, вся обстановка не располагали к легкомыслию. Прогулки по аллее в Сокольниках будто и не было. Столик низкий, такие же низкие кресла. Николай не знал, куда девать ноги и руки.

Поезд отходил в десять утра, и Аделаида, не задумываясь, непринужденно и мило предложила Николаю переночевать. У Николая пересохло в гортани. Но ожидания не оправдались. Не повторилось даже то, что было в Сокольниках, хотя они лежали рядом в постели, отгородившись друг от друга подушкой, и проговорили почти до рассвета.

— Я не хочу, чтобы вы разочаровывались во мне, — предупредила она. — Обо мне почему-то все дурно думают, считают легкомысленной девчонкой. Неужели я произвожу впечатление общедоступной?

Она тихо рассмеялась и потянулась под одеялом. В свете ночника он видел ее «греческий профиль богини Бутринды», как сказала она сама, ее плечи с розовыми вмятинами от бретелек и оголенные белые руки. Она позволяла рассматривать себя, следя за ним из-под полуопущенных век.

— Почему люди стесняются, скрывают друг от друга самое дорогое, из-за чего стоит жить: любовь? Почему любовь рождает столько ненависти, горя, страданий?

— А вы можете полюбить искренне, открыто, без всякого расчета? — спросил Николай дерзко, уверенный в том, что она продолжает издеваться над ним.

— Разве я произвожу впечатление расчетливой женщины?

— Если говорить в открытую, да... — Ему нелегко было сказать ей эти слова.

Она не обиделась, но в уголках ее губ, пренебрежительно опустившихся вниз, скользнула недобрая улыбка.

— Если говорить так же откровенно, вы не ошиблись... Нет, не делайте испуганных глаз. Мне столько раз навязывали свою любовь... Самые разные люди. Я не верю в любовь. Вот и вы тоже. Я предложила вам переночевать у меня без всякой задней мысли, а вы рассчитывали на... А вы еще мальчик, если разобраться, и к тому же деревенский. И вы уже испорчены. Испорчены нетребовательными девчонками, которые липнут к

вам. У вас хорошее лицо, чистые глаза. И когда вы... дозреете, будете настоящим мужчиной... Не хмурьтесь, Коля. Ведь больше мы никогда не увидимся. Можно не хитрить друг с другом. Мне уже около двадцати пяти. Пора разочароваться... Почему? Отвечу: меня обманули. Когда, это неважно. Один жокей. Немолодой человек. Напоил «Аллашем» и... обманул. С тех пор в критические минуты я пью «Аллаш». Теперь я от него трезвею. Вкус «Аллаша» возбуждает во мне ненависть к мужчинам. — Она потянулась к столику за рюмкой, левой рукой прижимая к груди одеяло. Поправив подушку, она села, обмакнула верхнюю губу и, расширив ноздри, глубоко вдохнула воздух. — В дальнейшем я решила быть расчетливой и злой. Я нанялась в ткачихи, чтобы поступить в вуз. Зарабатываю пролетарский стаж. Я готовлюсь в вуз, хотя и ненавижу науки. За мной увиваются, Коля. У меня есть квартира. Две комнаты в Москве — это капкан для любого жениха. Но я выйду замуж только по расчету. Я буду рассчитывать, а не он, павиан без жировки... Меня оскорбили, и я не останусь в долгу...

Утром Аделаида напоила Николая чаем и долго смотрела в его смущенные глаза.

Просто сказала:

— Прощайте, Коля. К сожалению, мне нужно спешить на работу.

— Спасибо, — поблагодарил он, уже одевшись и держа в руках кепку. — Во всяком случае, мне было хорошо с вами, Аделаида. Со мной так не разговаривала еще ни одна девушка. Мне представлялось, что между парнями и девушками не может быть так... — Он не нашел слова, покраснел и подал Аделаиде руку. — Только не думайте обо мне, как о бурьяне. Рос, как рожь, а ни на что не гожд...

— Что вы, Коля. — Она притянула его голову к себе, и ему пришлось наклониться. Неожиданно для себя самой она поцеловала его.

— И мне было очень хорошо с вами.

— А может быть, все же существует любовь? — спросил Николай резко и, когда она замялась, настойчиво переспросил: — Неужели нет?

— Для кого как, — уклончиво ответила она без прежней мягкости в голосе и чуточку раздраженно. — Я имела в виду только себя. Я знаю товарок, которые сходят с ума от любви... Никто не мешает и вам последовать их примеру. Найдите, полюбите, зачеркните мои предубеждения. Ого, мне пора, прощайте! Выходите первым и побыстрее, чтобы не дразнить соседок по квартире. А я за вами... Подождите меня на улице.

Утренние сумерки рассеивались медленно из-за тумана. За ночь

температура снизилась. Лужи подернулись тонким ледком. Последние, еще не опавшие листья потемнели и съжились. Бурлаков спиной почувствовал холод. Прорезиненный плащ, казалось, сразу промерз и больше не грел. Пришлось обмотать шею материнским шарфом и поглубже натянуть кепку.

Аделаида вышла в шубке серого смушка, в меховой шапочке и закрытых ботинках. На ее лице не осталось никаких следов бессонной ночи. Она снова была другой — такую, какой всегда появлялась на людях. С самым решительным видом она попросила не провожать ее до фабрики.

— Вы представляете, какие пойдут сплетни? Утром вдвоем. Нет, попрощаемся здесь.

В армии, в тусклых буднях казармы Николай думал об Аделаиде возвышенно. Вокруг ее имени возник ореол. Самое заветное время — сразу после полуночи, на дневальстве в конюшне, после обхода дежурного по полку. В этот час он писал Аделаиде письма. Столиком служила деревянная лопата, протертая досуха пучком соломы и положенная на колени. Далекая девушка в меховой шубке или с локонами, рассыпавшимися по оголенным плечам, властно входила в этот тесный мирок. Исчезали звучно жующие кони, запахи аммиака и потной шерсти. Забывалось все: и завтрашняя сверххранная побудка, и пронзительный голос трубы, и истошные крики дневальных, манежная езда и стрелковые занятия, вольтижировка и зубрение уставов...

Вначале Аделаида отвечала ему неаккуратно. На листочке, а то и на четвертушке. Крохи внимания, а лучше сказать — снисхождения. Отвечать ее заставляла пылкость его пространных писем. Потом переписка разладилась, а на третьем году, когда Бурлаков, поддавшись на сатанинские увещевания Арапчи, остался на сверхсрочную службу, Аделаида написала ему совсем короткое письмецо, намекнув о перемене, происшедшей в ее жизни. Продолжать переписку было неудобно.

Теперь Бурлаков шел к ней, готовый к любой неожиданности. Аделаида была замужем, только так можно было понять ее намек. Кто ее муж, Бурлаков, конечно, не знал. Его потянуло к ней, и он не мог справиться со своим желанием. В конце концов будь что будет! Он долго готовился к тому, чтобы появиться перед нею другим человеком — не тем деревенским увальнем, которого она проводила в тот памятный для него октябрьский день. На нем была шинель, перешитая в дивизионной швальне, с обшлагами, достигавшими локтя; раздвоенные концы отворотов изнутри были отделаны синим сукном. Сапоги сделаны на заказ из хрома, тонкой и эластичной кожи, невыразимо ярко сверкающей от ваксы. Обычные деловые шпоры из твердой стали сменены на щегольские, с

малиновым звоном колесиков. Он купил их в магазине Военторга и дополнительно отникелировал в мастерской у одного из потомков Хаджи Мурата. Этот потомок великолепно владел искусством закалки боевых клинков и чеканкой по драгоценным металлам.

Вот таким щеголем полкового масштаба должен был предстать Бурлаков.

Не без волнения прикоснулся он к черной пуговке звонка и, нажав два раза, как рекомендовала вывешенная на дверях табличка, услышал дребезжание звонка в самой глубине коммунальной квартиры.

Через две-три минуты пришлось позвонить еще раз. За дверью послышались шаги и чей-то незнакомый женский голос:

— Аделаида, к вам. Два звонка!

— Не понимаю. У Сержа — свой ключ. — Это был голос Аделаиды. — Мог ли он его забыть?

Звякнула цепочка, скрипнули петли. Дверь приоткрылась на длину цепочки, и при мерклом свете лампочки, ввинченной в лестничном пролете у самого потолка, Николай прежде всего увидел ее волосы и настороженные глаза.

— Николай?! Вы? — Аделаида пропустила его в коридор. — Так неожиданно!..

— Прежде всего — здравствуйте! — Она слабо ответила на его рукопожатие. — Я еду домой через Москву и решил заглянуть к вам.

— Проходите, проходите. — Она пожала плечами. — Надо было предупредить, позвонить хотя бы... Вы меня застали в таком виде, врасплох...

— Позвонить? У вас есть телефон? Как в штабе полка? — Он попробовал отделаться шуткой. — Темный армеец! Отстал, отвык...

— Вы только не обижайтесь, Коля, — голос Аделаиды стал мягче. — Вы знаете о моих переменах...

— Если неудобно, я уйду.

— Нет, теперь уже поздно. Придется дождаться Сержа. У нас такие соседи. Им ничего не стоит самым вульгарным образом все истолковать...

Она провела Николая в знакомую ему комнату. Много в ней изменилось. Со стен исчезли фотографии жокеев в камзолах и призовых рысаков.

Низкие кресла были обтянуты пестрой тканью с неопределенным рисунком. Туркменский ковер на полу, оттоманка, мусульманский светильник в углу — такие бывают в мечетях, и запыленный аппарат для кальяна. Все это придавало комнате восточный колорит и, очевидно,

отвечало вкусам загадочного Сержа.

Пока хозяйка переодевалась, Николай имел возможность поразмыслить. Он сравнил родительскую, избу с этой квартирой, полезные в обиходе предметы — с этими вещами. К чему старый светильник, если есть электричество? Зачем эти высокие кувшины, исписанные иероглифами бамбуковые палки? Ведь на все это истрачены деньги. Дома, бывало, покупка чугуна или сковородки обсуждалась по несколько дней кряду. Пропажа ведра или веревки вызывала столько волнений, столько взаимных упреков... Сейчас родители задумали приобрести корову, без нее невозможно прокормиться. Сколько писем, тревог, расчетов... Николай невольно потянулся к карману, в нем было зашито двести рублей. Протест поднялся в душе Николая и отрезвил его. Нечего робеть и считать себя ниже...

— Что с вами? — Аделаида присела напротив Николая.

— Со мной? Ничего...

Он видел ее колени, остро чувствовал запах духов и еще какой-то запах — не то барбарисовых конфет, не то помады.

— Нет, вы изменились, стали строже ко мне. — Она наклонилась и притронулась к его руке, туго охваченной в широком запястье манжетом темно-зеленой военной рубахи.

Теперь, когда она наклонилась, он видел желобок на ее груди, теряющийся в розоватом шелке, и опять ее полные, округлые колени, обтянутые тонкими чулками.

— Вы где покупаете такие чулки? — неожиданно для самого себя спросил Бурлаков, чувствуя, как зреет в нем глухое раздражение.

— Вы заметили? — Она оживилась, провела ладонью по ноге от щиколоток до колена. — Это они... — махнула куда-то в сторону головой. — Серж достает. Мой... муж. Фамилия его... Коржиков. Мы не расписывались с ним, зачем? Потом такая бесцветная фамилия... Аделаида Коржикова. Очень шикарно...

Она закурила от зажигалки и задула огонек, выпятив нижнюю губу. Пожалуй, она не подурнела за это время; ее яркая зрелая красота, вероятно, по-прежнему дурманила головы мужчинам. Но она стала хуже в чем-то другом. Все в ней было чужое, деланное, неискреннее.

Она задавала вопросы, но была невнимательна к его ответам. Казалось, ее голова была занята чем-то другим. Отсюда настороженность, забывчивость, сухой смех.

Чужая? Да, вероятно, так. Стоило ли думать о ней, чего-то ждать! Пропала детскость, когда-то отличавшая ее от многих; она казалась старше

своего возраста, и это не вызывало в нем жалости.

— Неужели вы думаете поселиться в деревне?

— Если найдется работа, да.

— И вас не тянет в город?

— Опять-таки все дело в работе.

— Вы думаете служить?

— Нет... Работать.

— Неинтересно! — вырвалось у нее.

— Работать неинтересно? — Николай пожал плечами. — Не понимаю.

Аделаида решила перевести разговор.

— Что у вас на петлицах?

— Треугольники.

— Вижу. Два. Это считается много?

— Не знаю, для кого как. Мне вполне хватает, — сухо ответил он и, посмотрев на призовые часы, врученные ему самим комдивом за отличную рубку, сказал: — Мне пора.

Она поднялась вслед за ним, погасила папиросу.

— Вы, вероятно, голодны. Поужинали бы с нами. Серж должен вот-вот прийти. Но если вы спешите...

— Тогда вы не смеете задерживать?

— Зачем вы так, Коля? Не обижайтесь на меня. Ведь мы старые друзья... — Она насторожилась, не закончив начатой фразы, и вышла из комнаты.

Через неплотно притворенную дверь из коридора донесся недовольный, приглушенный голос мужчины:

— Хорошенькое дело!.. Вошел... шинель... Надо было меня предупредить...

Коржиков вошел в комнату вслед за Аделаидой, с покоряющим радушием встретил поднявшегося к нему навстречу молодого человека. Он потряс протянутую ему руку и вслух восхитился этой «армейской мозолистой рукой, умеющей крепко держать пролетарский штык и саблю». Сам Коржиков был внешне неприметный человек, среднего, а может быть, и низкого роста, с сутулой спиной, с плоскими серыми щеками и вставной верхней челюстью, отчего его улыбка как бы носила фарфоровый оттенок.

Коржиков умел расположить к себе своей способностью сразу «находить контакты». Если какой-нибудь человек собеседнику не нравился и он о нем дурно отзывался, Коржиков глубококомысленно поддакивал, говоря с самой подкупающей искренностью: «Да, да, как вы его верно разгадали! Ведь этот субъект и во мне вызывал странные ассоциации... Вы

удивительно точно разгадали его». О том же человеке он мог высказать и совершенно противоположное мнение, лишь бы «найти контакт». Никто из сослуживцев не избежал чести быть обласканным Коржиковым, и при выдвижении Коржикова ни у кого не поворачивался язык назвать его подхалимом или карьеристом. Неуловимость его общественного лица иногда ставила в тупик представителей так называемых инстанций. Его пытались исследовать чуть ли не лабораторным методом, но ничего предосудительного в его микроструктуре не обнаружили. И это происходило не только потому, что в родословной бабушек и тетушек царил полный социальный порядок, а прежде всего потому, что он умел «войти в контакт» с любыми диаметрально противоположными взглядами и на общую политику, и на жизнь, и на значение отдельных личностей. Таков был Коржиков. Окажись он хоть на минуту не на высоте, и пропало бы его положение, а не только запыленная аппаратура кальяна или ориентальный светильник в его комнате. Здесь не мешает сказать, что, по преданиям летописцев, известных только Сержу Коржикову, в его светильнике когда-то плавали фитили в человеческом жире, натопленном деспотом из трупов опальных и зазнавшихся приближенных.

— Я никогда не бывал на Востоке дальше Тифлиса, дорогой мой Николай, но всеми фибрами души предан Востоку, хотя и опасаясь его загадочной неразбуженной силы, — уверял Коржиков за графином разбавленного спирта и бережно вскрытыми шпротами. — Каждая вещь с Востока для меня не просто красивая вещь. Это реликвия, символ, шарада... Отец Адели был наездник, в этом тоже есть тайный смысл. Вы кавалерист — разве вы не видите незримые нити, которые потянулись к нам от всадников с раскосыми глазами и арканом у луки седла?.. Вы знаете, где родник их мужества и ярости? Не знаете? Я расскажу. Воин-монгол мчался по степям, ведя трех лошадей в поводу. Когда его горло пересыхало, он не искал колодцев в безводных пустынях. Он прыгал с седла, вскрывал ножом набрякшую вену коня и припадал к горячей, живой струе крови... Он вытирал усы и губы полый халата, снова бросался в седло и мчался как ветер. Нас, русских, боятся хилые интеллигенты Европы, ошибочно считая, что мы и есть Восток. Нет, нет! Надо объяснить им: Восток далеко за нашей спиной. Когда он созреет, из нас тоже натопят сала для таких вот светильников...

Какая-то сумасшедшинка появилась в глазах хлипкого Коржикова, смех становился неестественным и злым, лицо было как маска.

Казалось, он нарочно разыгрывает Николая, считая его наивным парнем, и насыщает его нелепицами и бредом. Но здоровый ум Бурлакова

не мог поддаться на такие противоестественные соблазны. Вначале в нем зажглось любопытство, но и оно погасло в конце концов. Ему стало скучно и противно. Какая-то алчная зависть к степным дикарям, противоестественный восторг при рассказах о трупах и крови вызывали отвращение. Николай попросил Коржикова оставить в покое монголов и пощадить невинных лошадей.

— Тогда не было шпротов, — Коржиков захохотал, поднял вилку с насаженной на нее темно-коричневой промасленной рыбкой, — не было спирта-ректификата и отсутствовали карточки на основные виды продовольствия. Темники Тамерлана не знали пятилеток... За здоровье здоровой стихии, Коля! Дай я тебя поцелую.

Николай отстранился.

— Не надо...

— Гребуешь мной? — Коржиков издевательски подчеркнул простонародное слово.

Бурлаков это понял, и его лицо налилось кровью.

— Нет, я не брезгую, а просто противно слушать. При чем тут пятилетки?

— Коля, ведь он пошутил, — вмешалась Аделаида. — Хотите, я с вами выпью на брудершафт? Можно, Серж? Разрешаешь?

— Тебе я все разрешаю... Если хочешь, ложись с ним спать. Благословляю...

Аделаида нервно рассмеялась и, придвинувшись к столу вместе с креслом, разъединила мужчин. Глаза ее выдавали тревогу. Ей совсем не было весело.

Коржиков прикинулся пьяным. Прихлопывая ладошками по ручкам кресла, он забормотал что-то невразумительное о каких-то людях, которые стоят с кнутом перед опасным и мускулистым зверем. Затем, искажая слова, запел «Варшавянку».

Вскоре он затих, запрокинул голову и захрипел.

Бурлаков поднялся.

— Прощайте. — Он протянул руку. — Вероятно, мы уже никогда не встретимся.

— Почему же? — Она стояла рядом с ним, дыхание их смешивалось. — Я буду рада видеть вас, Коля.

— А он?

— Это вас не должно беспокоить, — сказала она отчужденно и отняла руку. — Вы остаетесь в Москве?

— Нет... Уезжаю в деревню...

— Я завидую вам. — Гримаса боли появилась на ее красивом холодном лице. — Как это хорошо — иметь родителей! Когда их нет, приходится идти напролом, спрятаться не за кого.

— Вам нелегко? — спросил Николай, еле выдавливая слова.

— Да. Заметно?

— Я заметил...

— Пусть вам лучше будет в жизни, чем мне, — произнесла она и прикоснулась ладонью к его щеке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Удолино — небольшое село о двадцати — тридцати дворах, в семидесяти пяти километрах от столицы. И хотя до Москвы рукой подать и поезда ходили часто, Удолино оставалось глухим селом, без электричества, без кино и других достижений эпохи. Восходы и закаты — вот табельная доска крестьянина; от рассвета до густых сумерек бесконечный строй забот.

Революция запомнилась в Удолине погромом помещика и братоубийственной дележкой земли. Мироеды, подогревавшие страсти, теперь были ликвидированы вместе со всеми своими семейными корнями, отправлены в Сибирь или на Урал. Межи перепахали, отвели неказистых лошадемок в общую конюшню, на ветреный бугор, стянули плуги и сохи в один двор, туда же и бороны. Вначале район прислал в артель трактор «Фордзон», потом от него отказались из-за прожорливости машины и частых поломок. «Фордзон» доконали бугры и земля, которую проще всего не пахать, а обжигать из нее кирпичи.

Две войны, до фундамента потрясшие государство отошли далеко-далеко. Во время гражданской войны ни один бризантный снаряд не упал здесь, ни одной крыши не сгорело, ни одной пули не просвистело. Село оставалось все таким же бедным и затерянным, и не мудрено, если молодежь без угрызений совести уходила в Москву.

В Удолине жила семья Бурлакова — родители и молоденькая сестренка Марфа. Старшие сыновья погибли на фронте: Максим, артиллерийский фейерверкер, — на Иксюльском предместном укреплении, сражаясь против немцев; второй, Степан, совсем еще юноша, — под Бутурлиновкой, сражаясь против русских офицеров-корниловцев. Фотографии сыновей висели на почетном месте, ближе к «святому» углу, и лампада скудно освещала их обычные, ничем не приметные лица. Все же войны не прошли стороной, как писалось вначале. И сам отец, Степан, носил в войну крестик вместо кокарды — попал в ополчение, охранял мосты и виадуки.

За шестьдесят с лишним лет немало пришлось испытать Степану и Антонине Бурлаковым. Начнешь вспоминать, и слушать не станут. У каждого своего горя с избытком. Россия... Конца-краю нет ни России, ни заботам. То войны, то дали землю, то снова сложили ее в общую копилку,

то вручили серого коня с барской конюшни; но не успели полюбоваться на него и расчесать ему гриву, как предложили отвести на ту же конюшню. Поэтому и сник Степан Бурлаков. Глаз у него теперь прищуренный, недоверчивый, запер себя на замок, больше вздыхает и молчит. Его не пугали уже никакие новшества. Хуже не будет! Плакаты, расклеенные в правлении артели, звали в атаку, вперед; назывались разные враги, им, казалось, ни дна ни покрышки.

Единственно надежное — картоха и морква. Она опора в сумеречное межвременье, когда, как ни напрягай зрение, даже из-под ладошки ничего не увидишь. Круг жизни невольно сомкнулся вокруг своего клочка земли, возле дома. За ветхим плетнем сохранилось свое удельное княжество, свои тылы и резервы. В городах хлеб выдавали по карточкам, в деревне жили своим. Великое строительство высасывало людей, деньги, продукты. Мылись золой. Заваривали малиновый плиточный чай. Сахар меняли на яйца. Неразбериха творилась в торговле, хотя ее и называли самой культурной. Два-три куска ситца на полке именовали не товаром, а фондом. Фонд промтоваров. Фонд мясосдачи.

Корова снова стала центром вселенной. Она крепко вошла в тот же замороженный круг. Если смотреть правде в глаза и отказаться от ханжеских оценок явлений, корове-кормилице надо отвести первостатейное место в труднейшие годы свершений. Диплом инженера или будущий маршалский жезл иногда зависел от презираемой на словах индивидуальной крестьянской коровы.

У Бурлаковых в этом году случилось несчастье. Корова-ярославка, надежная опора семьи, объелась на весеннем лугу дурной травой, опухла и сдохла. Ее не успели прирезать, не сумели в нужную минуту отыскать ветеринара. Мясо переварили на мыло, шкуру сдали государству по твердой цене. Из-за недостатка каустической соды мыло вышло плохое, черное и мягкое. Разобрали его почти задарма. Чтобы купить корову, пришлось самым жестоким образом урезать себя, попросить сына о помощи и, не дожидаясь весны, подготовить к продаже мешков двадцать картошки. Весной, по первой траве, корова вздоржает не только в Подмосковье, но и в Калужской области, куда еще зимой задумали поехать за коровой старики.

Картофель хранился в избе, в подполье. И теперь, задумав продать большую часть приусадебного картофельного урожая, приходилось поднимать доски. Старик Бурлаков пригласил на помощь своего кума Поликарпа, ходившего в свое время с ним на действительную службу в пехотный полк, стоявший в Польше. Поликарпу повезло больше, чем

Степану. Никто из его близких не погиб. Сыновья, их было трое, отделились, разобрав по комнате в отцовском доме, и каждый занимался своим делом. Один служил на ближайшей суконной фабрике наладчиком, другой — на железной дороге, третий сапожничал, и не без успеха. Это было заметно по крыше. Сапожник покрыл свою часть дома оцинкованным железом, блестящим на солнце как серебро; фабричный — черепицей; железнодорожник — волнистыми листами шифера, входившего в моду. И только комнатка отца по-прежнему сонно додремывала свой век под соломой.

Поликарп выбрался из подполья и отряхнулся. От него пахло сырой землей и соломой. Заплесневелые доски, будто тронутые изморозью, с торчавшими ржавыми гвоздями, лежали возле стенки. А ближе к выходу, освещенные неярким жаром русской печи, стояли незавязанные мешки с картошкой. Они, судя по ворчанию Антонины Ильиничны, мешали ей орудовать чугунами, противнями и рогачами, что она делала с искусной стариковской ловкостью, выработанной долгими годами непреложных женских забот. На ее воркотню великодушно не обращали внимания, хотя кое с чем можно было и согласиться. В самом деле, нельзя встречать сына в избе с развороченными полами. И Марфинька такого же мнения. Второй день дежурит она на бугре, у тропинки, ведущей через лес к станции, надеясь первой увидеть брата, первой броситься к нему на шею и с гордостью пройти по селу. Пусть выглядывают из окошек подруги, пусть выбегают к калиткам...

Поликарп сворачивал «козу» из «Крестьянской газеты» и хвалил:

— Прекрасное лежище оборудовал, Степан. Соломы аккуратно постелил. Сухая. Ни одного клубня не пропадет. Семенной Лорх отделил в сторонку, ближе к фундаменту печки, вы его до весны не трожьте...

— Скорее кончайте. — Антонина Ильинична оторвалась от печки, и Поликарп с приятным удивлением заметил на ее раскрасневшемся лице следы былой красоты.

— Ты погляди, Степан, Антонина-то... — Поликарп выпрямился, расправил плечи и, как говорится, тряхнул седыми кудрями. — Годы ее не берут.

— Полно тебе буровить, — сказал Степан Бурлаков, давно уже переставший любоваться своей одряхлевшей супругой. — Прошедшего дня не воротишь. У старости, как у осота, длинные корни...

— А помнишь фольварк, когда подтянули наш полк поближе к городу Кракову? Какие там батрачили полячки! — Поликарп подошел к печке, подцепил уголек и прикурил от него, держа черными, будто из чугуна

отлитыми пальцами. — Представишь себе такую полячку и запрыгаешь на нарах, как сазан на песке...

— Брось, Поликарп! — Только на какой-то миг дрогнули мускулы на строгом землистом лице Степана Бурлакова. — Коли мерещится молодость, значит, чуешь старость...

Мужики оставили прошлое и принялись за настоящее. Степан до сих пор не мог решить труднейшего вопроса: почему и для кого учредили колхозы? Только было начали жить, привыкли к своим полоскам, распределили силы, семена не на года, а до конца жизни — и вдруг, будто пожар где-то вспыхнул, зазвонил колокол. Потащили добро, изломали, накричались вдоволь друг на друга, и пошло все как на юру. Штаны скинешь, решаешь вздремнуть — палкой стучат по забору, сзывают. Хочешь работать — приказывают: отдохни. Чего-то не ссучили вовремя, где-то лопнула нитка. Хорошо, выручил возраст, сослался на него, отошел в сторонку и погрузился в свой закуток, в картоху и моркву. За что упал с рассеченным черепом девятнадцатилетний Степка? Что ему хотел доказать корниловский офицер с черно-красными погонами? И того, видать, сбили наганом... Глядел потухающими глазами Степан Бурлаков на развороченный пол, на сырые, сопревшие доски, на картоху в мешках и думал только об одном: о корове. Пока только на ней сошлось все, что его еще волновало в этой серой действительности.

— Не только колхозы возникли, Степан, вредители тоже возникли, — философствовал Поликарп. — Ударники строят заводы, а вредители их поджигают или динамитом...

— Не верю, — буркнул Степан, не выносивший легковесных объяснений разных неудач и просчетов. — Чтобы взорвать завод, надо на него пробраться. Как же их допускают?

— Кто-то допускает. — Поликарп развел руками. — Плохие часовые, а может, и сам караульный начальник.

От печки отозвалась Антонина Ильинична, обладавшая на редкость острым слухом:

— А как червь? Сравни, какая стенка и какой червь. А точит.

Поликарп обрадовался неожиданной поддержке.

— Верно. Червь опаснее волка.

— Червяка испугались, — неодобрительно возразил Степан, продолжая решать в уме свою неотложную задачу.

Если продать картошку, взять сбережения, прибавить к ним обещанные сыном деньги, то можно привести хорошую корову. Плохую и даром не нужно. Если бы с пудовым надоем! Во дворе стоит прикрытый от

дождей и ветра стожок сена, в яме — кормовая свекла да три мешка повала осталось. Молоко можно носить на «Суконку», в фабричный поселок, там только свистни — вмиг расхватывают девчата. Краем уха он ловил продолжающийся между женой и Поликарпом разговор. Любит же народ все сваливать на кого-то. Раньше, бывало, если что не так, то сам виноват. Теперь виновного ищут на стороне.

— На вредителей грешите, — заявляет Степан вслух, — а причина другая...

— Какая же причина? — Поликарп задышал возле его уха.

— Хозяина нет. Не объявился доподлинный хозяин.

— А партия! — Поликарп хихикнул.

Степан взгляделся в него с недоумением, пытаясь разгадать смысл его поведения.

— Партия в высоком масштабе. Верю. Только стало высоко до партии. Ленин, мужиков принимал, овчинным и луковым духом не брезговал, а наш партийный гончар из Рассудина — голенище под мышку, тарантас ему запрягли — и в район. Это он осенью трактор прислал. Фыркал, фыркал трактор на буграх, керосину сжег — еле расплатились. А пользы?..

— Так в чем же дело? — перебил его Поликарп с любопытством, которое не понравилось осторожному Степану.

— Дело в безрасчетстве. Отсюда и все глупости, — отрезал Степан и приказал подавать завтрак. — Колька, видать, в Москве загулял.

— Деньги-то обещанные при нем? — спросил Поликарп.

— При нем, — ответил Степан неохотно.

— Ты бы ему посоветовал почтой.

— Почтой? — Степан окончательно посуровел. Не любил он, когда вмешивались в его дела, к тому же такие тонкие. — За почту платить надо. А потом куда идти получать? Паспорт требуют на почте. А паспорта у колхозника нет. Нужно справку выправлять в правлении, кто ты и тот ли. Почтой! Ты на Луне, что ль, квартируешь, Поликарп?

Николай опоздал на последний ночной поезд, задержавшись у Аделаиды, и приехал утренним, около одиннадцати часов. Кругом уже крепко и надолго легли снега. Дежурный мельком оглядел единственного пассажира, засунул руки в варежки и прошел в бревенчатое здание станции.

За станцией стояли несколько изб, лавчонка и закрытое лесами недостроенное общежитие железнодорожников. Бульжная дорога вела в районный городок, куда раньше можно было попасть только отсюда.

Теперь по плану пятилетки городок приобрел значение, и туда проложили тупиковую железнодорожную ветку.

По прямой через лес до Удолина было девять километров. Расстояние не пугало Николая, да и приятно пройти по родным местам, увидеть с детства знакомые картины. Фанерный чемодан с нехитрым скарбом демобилизованного служаки его не обременял.

В шинели, подпоясанной ремнем, он чувствовал себя привычно и удобно. Морозец, вначале пощипывавший уши и щеки, не мог остудить разогревшуюся от движения молодую кровь. После березовой рощи, обрамлявшей лесные уголья, начинался густой сосновый бор с редкими дубами и елками на опушках.

В лесу стало теплее, запахло смолистой корой и снегом. Одиночество навяло мысли. Меньше всего думалось о родителях: слишком устойчив и знаком был мир их существования, их надежды и чувства. Дальнейшая судьба Николая не могла зависеть от их решения. Они могли накормить, приголубить, осторожно посоветовать, а решать придется самому. Защитная стена, о которой говорила Аделаида, существовала, спрятаться за нее можно, пересидеть, а потом так или иначе нужно подставлять жизни свою грудь.

Белка, быстрая и непоседливая, бежала по толстым и тонким ветвям, ловко управляла своим маленьким тельцем. Ее пушистый хвост, казалось, заменял крылья и служил надежным рулем во время этих изумительных полетов. На снегу валялись обгрызенные еловые веточки. И дятел сердито выстукивал что-то по своему секретному коду. Прижавшись к стволу, послушав его, белка порхнула вверх и ушла в глубину леса. А дятел застучал в более мажорном, торжествующем ритме.

Кончился лес, и взорам Николая открылась холмистая местность с крутыми и пологими склонами. Трудно здесь давалась земля. Помещик не нуждался ни во ржи, ни в гречихе, больше всего ценил колорит местности, устраивал серпантинную цепь прудов, выстраивал гренадерские батальоны дубов, сосен, берез, гонял борового зверя, щедро одаривал егерей. Мельчайшие деревушки будто прятались по мокрым оврагам, прикрывшись соломенными шляпами крыш, и казалось, ничто не в силах пробудить в них ненависть и мстительный гнев. Но вот они пробудились! В помещичьем доме, занумерованном государством как памятник архитектуры, полным-полно беспризорных детей. Над одним из неспущенных прудов белеет античными колоннами беседка, вписанная в общий ампирный ансамбль. За беседкой качели, «гигантские шаги», трапеция и черные гордые дубы, абсолютно безразличные к сменам владельцев, — их тоже охраняет закон,

и даже революция не покусилась на их долговечную жизнь.

Возле церкви виднелись повозки. Под куполами с крестами складывали потребительские товары. В школе, близ церкви, где когда-то учился Николай, бегали выпущенные на перемену дети.

Все так же, как раньше. Вероятно, поглядывает в окно сторожайшая и премилейшая их учительница Нонна Ивановна, вечно обремененная заботами о доверенных ей ребятишках. Явись к ней, назовет по имени и отчеству, а школьники и того хуже — дядей. Не знавшая плуга полоса детства давно вспахана и проторонена, а на сердце пока — одна горечь.

Не будь армии, может быть, так и остался бы в мастерской. Далеко она, за перелеском, зубасто взлетевшим на самый крутой венец возвышенности. Нашел бы себе невесту из окрестных девушек. Мало ли их было, с кем устраивал посиделки до самой зари! Дошел бы постепенно до мастера, ходил бы с перевалочкой, картуз на затылке, в боковом кармане спецовки — доброкачественный измерительный инструмент. Комвзвода Арапчи, сам того не сознавая, посеял в душе Николая семена строптивости и дерзости. Перестроил его на другой лад, отрешил от самоуспокоенности. И если глубже оценить его влияние, придется сказать, что именно Арапчи раздвинул горизонты и показал, как тесен был доармейский мир Николая и какими крохами он был доволен.

С пригорка Николай зашагал быстрее. На жердяном мостике, переброшенном через речушку, тронутую по побережью леденцовым морозцем, догнал его Прохоров, молодой и беспокойный инструктор райкома. От новенького полушубка пахло дубильным экстрактом и меньше овчиной, от краснощекого чистого лица — парным молоком и медом. Зубы его блестели, улыбка ни на миг не исчезала с губ, озорноватые, беспокойные глаза все время щурились, как у калмыка. Прохоров обнял Николая, нарочито налетев на него со спины в самой середине ненадежного мостика, и потом уж в открытую, когда перешли речку.

— Вовремя, вовремя явился, Коля! — похохатывая, сказал Прохоров. — Скоро придут отечественные тракторы, нужно будет держать их в ажуре. Теперь молодняк норовит смотаться в город, милицию на них не поставишь. А Красная Армия вырабатывает в человеке революционную сознательность...

Непонятно, насмешничал над ним Прохоров или научился подслушивать чужие мысли, только не по себе стало Николаю. Но ему не хотелось ни вступать в пререкания, ни соглашаться ради приличия.

Шли по тропинке мимо неубранного капустного поля и анархически развороченного глинища. Здесь Николаю удалось выяснить, почему

Прохоров оказался возле села Удолина. В одном из дворов единоличного сектора Прохорову обещали продать по сходной цене небольшого йоркширского подсвинка. Этому подсвинку жена Прохорова откормит, и к ранней весне получится из него многопудовый сальный кабан.

— Вот и веревку захватил и мешок, если нрава крикливого... — Прохоров продолжал хохотать. — Кстати, уломай своего отца, зачем ему корова? Мы его хотим старшим конюхом поставить...

— Кто это мы?

— Я же курирую вашу артель. — Прохоров остановился, ударил ладонью в грудь Бурлакова, и зубы его засверкали, как камешки. — После твоего призыва пришла сюда председателем бабенка, быстро все развеяла, мы и опомниться не успели. Скинули ее по коллективному стону колхозников, потом Коротеев ходил, пока не свалился. Теперь председателем хороший коммунист, Михеев, знаешь его, сапожник. Коридор себе в этом году новый приварил. Поступили сигналы, проверили, оказался у него зятек на Крайнем Севере, посылает... Гляди, летит к тебе, словно птичка, сестренка твоя. Не узнал, что ли? — Прохоров в порыве восторга опять ударил ладонью своего собеседника в грудь и, сняв трух, помахал им над головой.

Марфинька, как сказано, второй день дежурила на горке, откуда, как на собственной ладошке, была видна тропинка, убегающая в темноту посвежевшего к зиме хвойного леса. Только по этой тропинке может вернуться брат. Марфинька еще не понимала жестокости стремительного времени. В свои восемнадцать лет она целиком принадлежала не прошлому, а будущему. Ей хотелось, чтобы годы летели, как птицы на тугих потоках ветра. Ей хотелось поскорее похвалиться: ага, мне девятнадцать, мне двадцать, мне уже двадцать один!

Ей хотелось поскорее встретить брата, чтобы сразу открыть ему душу. А чтобы он понял, ей хотелось предстать перед ним не такой, какой он ее знал, а новой, повзрослевшей после трех лет разлуки. Теперь она не пятнадцатилетний дичок с неуверенными жестами и неясными представлениями о своем жизненном значении. Теперь она сумела разобраться во всем том, что природа щедро отпустила на ее долю. У нее сильные руки, развитые физическим трудом, крепкие ноги, тугое тело и широкие бедра. В ней много завидной прелести, здоровья, молодых, нетронутых сил.

Но Марфинька забыла о всех своих приготовлениях, как только заметила брата, идущего к жердяному мостику. Его фуражка с красным верхом алела ярким пятном на белом фоне, и потому, что брат шел быстро,

казалось — летел над его головой крупных размеров снегирь.

Вскрикнув и расставив руки, Марфинька бросилась вниз, чуть не столкнула в глинище засмотревшегося на нее с умильной улыбкой Прохорова и, подбежав к брату, упала ему на грудь.

Все приготовленные слова выскочили из головы, да и зачем они? Полуобнявшись, шли они под гору, молодые, смущенные и чуточку чужие. Николаю надо было привыкнуть к тому новому, что появилось в сестренке, а ей — к тому, что за эти годы изменило его внешне и, как она чувствовала, внутренне.

Так и не поговорив о главном, дошли они до избы. Николай, пригнувшись у притолоки, переступил порог. На него пахло невыносимо родным, терпким до спазм в горле запахом. Мать подошла, вытерла фартуком руки и рот и потянулась к сыну. Он поцеловал ее в щеки, в лоб, поцеловал выбившуюся из-под платка прядку седых волос, пропахших дымом, и, отвернувшись, провел по глазам рукавом шинели.

Отец неторопливо спрятал за божницу бумажку с расчетами и сдержанно, пытаясь подавить волнение, потянулся к сыну. В лицо его ударил знакомый, никогда не забываемый кислый запах солдатского грубого сукна. Подняв помутневшие от радости глаза, он сказал:

— Ждали, почитай, двое суток. И ночью ждали. Керосина сколько в лампе пожгли!

— В Москве задержался, а предупредить не мог. Когда дойдет сюда телеграмма!

— Правильно сделал. Керосин дешевле телеграммы. — Отец сам расстегнул сыну ремень, тем самым торопя его снять шинель. — Не приворожила Москва?

— Походил, посмотрел, — уклончиво ответил Николай, понимая смысл вопроса и не собираясь пока обсуждать его.

Отец подвинул табуретку, приладил шинель на гвоздь, любовался цветной фуражкой, ковырнул ногтем козырек.

— От царского режима многое потянули. В подобных головных уборах скакали кавалеристы и при Миколушке-дурачке...

— Звездочки не было, — сказал Поликарп, решивший вступить в разговор, поскольку, по его просвещенному мнению, первый этап свидания с родителями миновал.

Поликарп знал Николая, и потому они поздоровались как знакомые и даже отпустили друг другу шуточки.

— Непорядок у нас, — извинился отец. — Ждали, ждали, а дело стоит. Ничего. Выволочем мешки в сени, доски приколотим, успеется. А пока

закусим чем бог послал.

— Чего же ждать, анархию такую держать в избе, — сказал Поликарп. — Подмога в лице третьего товарища подоспела. Рекомендую навести порядок коллективно, а потом, в этом же содружестве, заняться снедью, а?

— Почему не так? — весело согласился Николай и, чтобы сразу угодить отцу, взялся наравне со всеми за работу.

Трое мужчин быстро справились с нетрудной задачей— завалили подполье, накрыли досками, прошлись по гвоздям молотком. Вернувшаяся Марфинька передала матери бутылку водки и тоже взялась за работу.

Ее стараниями комната приняла прежний вид. Стол вернулся к «святому» углу, а снесь, томившаяся на припечке, перекочевала на тщательно отглаженную фабричную скатерть.

— Садись, сын, — пригласил Степан, не перекрестившись, как прежде, на иконы, а только махнув в их сторону головой. — Карточки пока не дошли до деревни. На той неделе Поликарп поросенка приколот, прихворнул поросенок животом — грыжа.

— Ты бы подробно не рассказывал, — сказала мать. — Разве для кабана грыжа хворь?

— Кабанчик для еды вполне здоровый. — Поликарп уставился на разваренные куски свинины. — Разрешите, опробую...

— Подожди, разольем беленькую. — Отец вытер пальцами рюмки.

До ухода в армию не могло быть и речи о «беленькой» для сына. Теперь все само собой изменилось. Но Поликарп заметил, что молодец еще не привык к вину, пил неумело, не к месту морщился и закусывал не огурцом, а жирной свининой.

Пирог из грубого помола. Нет-нет да и хрустнет на зубах не взятая жерновами зернинка, а то и куколь попадет. Приходилось похваливать — ведь мать пекла.

Все возвращалось из дальнего прошлого. А недавнее исчезало. Миновали годы кавалерийских маршей по южным степям, по горам и долинам рек. Не услышать фанфар, не увидеть больше комдива на белоногом скакуне с ярким вальтрапом, будто небрежно брошенным под скрипучее желтое седло. Теперь на Наивной гарцует сам Арапчи, приучая ее к своему жестокому нраву. В деревне другие лошади, лохматые, мослаковатые, с обвисшими ушами и побитыми хомутами холками. Телеги и розвальни; на них и зимой и по раскисшей полевке возят навоз в одноконку.

— Лошадей у нас десяток, рабочих — пять, — рассказывал отец. — Нашего Серого запалили, сдох в прошлом году, писали тебе. Земли

пахотной в нашей артели тридцать пять и восемь десятых... Председателя Коротеева паралич разбил. Выбрали или назначили, не знаю, как назвать, сапожника Михеева, того самого, что головки тебе к сапогам пришивал... На викосмесь налегает Михеев и на овощи, а до города далеко. Морква сгнила в бунтах, капусту небось сам видел, а рожь не уродилась в этом году. Получили пятак в кулак за трудовой день и задумались...

— Я к подруге пойду, к Зиночке, — попросилась Марфинька, заскучавшая от серьезных разговоров.

Марфинька ушла, возле двери кивнув и махнув рукой брату.

— Только не задерживайся! — вдогонку прокричала мать.

Поликарп тоже ушел, довольный угощением. Можно было без посторонних поделиться мыслями, пока еще не всем, самое смутное оставив в душе. Николай перед отъездом из Москвы отправил Жоре открытку с указанием сельского адреса, просил не забывать друга и довести начатое дело до конца. Если Жора откликнется, можно будет принять решение, а пока вряд ли стоит расстраивать стариков раньше времени. Когда разговор подошел к самому насущному, к корове, Николай вынул деньги и передал их отцу. Отец пересчитал их дважды, поблагодарил и внес новую цифру в бумажку, вытасченную из-за божницы.

— Она свое вернет, — сказал отец, — она и Госбанк и сберкасса. В этом месяце отправимся с мамашкой в Калужскую, к Тарутину. Недавно привели оттуда страсть какую многоудойную корову. — И отец назвал фамилию счастливецца.

Серый день прошел незаметно. Заходили соседи, больше из любопытства, поглазеть. Под вечер ввалился бобыль Иван Чума, заросший по самые глаза, горевшие, словно уголья. Он обратился к Николаю с просьбой написать в Москву жалобу на непорядки, от перечисления которых у Николая вспухла голова.

— Оставь его, Иван, — просила мать. — Смотри, до чего довел Колю своей нудьбой... Ведь врешь все, придумываешь, тебе ни один царь не угодит, ни одна партия... Постригся бы ты лучше, Иван, на ножницы.

Иван Чума с неудовольствием поглядел на Антонину Ильиничну, и многое сказал этот немой взгляд ожесточенных глаз, будто запутавшихся в сетях мелких морщинок.

— Не гляди так каторжно, — выдохнула мать, — спутаешь...

— Отпусти сына, — глухо выдавил Иван Чума, будто из самого нутра, и пошел, не попрощавшись, натужно передвигая тяжелые ступни ног.

— Ишь ты, колдун, — тихо вымолвила мать, — указал тебе дорогу, будто кол в нее забил верстовой... Думай сам, Коля, мы теперь тебе худые

советчики.

— Почему же, мама? — Он прикоснулся к ее руке.

— Сердцем решаем, а тут надо умом. А ум шире... У него нет ни дорог, ни гор, ни лесов. Куда хочешь летит, хоть в Азию.

Мать потрясла одеяло, постелила сыну чистую холстинку вместо простыни и ушла в другую комнату, где сумрачно устраивался на ночь отец.

От стенок пахло сырým мелом. Оттаивающие окна слезились, вода впитывалась в льняные шнуры и уходила в подвешенные под подоконником бутылки.

Николай набросил шинель и вышел на крыльцо. Село спало. Даже псы не брехали.

На западе поднималось полукружие тихого зорева — полуночичала суконная фабрика, или «Суконка», как ее здесь называли. В хатенке Ивана Чумы, с насупленной стрехой, красно горело окошко. Будто чей-то кровавый глаз вглядывался из-под земли. Глухая тоска, словно зараза, овладела сердцем Николая и не отпускала. Было жаль родителей, а выход оставался только один — по тропке на станцию, в город. Иного просвета не намечалось в вязкой темноте ночи.

Марфинька вернулась, обрадовалась брату, прильнула к нему.

— Меня поджидаешь? Давай не сразу домой. Не могу. Хочешь, вот тут?..

Они сели на бревно, у калитки. Марфинька, будто угадав состояние брата, смятенно зашептала:

— Уходить надо, Коля. Кругом свет, а у нас потемки. Стыдно так говорить, а не могу! Молодежь вся уходит. Отец будет уговаривать. Жалко его, а себя еще жалче. Уйдешь — и меня позови... Босиком прибегу. Хочу к людям, на большую фабрику, на завод. Чтобы до зари фонари кругом...

Марфинька не закончила — зарыдала. Быстро справилась с собой. Голос ее стал суше и строже:

— Если не вызовешь, сама уйду.

— Обещаю. Только сначала мне самому нужно...

— Понимаю. До весны подожду... У меня, кроме этой курточки, ничего нет на зиму. А в городе нужно пальто.

Из-за леса поднималась луна, будто литая из какого-то холодного, мертвого сплава.

— Тут и луна страшная. — Марфинька прижалась к брату.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Трешка. Да, ошибиться трудно — самая настоящая трешка, небрежно смятая и похожая на детский кораблик, лежала на плите. Железная койка, предоставленная Николаю, была втиснута к окну между двумя стенами крохотной кухоньки. Отсюда ему казалось, что кораблик плыл в мутном свечении зимнего солнца и пошатывался бортами. Кораблик плыл на чугунной поверхности плиты, а может быть, он только-только упал с потолка, и от него разбежались, как от брошенного в воду камня, эти черные круги.

Возле кораблика, подобная плоту, плыла вчетверо сложенная бумажка, и в ней — продовольственная рабочая карточка розового цвета. Жора писал: «Завтракай в единоличии, Коля. Отужинаем в коллективе».

Можно было взять кораблик и полюбоваться им, держа на ладони. Трешка! Не простой бумажный трояк, ничтожная пылевая частица из вихря ассигнаций, выпущенных машинами Государственного банка. Исчезни такая пылевая частица, и ничто не изменится ни в судьбе государства, ни тем более в судьбе отдельных личностей. Но представьте на миг, что одна-разъединственная трешка оказалась на вашей ладони, а вы в чужом большом городе, где нет никого, к кому бы можно пойти и поклониться. При этом не забудьте, что на дворе лютый мороз, а ваш голодный желудок дает о себе знать.

Трехрублевая бумажка при таких обстоятельствах ценнее золотого слитка. Как же тут не проникнуться благодарным чувством к заботливому другу? Отзывчивость Жоры была хорошо известна еще в казарме. Именно он, беспутный, недисциплинированный Квасов, всегда был готов отдежурить за друга, подменить дневальство скатать шинель неумелому, помочь справиться с тренчиками при седловке боевого походного вьюка. А если нужно во имя товарищества сделать первый шаг, Квасов сделает этот шаг перед строем и отчеканит, не мигнув быстрыми, угольно-черными своими глазами: «Я виновен! Это я сделал».

Именно Жора полез чистить колодец за Петьку Синеглазова. Арапчи пронюхал и сладострастно ждал, когда по веревке на блоке поднимется из колодца Квасов.

«Я виноват! — отрапортовал Жора, сделав примерную стойку. — Я уговорил Синеглазова разрешить мне забраться в эту прекрасную яму».

Даже у ледяного Арапчи дрогнули усики над верхней губой, и только преданность железной дисциплине не позволила ему обратить все в шутку. Квасову пришлось одни сутки поиграть в очко на голых нарах гарнизонной гауптвахты.

Воспоминания назойливо лезли в голову Николая. Умывался, расчесывал полуизломанной гребенкой свои густые волосы, мастерил по привычке уставной армейский чубчик, думал о Жоре. Приехав из Удолина и еле добравшись до района Петровского парка, он застал Квасова в дурном расположении духа. Казалось, Жора забыл про свое письмо в Удолино, в котором категорически предлагал Николаю приезжать в Москву, «пока не поздно». Одет Жора был чертовски модно, словно иностранец. Пиджак из невероятной ткани с пупырышками, краги по колени, теплая рубаха с розоватыми пуговками и какой-то разухабистый галстук. Видимо, заводские немцы заботились о внешнем виде своего неизменного шефа. Только один Жора Квасов, разрушая условности и запреты, общался с немецкими мастерами и их семьями без всяких дипломатических вывертов.

Первой московской ночью, на голубой койке, быстро устроенной Квасовым, Николаю приснилась тумбочка возле собственной кровати и на ней слоник, поднявший белый хобот выше фабричных труб. Мечта о своем уголке воплотилась в этом сне, в недостижимой мечте о собственной безделушке на собственной тумбочке.

Марфинька, провожавшая его на поезд, спросила о Квасове: «Хороший он человек, твой друг?» — «Хороший». — «Молодой?» — «На год старше меня». — «Молодой, — сказала Марфинька с любопытством и добавила: — Передай ему привет от меня».

Сейчас, спрятав в карман трешку, застегнув шинель и сменив фуражку на суконную буденовку с синей звездой, Николай вышел во двор, такой белый, что слепило глаза. Похрустывая снегом, будто ступая по крахмалу, он вдоль линии заборов и бревенчатых домов дошел до магазина.

Морозный воздух ворвался в магазин и закружился возле прилавка, возле синих девичьих глаз и хлебных батонов, уложенных рядами, будто снаряды в артскладе.

Девушка с синими глазами оторвала талон красными пальцами, выглядывавшими из шерстяных перчаток, и посоветовала вместо батона взять две французские булочки.

— Булочки только что поступили...

— Спасибо, — поблагодарил Николай и услышал брошенное ему вслед:

— Заходите!

Вероятно, девушке нравилось смущать молодых людей. Николай обернулся. Она закрыла лицо руками и засмеялась.

Не только французские булочки могут поднять настроение!

Две молодые цыганки в длинных, до земли, шерстяных юбках и теплых кофтах прошли мимо Николая. Волосы у них были седые от инея, они гортанно обсуждали какие-то свои дела. Проскрипел по мерзлым колеям водовоз. Несколько курсантов в коротких шинелях скакали то на одной, то на другой ножке, растирая рукавицами уши. Вот и все, кого Николай встретил на улице в этот утренний час.

Деревянные домики светлели бельмами замороженных окон. Печной дым поднимался вверх по строгой вертикали и долго-долго не смешивался с крутым холодным воздухом.

В другом магазине, где пахло селедкой, гвоздикой и томатной пастой, Бурлаков купил банку адыгейского перца и вернулся в двухэтажный рубленый дом, приютивший его.

Завтрак предвиделся грандиозный. Булочки еще продолжали источать аромат, а вкус сладкого адыгейского перца, фаршированного морковкой, петрушкой и сельдереем, вызывал слюну.

На кухне возилась с сырыми, крупно нарубленными дровами маленькая женщина в фартуке, с утомленным лицом и красными, огрубевшими от домашней работы руками. Вначале она не заметила нового жильца и продолжала свое дело.

— Разрешите, я помогу, — предложил Бурлаков, следя за тем, как женщина пытается расколоть жилистое дубовое полено.

Женщина выпрямилась, обернулась. На ее бледном лбу и под глазами висели бисеринки пота. Дешевенькое красное ожерелье, казалось, прилипло к острой обнаженной ключице.

Вероятно, очень хорошо смотрел на нее незнакомый человек, если этот взгляд немедленно дошел до ее сердца, и она в ответ приветливо улыбнулась. Сразу помолодело и осветилось ее лицо, куда подевались неприятные черточки, следы забот и дум, и женщина стала другой, милой и ласковой, будто ее подменили.

— Здравствуйте. — Она вытерла о фартук руку и протянула ее. — Вы, кажется, Николай? Так меня предупредил Жора. Вы нас не стесните, Коля, живите. И если что вам нужно, мы будем рады помочь. Мы люди уживчивые и понятливые...

— Кто же вы будете такая... хорошая? — так же искренне, в тон ее ласковому напевному голосу спросил Николай, бережно задерживая ее огрубевшую руку в своей потеплевшей ладони.

— Настенька меня звать. Ожигалова. Мой муж работает на той же фабрике, где и Жора, где Саул и Кучеренко.

— Позвольте, Настенька, все-таки мне нужно знать более точно, кто ваш муж, чтобы и держаться соответственно...

— А ладно, не скажу. — Настенька махнула руками. — Ну-ка, посмотрю я на вас, как вы соответственно осилите это полено...

Бурлаков шутливо поплевал на ладони, прицелился и умело расшиб почти без стука незадачливое для Настеньки полено.

— Наблюдаете? А теперь разрешите на улице произвести казнь вашим дровишкам. Нельзя портить полы а государственном доме. Сразу видно, имею дело с несознательной частью общества.

Настенька доходчиво приняла шутку. Она подбоченилась с особой важностью, повела носиком, чтобы придать себе большую важность, и заявила тем же напевным голосом:

— По какому праву вы позволяете себе называть несознательной частью общества законную супругу секретаря партийной ячейки? Тогда кто же, по-вашему, сознательный? Александр Федорович Керенский или Антон Иванович Деникин?

— Ах вот вы какая большая шишка! Руки по швам. Делаю стойку «смирно».

— Идите вы к богу в рай, Коля! Давайте кончать болтовню. От нее сыт не будешь. Вы уже ели?

— Откровенно признаться, только вдохнул запахи продмагазинов.

— Тогда мы поедем вместе, — предложила она, — согреем кипяток на керосинке. Плиту я решила затопить, чтобы приготовить обед поскорее, пока дети не проснулись, а то не дадут. Я утром готовлю обед, на два дня. Видите эту громадную кастрюлю?

Знакомство с Настей Ожигаловой подбодрило Николая, согрело его первое самостоятельное утро в Москве. Раскальвая поленья во дворе, Бурлаков в радужном свете представлял себе дальнейшее течение жизни. С наслаждением он ощущал свое тело, здоровое, сильное, полностью повинующееся ему. Ни одна косточка не заныла, не посрамила и поясница. А ведь частенько приходилось в походах попадать из жары на холод. Многие тогда схватились за спины и до сих пор греются синими лампами и растираются скипидаром. Большую охапку дров наколот Бурлаков, отнес их на кухню, опустил на корточки перед дверкой и при помощи старых газет и баночки керосина быстро растопил плитку.

— Из-за кровати не беспокойтесь, — успокаивала Настя, — она нас на кухне не стеснит. Лишь бы вам было удобно, Коля.

За чаем и банкой адыгейского перца Николай узнал кое-какие подробности о семье новых знакомых. Сам Ожигалов — с Балтики, из Кронштадта, работал на заводе «Красная заря», потом учился в Москве в партшколе или на курсах и остался на партийной работе «поднимать точную индустрию». Познакомилась Настя с Иваном Ожигаловым в кино «Баррикады», на фильме «Савур-Могилы», места оказались рядом. С «Савур-Могилы» и началось. Поженились, получили комнату. Настя работала на «Трехгорке» прядильщицей, а теперь привязана к дому.

— Третьего ждем, Коля, — стеснительно призналась она. — А что, выкормим и третьего. У матери моей было одиннадцать, и в какое время! А теперь впереди все светлее и светлее...

А пока картошку чистила аккуратно, старалась снять как можно меньше кожуры; масло расходовала осторожно, как драгоценность, раздумывая над каждым кусочком. Вызывалось это не скарденностью, а вынужденной обстоятельством необходимостью. Ни на кого не сетовала Настя, ни над кем не глумилась, не упрекала советскую власть. «Наше все, Коля, — сказала она убежденно, — хорошее и плохое — все наше. Если что не так, то сами же. Кого виноватить?»

За тонкой стеной, оклеенной обоями, монотонно звучал мужской голос: «Я хочу есть», «Ты пошел спать», «Дайте мне вилку». Женский голос с терпеливым равнодушием поправлял: «Не так, Вилли. Не пошел, а пошел...»

— Там живет немец Вильгельм. Мы зовем его Вилли, — сообщила Настя. — Жена его русская, звать ее Таня, из Кунцева она. Знает немецкий. Замужем всего год. Симпатичная получилась парочка. Вилли второй день на бюллетене, ангина.

Настя рассказывала подробно. В двух бревенчатых домах, построенных для немецких специалистов, одну квартиру передали советским рабочим: в первой комнате поселился Ожигалов с семьей, во второй — Саул, Квасов и сборщик приборов Кучеренко.

В нижнем этаже — квартиры Вилли и холостяка Мартина, знатока приборов точной механики, самого капризного из немцев. На верхнем этаже жили спокойный немец Майер, с женой и двумя девочками-школьницами, и одинокий пожилой Шрайбер, бывший подводник, родом из какого-то города невдалеке от Гамбурга.

Во втором доме квартировали четыре немецкие семьи. Из этих Настя лучше всех знала молодого, «симпатичного» Отто и его жену Дору, которые дружили с Майерами и приехали вместе с ними из Тюрингии.

С немцами теснее всех общался Квасов: ездил с ними в магазин

«Инснаб», бывший Елисеева, пользовался их полным доверием и пропусками. Немцы считали Квасова надежным товарищем и обращались к нему при всех затруднениях, встречавшихся в этой чужой для них, неуютной стране.

Настя рассуждала так:

— Пусть лучше Жора будет возле них, чем какой-нибудь проходимец. Жора не продаст. Он может погулять, выпить, но продать не продаст... — Тут Настя была убеждена твердо. — Иные рабочие ругаются: почему каким-то немцам суют в три горла, а своих держат на пайке? Если он иностранец, так возле него — юлой, а своего, мол, жми, все равно не пискнет... А я думаю: все заранее рассчитали. Им дают, но с них и спрашивают. Корову и ту кормить надо, чтобы молочка получить. Если нанял немцев, — значит, нужно...

— Что же нам здесь делать, серятине? — безулыбчиво спросил Николай, вслушиваясь в слова Насти, твердо уверенной в своей правоте.

Настя вскинула глаза, подумала.

— Поначалу все серые, а потом? У вас все впереди. Они что — пришли и ушли. Сегодня у них в Германии или там в Англии нет работы, они к нам идут на отходку, а завтра покличут их назад, кепки снимут, скажут: «Ауфвидерзейн!» А мы тык-мык! Погодите...

Постучавшись, вошел Вилли, вежливенький белобрысый немчик с мучнистым лицом и прозрачно-ледяными глазами. Шея его была забинтована, и говорил он шепотом. Ему нужен был Жора.

Вслушиваясь в размеренный голос отвечавшей ему Насти, он с удивлением, приподняв еле очерченные брови, изучал мелодию русской речи.

— Ви очень карашо говорийт руськи, — похвалил он. — А мой Танья кричит...

Вилли держался скромно, вежливо. Ему жилось в России несравнимо лучше, чем самим русским. Но, понимая причину такого вынужденного бытового неравенства, Вилли не заносился. Советским русским можно было удивляться, но не презирать их.

Кроме Шрайбера, никто из немцев не имел высшего технического образования, они были мастерами. Их пригласили из Германии для того, чтобы они показывали, а не рассказывали. Они умели работать газовыми горелками, превращая стеклянные трубки разных размеров в термометры, креноскопы, в детали измерительной аппаратуры и медицинских приборов.

Возле немцев учились, перенимали не формулы или технические сведения, а живой опыт, навыки, мастерство, ту самую гамму движений,

которая создает ритм производства той или иной вещи.

Им платили золотом; отрывали от себя, чтобы накормить, одеть, отопить их квартиры. С ними не играли в прятки: «Наладим производство, научимся и откажемся от вас, друзья или недруги». В Россию их гнала нужда, реже — идейные побуждения. Никто из немцев не трудился бескорыстно. Жесточайший, невиданный в истории капитализма кризис продолжал омертвлять сотни заводов, гасить домны, останавливать прокатные станы, брать на прикол корабли. Двадцать пять миллионов безработных в Европе и Америке угрожающе давили на свои правительства, на систему, заставляли ломать рогатки ограничений, разоблачали спесивые заблуждения буржуазных пророков. В конце концов слитки или бриллианты не пахнут. Золото, добытое в Бодайбо или на Юконе? Какая между ними разница? Форд разрешил перевезти завод из Детройта в Нижний Новгород. В одном из штатов Северной Америки монтировали турбины для Украины. В древний русский город на Волге, когда-то собравший ополчение для спасения Москвы, и к берегам Днепра, где казачья вольница держала экзамен на патриотическую зрелость, приезжали американские парни в голубоватых комбинезонах и технически образованные «мистеры» в желтых крагах. Они помогали не только своему существованию, но и волей-неволей социализму. История, как ни один шутник, щедра на парадоксы. Титанические события истории не исключали наличия обыкновенного гвоздя в сапоге, который иногда бывает «кошмарней всех фантазий у Гете».

...Если Жора сумеет быстро устроить на работу, все равно до получки нужно как-то прожить. Продовольственные карточки дают возможность покупать хлеб, мясо и масло по дешевым, пайковым ценам. Если подзанять у Жоры (следовали мучительные вычисления), то и тогда... «Гвоздь в сапоге» серьезная штука. Пришлось поворочаться на койке, перекатываясь с бока на бок, в ожидании друга, от которого полностью зависела судьба.

Настя орудовала на кухне. Оттуда вместе с назойливыми криками детей просачивались запахи картошки, кипевшей в своем «мундире», и поджаренного на горчичном масле лука. Тикал будильник. Мороз затянул окна, и в комнате держался прохладный сизоватый полумрак. Будущее казалось беспредметным. Какие-то силуэты, неясные очертания людей, призванных помочь и устроить.

«Уходить надо отсюда. Темно у нас. Где-то свет, а ты бродишь, будто в потемках. Картоха и хлеб... Хлеб и картоха...» — вышептывала ему далекая встревоженная Марфинька.

Мучительно хотелось картохи и материнской выпечки хлеба с

хрустящей подинкой на капустном листе. Адыгейский фаршированный перец в жестяной банке... От него только отрыжка. И тоска... Зеленая трешка, сложенная детским корабликом... Вилли с перевязанным горлом и белыми ресницами... Марфинька бежала по лугу. Желтая пыльца трав била по ее смуглым коленкам...

— Заснул, — сказала Настя Ожигалова, заглянувшая в комнату; она хотела предложить Николаю картофелину, посыпанную крупной солью. — Зябко ему.

Настя сняла с вешалки кавалерийскую шинель и осторожно, чтобы не разбудить, накрыла ею «нового жильца».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поздно, часов в девять, Квасов приехал на таксомоторе «рено». Уже давно вернулись с работы немцы дневной смены. Ожигалова еще не было.

— Партийное бюро у Ивана, — сказала Настя. — Сегодня скоро не обещал...

«Рено» развернулся и затормозил возле ворот. В квартире появился Квасов — веселый, с красным от мороза лицом.

— Собирайся, Колька! — крикнул он с порога. — Я только сменю шкуру, повяжу «собачью радость» и... Собирайся! Чего уставился?

— Куда?

— Не будем закудыкивать дорогу, Колька.

Жора быстро сбросил пальто, стащил краги, переобулся в штиблеты. Вместо рабочего костюма надел новенький пиджак, коричневый с голубой искоркой, двубортный жилет и темно-коричневые брюки.

— Куда ты его тащишь? — строго спросила Настя.

— Ни в оппозицию, ни в контрреволюцию, Настенька. Вспрыснем приезд, как положено по русскому обычаю. Представлю будущему начальству. — Он оглядел друга. — Ничего! Так и поедешь. В демобилизованном. С хлопцами о времени условились, запаздываю.

Первая шикарная поездка на «рено». Дух захватывало. Квасов наслаждался производимым впечатлением. Развалившись на заднем сиденье, он снисходительно просил друга не смотреть на скользящие цифры счетчика.

— Учти, Коля: в нашем государстве происходит взаимный обмен ценностями. Ничто не пропадает и в чужую кошелек не прячется. Водитель таксомотора такой же рабочий, как и я, а счетчик выбивает сумму для нашего государства. Мне заплатили, я заплатил, потом ко мне вернется, и я верну...

Лицо Жоры сияло, он изрекал истины с завидной легкостью, и в его живых глазах прыгали бесовские огоньки.

Намертво замороженные стекла машины пропускали тягучий посвист ветра. Мелькали мутные пятна уличных фонарей.

— Мы держим курс на «Веревочку», Коля, — продолжал Жора просвещать своего приятеля. — Так, если помнишь по письмам, называется наш излюбленный трактирчик на подъеме к Лубянке. Колонны в

трактирчике оплетены каменной веревочкой, лепка такая, потому и «Веревочка». Безобидное и недорогое учреждение с цыганами... Собираемся вчетвером. Кроме нас мастер Фомин, глава цеха. Нужен? Нужен... И Кешка Мозговой. Все же как-никак сослуживец и парень занятый, с интеллигентной внешностью и соответствующими недостатками...

Слушая болтовню приятеля, Бурлаков думал о Парранском. Наплывом, как в кино, появлялся перед глазами инженер со своей пилочкой для ногтей. Слышались его острые слова. Триста восемьдесят шесть делегатов с решающим голосом действительно не затронули Квасова, прошелестели мандатами на своих скамейках и разъехались. А Квасов продолжает прогулку на своем «рено».

Загадочные слова Парранского о флюидах и импульсах мелькали, как эти движущиеся световые точки на белом, льдистом стекле машины.

Возражать, возмущаться или как еще поступить? Зеленый кораблик трешки превратился в адыгейский перец, пару французских булок... Бурлаков знал и любил Квасова, а теперь он подчинялся ему; больше ему некому было подчиняться в городе, хотя миллионы людей заселили его кирпичные коробки. И почти без удивления Бурлаков узнал в нетерпеливо поджидавшем их Фомине того самого человека с глубоким шрамом на щеке и губе, который сопровождал знаменитого партизанского вожака в кавказский ресторанчик. Теперь только Николай увидел близко, на расстоянии протянутой руки, его глаза, пронзительные, как у чекиста, подвижные, мясистые губы и редкие крупные зубы. Шрам (вероятно, от сабельного удара) не уродовал его лица, а придавал всей фигуре суровую мужественность.

Биографию Фомина можно было прочитать, не заглядывая в документы. Его крепкая, сутуловатая спина, обтянутая глянцевито поблескивающей кожанкой, низко посаженная голова и развитая грудная клетка говорили о том, что это человек труда.

Квасов относился к Фомину с некоторым подобострастием. От его независимости и следа не осталось, когда Фомин выговаривал ему за опоздание.

Кешка Мозговой, радушно обнявший своего армейского сослуживца и ткнувшийся в его щеки заиндедевскими усиками, сразу же прекратил изливания, как только Фомин повел на него своими горячими, нетерпеливыми глазами.

— Вы не обижайтесь, ребята, — буркнул Фомин, едва шевеля мясистыми губами и кутаясь в теплый шарф, — я в каждом деле люблю

порядок.

Фомин быстро шел впереди всех по Охотному ряду, где еще сохранились железные вывески лавок. Огни машин кружились в поземке. Направо, в загороженном сквере, поднималась деревянная башня; на грузовиках вывозили подземные грунты — строилось метро. Слева чернели деревья и низкие решетки изгороди, поднимались колонны Большого театра. На мощном пьедестале архитрава мчалась бронзовая четверка античных коней. Возле театра сновали, спешили люди. В сравнении с колоннами они казались совсем крошечными. Их гнали мороз и белый вихрь.

«Веревочка» встретила матовыми шарами фонарей, бросавшими расплывчатый свет на обледеневший асфальт. Вентиляторы выбрасывали из подвала испорченный воздух; пахло жареным мясом, табачным дымом и еще чем-то кислым.

Подходили самые разные люди, мужчины и женщины, девицы определенной профессии в невероятных шляпках с резинками, глубоко врезавшимися в посиневшие шеи, с покрашенными ртами и заученными улыбками. Возле входа толпились юнцы с папиросками в зубах, в валенках и штиблетах, в картузах и треухах. Их не пропускали швейцары — дюжие усачи с каменно-неприступными жестокими лицами; они умели различать клиентов еще со времен Николая Кровавого и угарного нэпа.

Теперь взялся действовать Квасов. Фомин, вынужденный силою обстоятельств уступить инициативу, угрюмо молчал и снисходительно улыбался. Гардеробщики с поразительной ловкостью помогли снять верхнюю одежду и понесли ее к вешалкам, как нечто драгоценное. Здесь знали Жору и умели польстить его неприхотливому самолюбию.

В тесной комнатке пол был застлан затоптанным ковриком. На потолке плесень выписала бесхитростные узоры. Густые запахи кухни, оттаивавших пальто и полушубков, аммиака и карболки отхожих мест перемешивались с неумным рокочущим гулом, мерклым сиянием графинов и рюмок и стуком ножей о посуду.

Квасов спустился в подвал и вскоре поманил своих спутников рукой. Для них освободили столик невдалеке от эстрады, занимавшей небольшой угол подвала. На помосте стояли венские стулья с гнутыми спинками, и на них отдыхали гитары, бубны.

— Цыгане сейчас дадут жизни! — Жора повел глазами на сцену. — У них перерыв. Садись сюда, Коля, а я лицом к ним, меня знают, неудобно сидеть спиной... Товарищ Фомин, вот тут будет вам в самый раз: вполоборота к искусству и хороший обзор.

— Затащил ты меня, Жорка, а мне надо домой. Перед своим домашним гепеу потом не отчитаешься, — пробурчал Фомин; его, по-видимому, смущало присутствие незнакомого Бурлакова.

Кешка закинул ногу за ногу, достал папироску из длинной коробочки «Бальные» и зажег спичку, лениво взглядываясь через огонек в настороженное лицо Фомина.

— Прошлый раз ему попало, — тихо сказал Кешка, наклоняясь к Бурлакову. — В подвальчик заглянул Ломакин, директор. Заметил. С мастерами рядовому пролетариату гулять воспрещено. Расценивают как нездоровое явление...

Старый официант с брезгливо опущенными уголками бескровных губ принимал заказ от знакомого ему Жоры.

— Не рекомендовал бы пить ерша, — посоветовал официант. — Помните, как на вас подействовали полдюжины жигулевского и литровый графин? Давайте переменим пластинку. Нарзан разрешите? Шашлыки кавказские имеются, карачаевский горный барашек. Салат под майонезом рекомендую. Селедку не советую, если бы иваси — другое дело. Остановимся на осетрине с хреном и попробуем корнюшончиков...

Мудреные названия официант произносил без запинки. Жора тоже понимал в этом толк и, пожалуй, даже бравировал своей осведомленностью. «Веребочка», как и «рено», словно зашифрованные символы красивой жизни, постепенно раскрывались перед Бурлаковым, но ему от этого не становилось легче.

После первой рюмки настроение не поднялось. Нет, не так, как он представлял себе, решалась его судьба. Что-то неприятное было в замашках его друга, когда он заискивал перед Фоминым, сносил его насмешки и старался угодить ему. Если это делалось ради того, чтобы устроить Николая на работу, то цена была слишком дорогой.

— Фомин, ты лучше спрячь орден. — Квасов наклонился через Бурлакова, нажимая ему на колено потной, горячей ладонью. — Не красуйся тут. Шпана обращает внимание.

— Ладно. — Фомин скосил глаза на свой орден и, расстегнув пуговку нагрудного кармана, опустил в него клапан с орденом.

— Дрались, а теперь стыдно?.. — спросил он мрачно.

— Вероятно, учреждение не подходит, — сказал Бурлаков.

— Советское же. Не в Берлине и не в Париже.

— Советское-то советское, а орден Красного Знамени здесь не монтируется, Дмитрий... — продолжал Бурлаков.

— Петрович, — подсказал Фомин и оглядел его дружелюбно. — Все

выложили?

— Вероятно. — Улыбка тронула губы Бурлакова. Хмурыми, настороженными оставались только его глаза и густые брови, собиравшиеся к переносице. — Я, если откровенно сказать, завидую вашему ордену. Редко увидишь людей с орденами. Ну, у нашего комдива есть. У него три, у начштаба дивизии — один, у комбрига — два ордена. И все. Хотя нет, видел еще одного в Москве, вместе с вами...

— Со мной? — Фомин сразу назвал фамилию прославленного партизана. — Этот?

— Вероятно. На зубра похож.

— Да, да, именно на зубра. — Фомин засмеялся, лицо сморщилось, — обычно показывает он на зубра, что на бутылке, говорит, разве я не похож на этого зверя в профиль? Комкор Серокрыл! Отличный был командир. Вместе в Крым врывались, рубали корпус генерала Барбовича, до самой Ялты гнали, до пароходов...

Цыгане расцветили помост эстрады своими шелковыми рубашками, разномастными шароварами и юбками. Они запели сразу, резко и возбужденно. Из общего хора сразу выделились голоса трех молодых цыганок, сидевших между пожилыми.

Лысый старик в желтой рубахе, с гитарой и серьгой в левом ухе уверенно направлял по единому руслу этот поток то диких, то щемящих звуков.

Цыганская песня с гортанными выкриками и придыханиями как-то незаметно перешла в пляску. Вначале вышли мужчины в мягких сапогах с узкими подошвами, потом три молодые женщины — они-то и разожгли публику призывными движениями бедер и груди и яркими глазами, круглыми, как у птиц.

Что-то древнее и дремучее просыпалось в душе человека при виде этой необузданной пляски. Мерещились степи, костры, скрип колес, кочевники на необъезженных конях. И вместе с тем чувство нежности, забвения, тоски охватывало людей, попавших в этот грязный подвал. За столами, залитыми пивом, люди вскрикивали, стонали, хмуρο плакали.

— Понял, Колька, за что я обожаю «Веревочку»? — Квасов захлебывался слезами у самого уха Николая. — Они душу выворачивают наизнанку, я на них все просажу... Глянь, не моргай: идет их король... Главный цыган по песням и танцам!

Между столов, лениво отвечая на приветствия; шел высокий, широкий в плечах человек с длинными волосами под скобку, с матово-смуглым лицом и печальными светлыми глазами. Под пиджаком у него кремовая

атласная рубаха и пояс с махрами почти до колен, сапоги лакированной кожи. И длинные кисти рук. Эти безвольные и изнеженные руки, надменные поклоны и вялая улыбка сразу настроили против него Бурлакова.

Все подчинилось этому человеку. Он сел не сразу, хотя ему немедленно освободили место у стола напротив эстрады и пододвинули стул. Осмотревшись, король повесил пиджак на спинку стула, встряхнул широкими рукавами, присел и, опершись локтями о стол, с болезненной улыбкой стал смотреть на сцену, откуда уже спускались к нему певицы.

Впереди шла пожилая цыганка, затянутая в талии ярким полushалком, с монистами на оплывшей напудренной шее. Время не сумело изменить ее грудной низкий голос. За ней передвигались две молодые цыганки со смуглыми руками, гибкими как змеи.

Лысый мужчина с бесстрастным толстым лицом шел за ними с гитарой в руках.

Цыганки допели начатую песню возле своего короля, и он слушал их, склонив голову, почтительно и строго. Когда они закончили, он пожал им руки. Потом взял поданную лысым цыганом гитару, опробовал струны.

Ресницы бросали тень на его щеки, приподнятая губа обнажала ровную белую полосу зубов. Он начал петь тихо, вполголоса, и этот заранее продуманный прием сразу оказал свое действие. Все стихли прислушиваясь; теперь, когда не нужно было осиливать шум, король запел громче. Его вялые пальцы извлекли неожиданно жесткие, сильные звуки, полоснувшие по сердцу Бурлакова будто ножом. Возникла песня, тревожная и злая, удалая и безнадежная, песня, которую никто не осмелился перебить ни кашлем, ни стуком посуды, ни разговором.

Над столиками ураганом пронесся припев, подхваченный хором, гитарами и бубнами. Когда последние звуки оборвались, король притопнул ногой, отбросил назад упавшие на лоб пряди и заиграл плясовую. Это был сигнал цыганкам, как догадался Бурлаков. Они, приплясывая, пошли к сцене. Программа потянулась своим чередом.

Дальше все поломалось. Человек в атласной рубахе вскоре пил вместе с посетителями, рвал зубами баранину, тыкал вилкой в салаты и вскоре опьянел. Цыганки будто забыли про него. Одна, жирная, выискивала податливых на лесть посетителей и натравливала на них величальниц, которые подходили с блюдом и вином.

— «Выпьем мы за Жору, Жору молодого...»

Квасов весь светился от удовольствия, целовался с цыганками, не жалел денег.

— Ребята, жмыхи вы, ведь это жизнь!.. Они живут рядом с нами. Девчата, вы тоже в Петровском?

— Тоже, тоже!.. — И снова вопили: — «Свет еще не видел красивого такого!..»

Бурлаков сказал Фомину:

— Я не знаю, но мне кажется, что Жору надо выручать...

— Надо. Согласен. Как?

— Очень просто. — Бурлаков встал и оттеснил цыганок и еще каких-то попрошаек. — Идите отсюда, а то толкну...

— Ты не имеешь права. — Квасов полез с кулаками. — Они приятели мои, а ты кто?

— Завтра разберемся. — Бурлаков усадил Квасова на стул. — Вытри-ка губы, пиджак поправь. Кешка, ты чего же сидишь, ногу за ногу заложил? Тебя это не касается? Требуй счет, и по домам.

— У меня деньги есть, — бормотал Квасов. — Гляди, сколько! Если не хватит, в долг поверят. Шрайбер мне верит, Майер верит, а ты...

Кешка Мозговой процедил сквозь зубы:

— Я принимаю компанию, но в долгу не вхожу... Возьми у него деньги, расплатись.

— Хорошо. — Николай сдержался, подозвал официанта, издали наблюдавшего эту сцену с профессионально наигранным равнодушием. — Немедленно подсчитайте.

— Готово.

— Подай сюда счет, — сказал Фомин и, просмотрев его, поднял на официанта помутневшие злые глаза. — Фазанов мы не ели, коньяк не пили. Если другой раз замечу приписки, друг лазоревый, на бугор потащу. Понял, на какой?..

Расплатились и вышли. Кешка разыскал такси, помог усадить Квасова и попрощался. Возле Белорусского вокзала сошел Фомин.

— Значит, договорились: ты доставишь Жору, — сказал он. — И завтра приходи в цех. Я в курсе, Жора доложил...

Николай остался вдвоем со своим окончательно разомлевшим другом.

— Обожаю мощно погулять. — Курчавая голова Жоры моталась по спинке сиденья.

— Липовый ты гуляка. Шумишь больше.

— Молчи, Фомин.

— Фомина нет. С тобой Колька.

— Врешь. Мозговой?..

— Может, сообразим, натрем снегом уши? — предложил шофер,

сбавляя скорость.

— Помогает, что ли?

— Помогает. Милицейский прием...

— Еще простудим. Вы нас извините, папаша.

Шофер неодобрительно хмыкнул и начал рассказывать о себе.

Старый солдат, на фронте водил броневик, имеет большую семью, плохую комнатенку на окраине.

— Перебиваемся с хлеба на квас, — закончил он. — Не могу понять, откуда у людей деньги на такие гулянки? Воруют, что ли?

— Рабочий он, — сказал Николай.

— Рабочий? Тем хуже...

— Почему хуже?

— Купец гулял — понятно. Тому деньги разбоем давались, он пота не проливал. А тут? Рабочий разве дурак?..

И прекратил разговор.

Они ехали по Ленинградскому шоссе. Машину бросало на скользком, наезженном снегу, как на камнях. Деревья бульвара, отряхнувшиеся от снега, подняли вверх проволочные черные ветви. Изредка появлялись слепые огоньки фэзтонов, реже — машин. На тихом ходу обошли длинный обоз. Тяжелые першероны с гривами чуть ли не до земли тащили громоздкие грузы. Натруженно скрипели резиновые ободья колес. На задней повозке стоял красный фонарь.

Все же для Бурлакова единственный во всем городе верный человек — Квасов. На Кешку надеяться нельзя, пальцем не пошевелит для другого. Кешка, не оставляя никаких лазеек, заявил: «Советы даю, денег — никогда».

Сегодняшнее посещение «Веревошки» было задумано из дружеских чувств. Надо было свести с мастером, заручиться его поддержкой. А то могут послать на тачку или грузчиком, попробуй прорвись тогда к станку. Раздражение против Жоры сменилось теплым чувством.

— Слышал, славили меня?.. — бормотал Квасов.

— Слышал. «Выпьем мы за Жору, Жору дорогого...»

— А как дальше?

— «Свет еще не видел пьяницу такого».

— Не так. — Жора попытался укунить Николая за палец. — Цыгане меня понимают...

От машины до крыльца Квасова пришлось тащить чуть ли не на спине. Он упирался, вырывался из рук. Двери открыл Саул, поджидавший их возвращения.

— Знакомиться будем после, — сказал он. — Держите его за руки. Вот так... Потащили... Рот прикройте шапкой... Детей напугаем. Нет, нет, зваливайте его на меня. Я хоть невзрачный с виду, а спина у меня крепкая.

На тумбочке лежали раскрытые книги, горел ночник. Лицом к стене на койке спал третий жилец — слесарь-сборщик Кучеренко. Его рыжая голова была похожа на малярную кисть в охре. Возле батареи просыхала его спецовка.

Саул умело, будто не впервой, раздел пьяного Жору, собрал и сложил стопкой книги и тетрадки на тумбочке. Присел на кровать, провалившись на ослабевших пружинах, пристально взгляделся в сконфуженного Бурлакова.

«Ишь ты, прицепился, — настороженно подумал Бурлаков. — Принимает меня за нового прихлебателя Жоры».

Тело, согревшись в тепле, слабело, мысли путались, в ушах еще звенели бубны. С трудом он боролся с усталостью, чтобы не осрамиться перед Саулом.

Внешность Саула не производила особого впечатления. Разве можно сравнить с Жорой этого узкогрудого, большеносого молодого человека с некрасивыми ушами и тонкой шеей! Крупные кисти рук странно не сочетались с хрупкими запястьями. Зато глаза — не уйти от них, не спрятаться. Стыдно от их взгляда и знобка. А вот располагают к себе эти глаза, вызывают на откровенность.

— Вам нелегко будет на первых порах. Ничего... Привыкните... Все мы так начинали.

У Саула низкий, сильный голос. И, если так можно сказать, добрый, участливый. Казалось, в этой маленькой грудной клетке прячется удивительная музыкальная машинка. Постепенно до Бурлакова дошел смысл сказанных Саулом слов. Этот человек хорошо разбирался в людях. А почему это он остерегает от дурных влияний?

Надо самому подумать, разобраться. Говорит Саул в необидном тоне и будто не Бурлакову в глаза, а кому-то другому, кого в комнате нет.

— Поскольку речь зашла о Жоре, давайте-ка перевернем его на спину, — предложил Саул, — ишь захлебывается. Еще задохнется.

Разбуженный Кучеренко повернулся к ним, не разлепляя век.

— Пусть, гад, захлебнется.

— Ты, Кучеренко, жестокий человек. — Саул продолжал возиться с Квасовым. — В тебе говорит эгоизм, у тебя недостаток перспективы...

— Поехал, Саул! — Кучеренко открыл глаза. — Я бы эту Снегурочку — в вытрезвильню к Деду Морозу. Враз бы очухался. Нужен он тебе, Саул,

для твоей, как ее, перспективы?

— Нужен, Кучеренко. Если ты к нему безразличен, то мне он нужен. Мне с ним строить общество...

— Перестань трепаться! — Кучеренко нащупал ногами чувяки. — Глухой я к таким тропарям...

— Тропарям? Откуда выудил слово?

— Дядька у меня псаломщик.

Кучеренко прошлепал в уборную, вернулся, закурил, поеживаясь от холода и прижмуривая глаза на ночник.

— Человек обязан идти по норме, раз взялся держать курс.

— Квасов не по норме идет?

— Нет. Буровит. Надоел...

Саул решительно приготовился к спору. Уставился на Кучеренко немигающими, насмешливо прищуренными глазами, устроился поудобнее возле батареи, источавшей сухое, горьковатое от пыли тепло.

— Своего товарища мы обязаны выручать, Кучеренко. Открыть его душу хорошему. Пощуровать, если зашлаковалось...

— Меня, шуруй не шуруй, нипочем не распалишь. Не тот котел... Спать я хочу, и иди ты... сам знаешь куда. Спокойной ночи.

Кучеренко затянулся последний раз папиросой, погасил окурок о ножку кровати и повернулся лицом к стенке.

— Равнодушный ты и мутный гражданин новой эпохи, товарищ Кучеренко, — продолжал Саул. — Кроме золотого зуба, нет в твоей индивидуальности никакого блеска и реально ощутимой ценности.

Кучеренко недовольно покряхтел.

— Мы должны выручать квасовых. От чистеньких не замараешься... — Саул говорил в полушутливом тоне. — Вот к нам пришел человек из армии — вернее сказать, из деревни. Этот человек, — Саул подмигнул Бурлакову, — приглядывается к нам, изучает, проникает в нашу микроструктуру. Ты дрыхнешь, и этим ты не изумишь его. Таким был человек и в девятнадцатом и в восемнадцатом веках. А человек переворачивает свою жизнь не для того, чтобы упереться в равнодушие товарища. Ты должен ответить ему на его немые вопросы.

— Ладно, замолчи ты, балаболка. Заела тебя грамота, Саул.

— Не гордись своей отсталостью. Если у тебя дядя псаломщик, он мог бы сообщить тебе хотя бы по секрету, что грамоту принесли разумные странники Кирилл и Мефодий. Вероятно, они не имели тебя в виду, Кучеренко, когда думали о прогрессе человечества...

— Мне вкалывать завтра, трепач! — взмолился Кучеренко и натянул на

голову одеяло.

Кучеренко и Квасов заснули. Наступила тишина. Лишь за окнами тихонько поскрипывали обледеневшие ветви. Глухая зимняя ночь лежала за бревенчатыми стенами.

Саул подтолкнул Бурлакова на откровенность. Пришлось подробно рассказать ему о деревне. Сон пропал. К Саулу как-то сразу потянуло. Слушал он внимательно.

— Не знаю, как ты расцениваешь мое решение, но другого не придумаю, — закончил Николай и принялся стаскивать сапоги. — Может быть, и кривое решение...

— А что кривого?

— Говорят: крестьянину — село, горожанину — город.

Саул пожал плечами.

— Раньше, возможно, так и было. А теперь село двинулось в город. Кому-то нужно вставать к станкам. Сами они крутиться не будут. Завод не испугает?

— Чего его пугаться?

— Не все сразу привыкают. Утомительный организованный труд. План поджимает... Побалагурить некогда, полежать тоже...

Николай уловил насмешку.

— Брось ты намекать. Крестьянину тоже некогда болтать или на боку лежать. Это так со стороны кажется. Рабочему — восемь часов, а крестьянину — все двадцать четыре.

— Не надо так, — мягко остановил его Саул. — Я не хотел тебя обидеть. Разве мы не видим, сколько тягот взвалили на крестьянина.

— Именно взвалили... — Николай чуточку остыл. — Видел я в «Веровочке», за один присест прожирают годовой бюджет крестьянской семьи. Если бы моего отца на часок в такой ресторан пустить, с ума бы сошел. Он на корову еле-еле сбился, из последних жилочек... Собрал деньги, а покупать — в Калужскую, пешком...

Саул осторожно сказал:

— А кому же еще браться, как не крестьянину? Если бы из индустриальной страны аграрную делали, тогда бы люди потекли из города в деревню. А то в аграрной стране взялись за индустрию. Некому, кроме крестьян, пополнять ряды пролетариата. Я категорически отмечаю всякие правоинтеллигентские упреки в так называемой военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Чепуха! Это придумали политические чистоплюи. Негров, что ли, нам выписывать или свои колонии заводить? Для самих же себя все делаем, при чем тут неравные категории?

Саул ругал «правых» с брезгливостью.

— Приезжал к нам на дискуссию один из этих оппортунистов. — Саул весело взъерошил волосы. — Бобровый воротник, такая же шапка. И завел душераздирающую волынку о крестьянах, слезу хотел вышибить... А есть у нас мастер, превосходный, скажу, мужчина, некто Гаслов. Мудрый. Он погладил усы, усмехнулся, зубы у него крупные, из-под усов блестят. «Вы, — говорит, — товарищ, не знаем, как вас величать, фамилии не расслышал, возьмите, раз вы такой добренький, и передайте в ту или иную артель шубу свою и шапку. За таких камчатских бобров можно десять коров купить молочных».

— Такой дорогой мех?

— Еще бы! На вес золота, как говорится.

— Ну и что же он? Скинул шапку?

— Скинет!.. Уехал в том же обмундировании. — Саул пренебрежительно скривил губы. — Трепаться они мастера, а строить кому-то нужно. Кому?

Разметавшись, спал Квасов. Сильный, красивый, с вьющимися волосами и крутой грудью.

От него, и только от него одного зависела судьба Николая. Сознание своей зависимости невольно вызывало чувство неприязни.

— Прекрасный экземпляр человека, — Саул любовался Квасовым, — образец физического совершенства. Не хватает только одного: гармонии...

— Какой?

— Гармонии физических и духовных качеств, — ответил Саул.

— Слабый дух может искрошить сильное тело? — Николаю не нравилось книжное выражение мыслей.

— Металл и то крошится, — небрежно заметил Саул.

Николай поднял глаза, всмотрелся в узкое лицо Саула.

— Как и всегда в таких случаях, надо закалять дух?

— Да. — Саул сжал губы.

— А мы имеем право вмешиваться? — Николай продолжал не только из духа противоречия. — Многие хотят перевоспитывать. А пусть такого говоруна-перевоспитателя рубить лозу с седла или бить по мишени — одна мазня за ним...

Саул терпеливо, не перебивая, выслушал соображения Николая о вреде поучений, о пользе показа, а не рассказа,

— Нет, мы имеем право и должны воспитывать, — сказал он твердо и убежденно, с горячим блеском в глазах. — Мы отвечаем за все. Не на кого валить наши беды — нет ни буржуев, ни помещиков. Мы сами отвечаем, и

с нас спросят...

— Кто это мы? — глухо спросив Николай, разбуженный этими словами. — Я требую точности...

— Ныне живущие. И ты, кто бы ты ни был, — ответил Саул более мягко, не обращая внимания на резкий тон вопроса. — А лучше всего давай-ка, друг, спать. Тебе снова достается голубая койка. Заглянул я утром, спишь калачиком. Любишь спать калачиком, Коля?

Лицо Саула осветилось, стало проще и яснее. И от этого без следа рассеялась его первоначальная отчужденность. Он рассказал, что уже второй выборный срок ходит в заместителях секретаря ячейки комсомола. Работает в цехе сборки приборов.

— Это я хочу объяснить тебе, Коля, чтобы между нами не возникло средостение, — сказал Саул, стоя возле умывальника и растираясь полотенцем перед сном. — Мы оба комсомольцы, и задачи, возникающие у нас в преддверии великой эпохи, одинаковые.

— Спасибо, что объяснил, — дружелюбно проговорил Николай. — Только откуда у тебя такой слог? Слушаешь тебя и думаешь: смеется или озорует словами? Вгляжусь попристальней — говоришь серьезно.

— Я учусь выражаться более возвышенно, нежели, скажем, черноземный товарищ Жора. Мне доставляет радость находить слова, адекватные нашей эпохе.

— А все же ты трепач, — заключил Николай и оттолкнул его от умывальника. — И все делаешь нарочно... А зачем?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Квасов проснулся под треск будильника. Вчерашние «ерши» даром не прошли. Пришлось сунуть курчавую голову под кран и разогнать дурную боль мохнатым мокрым полотенцем. Освежившись, Жора разбудил своего крепко спавшего друга и, пока тот, шурша бритвой, наводил красоту, приготовил поесть. Банка черноморских бычков, зарезервированная в их холостяцком складе за двумя оконными рамами, оказалась кстати. Позавтракали наспех, выпили чаю.

Кучеренко и Саул ушли раньше, прихватив с собой Вилли, забежавшего к ним с плохой вестью: мороз покрепчал не на шутку. Жора сжалился над Вилли, заставил его переобуться в свои валенки, а сам надел сапоги с толстой подошвой — подарок Германа Майера. Вместо буденовки он нахлобучил на Николая меховой треух.

— Стой-ка, Николай, у тебя, кроме этих фасонистых сапожат, ничего? Что же ты раньше не сказал! Нет, нет, я тебе сейчас оторву теплые портянки. Есть у меня старая шерстяная блуза, надоело ее латать. Не смотри на меня такими глазами, крестьянская твоя душа. Мне что, твое здоровье дешевле тряпки? Пока не получишь табельный номер и тебя не возьмет на содержание пролетарское государство, забота о тебе на мне. Ты что, газеты набил в сапоги? Газета, конечно, утепляет, но до известного предела, а потом образуется труха. Скорее заканчивай, время поджидает...

Кирпичные столбы ворот, заборы, деревья от комлей до макушек обросли за ночь сухим, ломким инеем. Люди шли торопливо, уткнув носы в шарфы и воротники. Снег под ногами скрипел, как резина. Сразу заиндевели ресницы, не разлепишь.

В замороженных окнах трамвая продували глазки. Кондукторша дышала на голые, озябшие кончики пальцев, выглядывавшие из перчаток, и простуженным голосом объявляла остановки. Дома, столбы, провисшие побелевшие провода, казалось, тонули в сумеречном воздухе раннего утра.

— Мне нужно с тобой условиться, — вполголоса говорил Квасов. — Во-первых, если не ошибаюсь, ты до армии возился в мастерской, ковырялся в тракторах?

— Ковырялся. Были у нас два токарно-винторезных станка в почтенном возрасте. Чертеж прочитать могу. Если несложная деталь — выточу.

— Это важно. Потому и спрашиваю. Наниматься надо к Фомину...

— Не понимаю. На завод?

— После поймешь. — Жора неумолимо проводил свою линию. — Фомин умеет глубоко проникнуть в рабочую душу. Сам рабочий... А вот есть у нас мастер другого профиля, некто Гаслов, сверхмарксист и голый энтузиаст. Попадешь к нему, ни хрена не вытанцуешь, на редьку не хватит. А человек имеет право не только на ломоть чернухи. Кое-где прижимают с расценками. — Квасов пространно болтал на эту тему, по-видимому еще не понимая по-настоящему чужих забот. — Недавно спрашиваю знакомого работягу с номерного завода: «Как?» Отвечает: «За солью хожу в пивную». — «Почему?» — «Бесплатная». К чему же тогда звание гегемона! Пробовал я разобраться в политике через приводные ремни, через профсоюзы. Вообще, я не уважаю профсобрания. Производственные совещания, да, их признаю, от них есть польза. И вот захожу однажды на собрание, слышу — завелся на всю пластинку предфабкома. Прислали нам недавно жоака новой формации, не спеца там какого-нибудь, не вредителя. И что же он? Рекомендует зубы лечить. Клуба у нас нет. Собрание — в столовке. Слышу: «Полость рта, полость рта...» Стало мне не только нудно, а тошно. «Зачем, — думаю, — мне следить за полостью рта, если там все в полной исправности?» Я ни разу ангиной не болел, кашля отродясь не было. Зубы — гвоздь перекушу. Зевнул я от скуки, оглянулся, как бы сбежать от этакой агитации, и, будь ты трижды рыж, чую, заныл у меня кутний зуб. И как еще заныл, собака! «Вот тебе, — думаю, — и полость рта!.. Накликал боль предфабкома, шут его дери!» Направился смеха ради к доктору, дантисту; его фабком на полставки пригласил. Посадил он меня в кресло. Открыл мне рот, смотрит, стучает молоточком и заявляет: «Сплюньте, он у вас пустой». — «Кто он?» — «Зуб мудрости». — «Пустой?» — спрашиваю. «Да». — «Рви его, раз пустой!» — «Зачем рвать, мы его отремонтируем, полость внутри заполним, и он еще послужит». Согласился я, вонзили мне в мозг сверлилку. «Вот и посмеялся, — думаю, — над предфабкома. Выходит, прежде чем смеяться, сначала поплачь на поверку».

— К чему эти воспоминания? — недоверчиво спросил Николай, думая о своем; впереди все было неопределенно.

Легкомысленное настроение приятеля не могло передаваться ему. Заиндевевший город, казалось, полностью отстранился от него, скрылся за чешуей инея. Но в переулке было затишней, теплее. Скрытая за забором и складами фабрика представлялась огромным живым существом, пока тоже чужим и неясным. Сирена, заменившая паровой гудок, завывала зловещим голосом. Люди потоком вливались в узкое русло проходной, молча, без

всякой радости. Пожилые рабочие с серыми лицами, с сутуловатыми спинами, плотно сжатыми губами. Даже молодежь не оживляла обыденной картины. Не слышно было голосов — только щелканье жетонов, скрипение подошв на мерзлых гнущихся досках. От дыхания людей поднимались клубы пара.

Жора попросил подождать, пока он найдет Фомина и тот выпишет пропуск. В проходной появился Иван Ожигалов; кепка из толстого сукна откинута на затылок, ворот застегнут, шарф засунут в наружный карман драпового неказистого пальтишка.

— Чуть-чуть не опоздал! — Ожигалов поздоровался с Жорой, потом протянул руку Бурлакову. — Будем знакомы, догадываюсь, Настенька проинформировала.

— Мой корешок, — сказал Квасов.

— Корешок? Твой? Ну, ну, Жора, сильно берешь. Может быть, только веточка? — Ожигалов всмотрелся в смущенное лицо Квасова своими коричневыми, с хитринкой, глазами.

Была в этих глазах не только приветливость, а и сила. Положение в коллективе, что ли, вырабатывает этот надежный эликсир или природные свойства характера? Только почувствовал Николай облегчение от одного присутствия этого человека. Появился он, и узкий мир стал просторней.

— Товарища пропустите со мной! — сказал Ожигалов дежурному. — Жора, не хмурься, разреши мне позаботиться о твоей веточке.

— Почему именно ты? Он еще беспартийный. Рабочий класс и сам не растеряется.

— Поделим заботы, Жора. — Ожигалов подморгнул. — Все же партия наиболее передовая и дальновидная часть класса.

Квасов отмахнулся.

— Ладно. Грамотные... Учти только, Ваня: мы к тебе не прибегали и не припадали. Могли без тебя обойтись.

Шуточки на этом закончились. Квасов пошел в цех. Ожигалов провел Бурлакова в заводоуправление, и по темной ксилолитовой лестнице они поднялись на второй этаж и очутились в комнатухе с единственным окном, выходящим на глухую стену жилого дома.

— Имей в виду, — сказал Ожигалов, — рабочие нам нужны. Поступив к нам, ты идешь навстречу фабрике.

— Но от ворот вы не берете...

— От ворот не берем. Верно... — Ожигалов присел на краешек стола и взял телефонную трубку. Кепку он не снял, из-под козырька спускались нечесанные волосы. Валенки стоптаны, штаны на нем суконные, черные,

тоже давным-давно служат своему хозяину. Матросская блуза. В другом месте можно и не заметить этого обычного человека. Не подходил да и только Ваня Ожигалов по внешнему своему виду под сложившееся представление о партийных работниках. Нет у него сапог с голенищами по коленные чашечки, наглухо застегнутого френча о четырех карманах, диагоналевого галифе и «политпрически». Нет наигранной важности и каменного выражения на лице, говорящего о сосредоточенности мысли. Лицо Вани Ожигалова было подвижное. Попадись в свое время такой боец аккуратному Бурлакову, пришлось бы серьезно воспитывать его, добиваться стандартной выправки. Вот сидит Ваня на столе, разговаривает с кем-то непринужденно, без всякой начальнической строгости или глубокомысленных междометий. Партийной организации повезло с секретарем. Так думал Бурлаков, прислушиваясь к телефонному разговору своего добровольного шефа.

Закончив, Ожигалов попросил Николая зайти в отдел кадров и оформить.

— Только не благодари, мы же условились. — Ожигалов подтолкнул его к двери и напутственно похлопал по спине.

Кадровик, артиллерист, судя по фуражке, висевшей на гвоздике, душевно принял Бурлакова и, будто невзначай, заставил ответить на десяток вопросов. Только прощупав, и промяв его со всех сторон, кадровик поставил на куценьком заявлении бывшего отделкома свою длинную и тщательно отработанную подпись.

— У нас специфическое производство. — Кадровик мягко улыбнулся, не спуская глаз с обескураженного молодого человека. — Сами понимаете, в условиях капиталистического окружения и внутреннего положения страны...

Дальше последовала популярная лекция, позволявшая убедиться, что подбор кадров на «специфическом производстве» находится в надежных руках.

— Безусловно, рекомендация товарища Ожигалова... — сказал кадровик и тут же высоко отозвался о секретаре партийной организации. После этого он коснулся щекотливого вопроса — о жилье.

— Сам ючусь невесть где, — признался кадровик, и длинные руки его сделали несколько резких движений. — Если бы вы прибыли из Тюрингии, к примеру, ну, тогда, как говорится, другая мануфактура...

— Я определюсь как-нибудь.

— Вопросов не задаю. Пока примем и без прописки. В какой части служили?

Бурлаков назвал дивизию, командира.

— Красивая дивизия, а комдив ваш в анналы записанный! В анналы революции и гражданской войны. Итак, поздравляю, сегодня оформляйтесь, а завтра — к гудку. Военный, комсомольский учет, как и положено. Понимаете?

— Разберусь... Спасибо...

— Тогда не задерживаю. Следующий!

В коридоре встречались рабочие. Они были в таких же костюмах, как и служащие, и пришли в заводоуправление не из цехов, а из дому, и тем не менее можно было по их внешнему виду и по укоренившимся запахам безошибочно угадать, что это рабочие. Эти запахи были памяты Николаю еще с детства, когда, повинувшись жажде открытий, они, ребята, бегали из села на железнодорожную станцию и вдыхали там запахи нагретых солнцем рельсов, тендера, поршней, глядели на машинистов, высунувшихся из окошек локомотива. Он помнил и мастерскую по ремонту тракторов, разлитую на земляном полу «отработку», масленки с тонкими металлическими носиками...

Пусть конторщик, дооформлявший Бурлакова, был равнодушен и напоминал человека, измученного желтухой; пусть его вялые пальцы небрежно выписывали путевку чужой жизни; пусть он даже не поднял на Николая глаза — неважно... Главное свершилось, приобрело реальные формы. Завтра можно равноправно явиться сюда, занять свое место, быть вместе со всеми, а не бродить в одиночку, подвергая себя случайностям.

Совсем близко рокотало производство. Слышался пронзительный и стойкий визг пилы. Глухо стучал молот, подрагивала запыленная трехрожковая люстра.

Николай вышел во двор, отделенный от фабричного высоким забором из металлических прутьев с коваными узлами крепления и завитушками. Бывший хозяин с немецкой аккуратностью радел о своем предприятии. Направо, в одноэтажном здании с крутой кровлей и гладкими кирпичными стенами, — столовая. При немце тут также находилась столовая для рабочих и инженеров.

Как же устраиваться дальше? Денег не было, авансов не выдавали. Оставался Квасов. У него можно занять до получки, да он и без просьбы не бросит товарища. Хорош он или плох, а вот такой, как есть, — надежный. Если бы не встретился Ожигалов, Квасов бы помог Николаю. Не только устроил бы, но и накормил. После раннего скудного завтрака хотелось есть.

Голубой столбик наружного термометра спустился почти до тридцати градусов. Мороз давал себя чувствовать через сукно шинели. Ехать домой,

в общежитие, в Петровский парк? Завалиться спать, пока возвратится Квасов? Но тут на выручку полуголодному человеку подоспел Ожигалов, решивший перекусить перед серьезным совещанием у директора по поводу нового заказа, связанного с артиллерийским перевооружением армии.

Ожигалов натолкнулся на Бурлакова и увлек его за собой в столовую. Вместе с ним был член бюро и мастер цеха Гаслов, которого по привычке называли, как и раньше, медницким.

Гаслов (так же, как и Фомин) был фактически начальником цеха, того самого, где раньше выколачивали короба автоклавов, штамповали и гнули латунный лист, делали жестяные корпуса термостатов. Впоследствии пришли другие заказы. Медницкий полуподвальный цех расширился, добавили оборудование, хотя многие работы по-прежнему производили вручную.

В столовой недорого кормили пшеничным супом, кроличьим рагу и компотом, но при этом нужно было сдать продовольственную карточку. Без нее цены поднимались. Ударникам полагался дополнительный паек — манная запеканка, политая жидким киселем из клюквы.

— Мы спешим, Коля, — разъярил Ожигалов, — глотаем, как гусаки. Совещание у директора. Принимаем новый заказ. — К Гаслову: — Вчера Парранский приходил...

— В партию хочет? — Гаслов любопытно приподнял брови.

— Нет. Советовался... — Ожигалов посмотрел на часы. — Спешить надо.

— Советовался? Это уже достижение.

— Говорит, у вас вакханалия.

— Вакханалия? В государстве или, может, в партии? — Улыбка, бродившая на лице Гаслова, исчезла. — Любят они гнусности болтать...

— Он имел в виду стоимость приборов. Вакханалию норм и расценок... Много денег съедаем...

— А-а-а... — протянул Гаслов. — Ну и что?

— Ломакина не знаешь? У него пролетарский инстинкт.

Гаслов сказал:

— Ты не давай Ломакина в обиду. Парранский только и может, что хворостину на коленке сломать, а Ломакин гору перекинет.

— Никто на Алексея Ивановича и не замахивается, к чему ты? Речь идет о таких, к примеру, как Фомин. Любит Фомин рыбку в мутной воде ловить.

— Новый заказ — это темная вода, как не половить? — сказал Гаслов, не скрывая недружелюбия к Фомину.

Ожигалов и Гаслов одновременно вытащили кошельки.

Ожигалов заплатил и за Бурлакова. Это не ускользнуло от внимания Гаслова.

— Паренек начинает без гроша в кармане, — объяснил Ожигалов. — Какие были сбережения — родителям на коровенку оставил. Ведь на коровенку?

— Угадали, — подтвердил Николай, чувствуя, как его лицо заливают краска.

Чтобы перебороть свое смущение, грубовато спросил поднявшегося из-за стола Ожигалова:

— Ваш Парранский — инженер?

— Главный инженер. Иначе — технический директор.

— С двумя «эр»?

— С двумя, — Гаслов засмеялся. В пушистых усах сверкнули крупные зубы.

— Ты знаешь его? — спросил Ожигалов. — Жора информировал?

— Нет. Познакомился с ним случайно. Оказывается, не нырнул он в бездну...

Ожигалов заторопился.

— Потом расскажешь. Пошагали, Гаслов!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кабинет директора Ломакина был на втором этаже и всеми четырьмя окнами выходил на «чистый» двор фабрики. В кабинете сохранилась от прежнего хозяина мебель, будто вырезанная из массивных кусков дерева, с львиными лапами ножек, вычурными узорами на дверках шкафов и медными петлями.

Дубовая панель, занимавшая две трети стен, казалось, навечно утверждала власть владельца. Оторвать его от этой массивной мебели, от панелей, от люстр, от кованых ворот могла только какая-то невероятная сила. Все было сделано добротно и крепко, динамитом не поднять. И вот старая тачка, на которой вывозили мусор, выбросила самого хозяина за ворота. Тачку не сохранили, не поместили в музей, не навесили на нее инвентарный номер, а, как и положено, использовали на работе «до ручки» и выбросили на свалку.

Пришедшие на совещание пили чай из так называемых мюллеровских стаканов, без блюдец, обжигали пальцы, хрустели даровым рафинадом и окаменевшим печеньем. Эти сокровища обычно хранил чуть ли не за пломбами честнейший директорский помощник — секретарь, неказистый на вид Семен Семенович Стряпухин (он происходил, как писалось в анкетах, из личных потомственных граждан приокского города Алексина).

Ломакин тоже пил чай из стакана, который он держал в сложенных тюльпанчиком коротких «плебейских» пальцах. Мучительно наморщив лоб, он слушал изобретателя. Оперирова формулами и цифрами, изобретатель, черкая мелом на доске, уверенно доказывал преимущество предлагаемого им прибора для координации стрельбы батарей.

Отложной ворот френча директора взмок. Гладко выбритые щеки лоснились от пота. Ломакину тяжело давались формулы, хотя он окончил Промышленную академию и без опаски вступал в спор по общеполитическим вопросам с любым собеседником. В данном же случае ему пришлось иметь дело с дотошным изобретателем, по заслугам награжденным орденом, с конструктором, имеющим доступ к верхам и ни разу еще не заподозренным во вредительстве. Изобретатель с изумительной энергией «подавал» свое детище.

Худой, нервный, с впалой грудью и подвижными руками, он доказывал преимущество своего прибора. С точки зрения артиллеристов, такой

прибор обеспечивал базу метчайшей стрельбы, групповую сокрушительную точность покрытия любой цели. Ни один снаряд не падал даром, ни один килограмм взрывчатки и металла не расходовался понапрасну. Тухачевский и подчиненное ему ведомство артиллерийского снабжения рекомендовали выдержавший испытание прибор в серийное производство.

Производственники, группа мастеров и цеховых начальников, сидели ближе к дверям и у окон. Все они были похожи друг на друга: те же черные шевиотовые пиджаки, мятые штаны, грубая обувь и серые, усталые лица. Они пили чай без всякого удовольствия, будто исполняя повинность. Их внимание было сосредоточено на схематическом чертеже, по которому бегала указка конструктора.

Ожигалов прошел через комнату и сел на оставленный для него стул с высокой спинкой, обтянутой порывшей и потрескавшейся от времени кожей.

Справа от Ожигалова, упершись локтями и приставив ладони к ушным раковинам, сидел директор; он сделал вид, что не заметил опоздания одного из углов «треугольника».

Изобретателю-конструктору пришлось пройти через много мытарств, прежде чем появилось на свет его детище. Объясняя значение прибора для артиллерии и принципы его поведения в полевых условиях, конструктор, казалось, и здесь был убежден в присутствии оппонентов. Он продолжал говорить резким, срывающимся голосом, полемизируя с воображаемыми недоброжелателями.

Производственники меньше всего вникали в тактические способности прибора. Работать с ним и вычислять придется другим. А вот технические требования — как смастерить такую штуковину из девятистот шестидесяти деталей, какими руками, на каком оборудовании — это их заботило всерьез. Люди привыкли выдерживать сроки, идти в первых рядах, а не плестись в обозах.

Есть ли возможность на имеющемся оборудовании справиться с серией? Достаточно ли прецизионны станки, найдутся ли в промышленности необходимые для изделия металлы, найдется ли инструмент, не залихорадит ли налаженное производство, если взяться за этот внеочередной заказ.

Ломакин правильно воображал: под такой срочный заказ можно заполучить оборудование, не дожидаясь плановых, сильно урезанных поставок. Пожалуй, и сам Тухачевский не откажется подписать бумажку на заводы. И тогда можно будет отправиться за станками к знакомым

директорам в Пермь, в Свердловск, в Ижевск. Ломакин недолюбливал заграничные станки, подкрашенные для того, чтобы легче сбавить захудалый товар на нетребовательный и емкий восточный рынок. Ломакин откровенно говорил об этом и Орджоникидзе и Пятакову, любителю подобных якобы дешевых комбинаций с демонтированным оборудованием иностранных поставщиков. Ломакин даже пострадал от этих якобы «антигосударственных тенденций». А что делать? Верил в свой отечественный станок Ломакин, любил все отечественное, таков уж характер расейский. Да и не плохие станки давал тот же «Красный пролетарий», откуда в свое время вывезли на тачке Бромлея.

Ломакин черкнул в блокноте несколько слов на эту больную для него тему и, пошлав по цепочке записку Парранскому, старался, прежде всего, уяснить, какую пользу он может извлечь для своего предприятия.

Парранский знал прибор, когда его еще доводили в опытном конструкторском бюро после испытаний на полигоне, поэтому он не старался вникать в формулы и цифры, как бы шелестящие в кабинете с дубовыми панелями. Внимание его занимал сам докладчик, орденосец, его одноклассник, приятель, с которым они когда-то спорили о смысле бытия и политике. Они ходили в одни и те же аудитории, слушали одних и тех же профессоров, ели колбасу одного сорта, а вот теперь ему, Парранскому, приходится вводить в производство то, что изобретено этим человеком в военной рубаше с широким кожаным поясом и в неуклюжих галифе из толстой диагонали, которая поблескивает на коленях. Рациональный, критический ум Парранского иногда сталкивался с беспокойным, мятущимся и, казалось, неорганизованным умом этого человека. Победу одерживали благоразумие и скепсис Парранского. Тогда еще шатались устои, будущее угадывалось в зыбком тумане, над энтузиазмом и прямолинейным патриотизмом подшучивали.

Потом их всех, и сомневающих и ортодоксальных, подхватили ветры стремительной индустриализации. Завидовать, спорить, шататься было некогда. Россия требовала беззаветного труда, надо было помогать России.

Что-то шептал наклонившийся к Парранскому завпроизводством Лачугин, жирный, крупный человек, не снимавший с лысой головы тубетейку. Он якобы взял ее с трофейной головы, скатившейся с плеч мятежного курбаши. Лачугин знал свое дело безукоризненно. Парранский отодвинулся: от Лачугина, как и всегда, пахло потом и сырým луком. Лачугин рьяно занимался оборонной общественной деятельностью, как бывший военный. На лацкане его пиджака светлели крылышки значка Осоавиахима,

В стороне, под диаграммами, — Хитрово, совмещавший плановое начало предприятия и тарифно-нормировочное бюро, пунктуальный и внутренне обозленный специалист, потерявший при новом режиме почти девять десятых своего благополучия.

Его мумифицированное, желтое лицо покрыто бесчисленными морщинами, губы белые, нос будто вылеплен из воска, на лысине ржавые пятнышки веснушек.

Были здесь и молодые инженеры. Они сидели особняком, иногда перемигивались, улыбались, не ввязывались в споры и пока старались казаться примерными учениками.

Еще держалась стена между молодыми и старыми специалистами.

Эллипсоидный круг планшета, обтянутого синим сукном, был накрыт военно-топографической картой. На планшете на двух длинных, градуированных делениями лапах стоял прибор, призванный координировать из единого центра стрельбу артиллерийских батарей.

Парранский всегда с внутренней тревогой воспринимал новшества, связанные с военным делом. И не потому, что он, как инженер, не был любопытен к новшествам и утерять потребность совершенствования. Каждый прибор для истребления человека, изобретаемый или улучшаемый, когда-то будет введен в действие. И если раньше в истории человечества оружие бесцельно омывалось кровью, теперь оно, оружие это, должно было защитить первое отечество труда, великую Родину, с ее светлыми идеалами. Когда же их, защитников отечества, заставят обороняться батареями, координируемыми этими новыми приборами? Долго ли осталось до конца передышки, этой трепки нервов и постоянного умственного напряжения? Передышка! Улыбка тронула губы Парранского. Ломакин подумал, что эту улыбку вызвала его записка: «Пока прилетят заморские журавли (станки), надо, Андрей Ильич, наловить полную пазуху отечественных синичек».

«Передохнуть некогда, — сказал себе Андрей Ильич Парранский. — И, судя по всему, в дальнейшем тоже не придется. И так — до последнего кома земли, брошенного на крышку гроба».

Докладчик закончил и закурил папироску, измяв мундштук пальцами. «Не оставил своей нервной привычки». Парранский мог теперь внимательней рассмотреть лицо своего бывшего однокашника. Тот постарел и казался лет на десять старше. Глубокие морщины срезали углы рта и обострили подбородок, глаза потеряли блеск, поседели виски.

— Как? Будем делать? — спросил изобретатель Парранского.

— Никуда не уйдешь. Надо... — Парранский издали великодушно

раскрыл свои объятия.

Ломакин считал вопрос давно решенным и собирал людей лишь для того, чтобы щегольнуть демократизмом. Пусть рассматривают, советуются, щупают, радуются или сомневаются. Сейчас, после десятиминутного коллективного раздумья, кто-то выскажется, кто-то о чем-нибудь спросит. Лачугин подбросит заказчикам, сидевшим в уголке, два-три заранее подготовленных вопроса о поставке оборудования; те запишут, чтобы доложить начальству. Потом последует его директорский кивок в сторону начальника спецчасти, энергичного парня в саржевой гимнастерке с авиапетлицами. Начальник унесет прибор в секретную комнату, соберет головастых мастеров, и они решат основную задачу. Усядутся вокруг прибора, развинтят его, разберут по деталям, каждый по своей специальности. И тут же, в густо надымленной комнатухе, они составят спецификацию, расчеты рабочей силы, станочного и иного оборудования, материалов, определят стоимость каждой операции и всего изделия. Только после этого прибор перейдет к мудрецам, к экономистам и плановикам, к их арифмометрам и логарифмическим линейкам. Пусть мудрит Парранский, подводит техническую научную базу, самое главное — решить практически, мозгами непосредственных производителей.

Сметку, русскую сметку обожал Алексей Иванович Ломакин, верил в легендарного Левшу, который сумел подковать блоху.

Спецификация ОКБ была в руках Лачугина, рассматривавшего ее ради приличия, чтобы составить первое впечатление о предстоящих работах. Возле него сгрудились мастера.

Фомин присел у прибора. Жадная улыбка бродила по его лицу.

Всякий новый прибор представлялся Фомину вместилищем всевозможных неясностей, чисто производственных тайн, из которого можно черпать прежде всего заработки. Пока прибор еще притирается к серии, пока обрастает нормами и расценками, можно лихо прокатиться его милостями и на бега и в пивную, и не на трамвае, а на дорогом «рено».

— Сделать сделаем, но трудно, — сказал он громко.

— А почему трудно? — спросил Ломакин.

— Трудно, товарищ директор, сами видите. Какие задачи решает! Только что не говорит...

— Тебе-то от этого какая печаль? Разговаривать его родители без тебя научили.

— Так, может быть, пусть родители и размножают, — обидчиво возразил Фомин. — Может, из нас плохие будут отчимы?

— Ладно уж, — Ломакин ткнул пальцем в прибор. — Ты что в нем

будешь делать?

Фомин вытащил набор отверток с прекрасными ручками, сделанными им самим.

— Разрешите раздеталировать?

— Раздеталируем после.

Ломакин поблагодарил изобретателя и представителей военведа, проводил их до дверей, где передал из рук в руки своему помощнику Семену Семеновичу Стряпухину.

Когда ворота закрылись за машиной гостей, директор сказал:

— Забирайте прибор. — Он кивнул начальнику спецчасти. — Раздеталируйте. И через... сутки доложите. Только не слишком зверствуйте, ребята. Не запрашивайте. — Он повернулся к Фомину. — Понятно? — Фомин погасил самодовольную улыбку. — Не слишком нажимайте на... материальное оформление идей. Прикажу товарищу Хитрово пройти с хронометром. И... поздравляю вас с хорошим заказом! Можете идти.

В кабинете остались только трое: Ломакин, Ожигалов и Парранский. Заглянул Стряпухин, открыл форточку, взял набитые окурками пепельницы и ушел куценькими шажками, с сознанием хорошо выполненного долга.

Ожигалов уселся в глубокое кожаное кресло возле письменного стола и глазами пригласил Парранского занять второе кресло, напротив.

— Алексей Иванович, у нас к тебе дело, — начал Ожигалов.

— У нас? — Парранский пожал плечами, и Ожигалов прочитал на его лице дерзкое любопытство.

Ломакин придвинулся вместе со своим креслом и, навалившись грудью на стол, приготовился слушать, для чего поставил на стол локти и оттопырил двумя руками ушные раковины. Он был глуховат с детства, и этот недостаток в нужную минуту помогал ему выгадывать время для ответа, но чаще мешал и угнетал, как любой физический недостаток.

Ломакин считал Ожигалова легким секретарем и всегда отстаивал его в районных и Московской партийных организациях, хотя там искоса посматривали на «излишне демократизированного» партийного руководителя, не всегда понимали причину его абсолютного авторитета не только среди рабочих, которым он был близок, но и среди технической интеллигенции, а там встречались разные люди, с разными убеждениями и предрассудками. Не лавируя и ничем не поступаясь, Ожигалов уверенно владел настроениями людей, рассеивал возникавшие недоразумения, действовал напрямик, не допуская сколачивания группочек. Он знал: не догляди, и группочки легко превратятся в политическую коррозию. Большой разбег, взятый трестом, готовым превратиться в объединение, и

фабрикой, выходящей на первое место в группе заводов приборостроения, требовал чуткого и профессионального партийного руководства. Ломакину пришлось по душе практика нынешнего бюро: оно выносило свои заседания в цехи, ставило на собраниях производственные вопросы, двигало и мысль и план, не отгораживаясь железной стеной от беспартийных старых и новых специалистов.

Слушая неторопливую и, несомненно, толковую речь секретаря, Алексей Иванович легко развеял свои возникшие возражения и полностью успокоился. Не будучи ретроградом, он всегда прислушивался к разумным советам, откуда бы они ни исходили и в какой бы форме ни были преподнесены.

Если отсеять шелуху и взвесить на ладони провеянное зерно деликатного вступления Ожигалова, можно увидеть, что его предложения продиктованы доброй заботой об улучшении технического руководства. Ломакин и сам неоднократно «подчеркивал» эту мысль, хотя ему было известно, что улучшения не знают границ, все же надо было идти вперед, а не топтаться на месте.

Вот только не нравились Алексею Ивановичу чужие, корявые фразы, прорывавшиеся в речи Ожигалова с известного рода замешательством. Что за чертовщина, эти самые «вакханалия норм и расценок» и «ликвидация темных инстинктов»? О смысле догадаться нетрудно, а вот сама терминология — заимствованная. Будто на ходулях стоит Ожигалов. Ведь простой же мальч, хоть и накропал книжонку о своей боевой юности. Книжонка написана без затей, а тут: «вакханалия», «темные инстинкты»... Явно помогал Парранский. Чувствуется его соавторство: по выражению лица, по гримасам, по тому, как покраснели его уши. Ломакин хоть и крестьянский паренек, всего-навсего бывший фабзавучник, а Промышленная академия кое-что стоит...

О том, что приборы, особенно новые, влетали в копеечку, Ломакин знал, конечно, не хуже своих собеседников и старался смотреть на это сквозь пальцы. Освоение приборов требовало жертв. Но Ломакин не выносил поучений и популярной политграмоты, он и сам знал, как добывается копеечка, сколько надо выплакивать, пока ее не выжмешь и не бросишь в копилку индустриализации. У самого родня — крестьяне. Все старье донашивают деревенские дяденьки и племянники. Частенько натягивается струна и в собственном сердце, а что делать? Не махнешь же рукой на промышленность, не поставишь предприятие на прикол.

Ожигалов выступал против «раздетализации», безусловно, по наущению Парранского. Он требовал изменить метод ввода в серию нового

прибора. Вместо «отвертки и потолочной спецификации» перейти на путь технически грамотных обоснований, и тогда меньше будет нелепостей, на задний план отступит рвачество. Пресловутого Фомина не называли, но он подразумевался как вожак нехороших настроений и любитель дешевого авторитета среди рабочих.

Все было понятно и не требовало подробных разъяснений. Со многими доводами директор соглашался, хотя на практике не прочь был доверяться не науке, а опыту. Если бы конструкторское бюро фабрики само создавало прибор — дело другое, тогда можно бы согласиться и с медлительностью. Но прибор поступил опробованным и испытанным от самого заказчика. Нужно было побыстрее сделать первые образцы, а потом, когда все притрется, — приспособления, кондукторы, шаблоны и т. д., запустить в серию.

«Раздетализация» себя оправдывала. Мастера развинчивали прибор и разбирали детали каждый по своей специальности. Ум этих простых людей, не отягченный побочными соображениями, действовал безошибочно. Как можно сделать деталь? Тут же, в комнате спецотдела, разрабатывалась технология, вначале по частям, а потом все сводилось вместе. Получалась хотя и примитивно оформленная, но стройная система. Такой-то металл, станки, рабочая сила, расценки. Не обходилось без споров. Один любил запрашивать, другой старался вложиться в норму, третий — вроде совестливого Гаслова — обращался к сознательности, занижал расценки и завывшал нормы, вызывая яростное сопротивление Фомина.

Ломакин любил ясность. В данном случае туман быстро рассеялся, и можно было практически решать вопрос о серийном производстве. Заказчики привыкли к оперативности Ломакина и не пытались искать других поставщиков. Чтобы доказать свои преимущества, надо было поворачиваться, как выражался Алексей Иванович, «сразу на все сто восемьдесят». Шуточка ли: после каких-то автоклавов или термостатов пойти на запуск в серию таких сложных приборов, как стабилизаторы курса торпедных катеров, бортовые прицелы для самолетов и катеров, и выдвинуть дерзкую мысль о создании отечественного автопилота.

Новый прибор шел по артиллерийскому ведомству, а артиллерии придавалось особое значение в будущих возможных войнах. Чтобы не ударить лицом в грязь перед своими потенциальными противниками, нужно было развивать качество артиллерии. А какое может быть качество без точных приборов?

Ожигалов стал читать по бумажке, спотыкаясь на сложных фразах.

Ломакин понимал: как ни верти, а нужно пересматривать свои методы, от чего-то отказываться, «подниматься на следующие ступени», как выражался Ожигалов. Теперь было ясно, что разумелось под «ликвидацией темных инстинктов». Термометром должна быть наука, а не опыт. Кустарщина — за нее не раз «гоняли» Ломакина руководители треста — сама себя не изживет. Поэтому неустойчивые требования Парранского, поддержка его Ожигаловым были директору на руку. Значит, Парранский берется изживать кустарщину. Только непонятно, почему он пошел к Ожигалову и перетянул его на свою сторону, зачем привел адвоката? Нет ли здесь какой подоплеки? Ломакин постарался унять поднявшиеся было подозрения и, покопавшись в памяти, вспомнил: Парранский уже пытался ему доказывать, а он, Ломакин, отмахивался, не дослушивал, свысока относился к его предложениям. Да, свысока. Ломакин мог признаться в этом только самому себе и никому больше. Даже Орджоникидзе подметил эту его черту: «Нельзя чваниться, товарищ Ломакин. Держи руки на пульсе времени, а не в карманах собственных брюк».

Но вот зачем Ожигалов стакнулся с Парранским и Гасловым? Можно было выслушать претензии беспартийного спеца и без всякого стука явиться в директорский кабинет, изложить смысл претензий, установить единую тактическую линию, как и положено между двумя партийными руководителями.

Самолюбие Ломакина было задето, хотя он постарался ничем этого не выдать. Если Ожигалов забыл о такте, ему, Ломакину, забывать не следует, нельзя допустить ложного шага. В те годы много говорилось о единоначалии. Ущемление собственного единоначалия Алексей Иванович Ломакин ощущал с физической болью. Ожигалов не должен был даже намеком подчеркивать свое значение — вернее, свою власть над директором. Что может подумать беспартийный и к тому же еще такой ушлый человек, как Парранский? Потом, изволь, держи его в уздечке! Таким только дай волю...

Но сомнения Ломакина рассеял не кто иной, как сам Парранский. С нескрываемым любопытством и внутренним удовольствием слушал он острый и принципиальный разговор двух «пролетариев-коммунистов». Как-никак, а в этой беседе выяснилась правильность его, Парранского, позиции и фактически восторжествовала предложенная им точка зрения.

И он решил откровенно изложить свои мысли, несколько не задумываясь над последствиями. Если раньше Парранский осмотрительно обходил этих людей, не всегда ему понятных, то сейчас, во многом разобравшись, ему не хотелось молчать. Ему хотелось стать ближе к этим

людям.

— Вы меня простите, — сказал он мягко, заметно волнуясь, отчего вздрагивали его яркие губы и на щеках появились багряные пятна, — сегодня мне был преподнесен наглядный урок. Мне... прошу еще раз извинения... иногда казалось, что партия... как организация, отдел, что ли, на заводе — излишняя и формальная роскошь. Ну, понятно, общее руководство, ЦК, международная политика, линия развития внутренней жизни... Подавление мешающих или сознательно вредящих. А завод, фабрика? Техническое, сугубо практическое предприятие, где все подчинено иным законам, где точная механика или сопромат, газовые диффузии или поведение металлов в той или иной среде не могут подчиняться партийному бюро, избранному или назначенному из нескольких технически неподготовленных индивидуумов. Я, вероятно, болтаю глупости по причине моего политического невежества. Но сегодня, повторяю, вы преподали мне наглядный урок. Мое мнение, Алексей Иванович, было трансформировано в строго определенном направлении и там, где я мог бы оказаться бессильным, неожиданно победило.

— Ну, это же разумно! — не мог не воскликнуть Ломакин и откинулся на спинку кресла.

— Мало ли что, — Парранский мягко улыбнулся. — Не все разумное пробивается сквозь панцирь жесткой почвы.

— Не будет жесткой почвы, — Ломакин расхохотался, — не будет. Придет Ожигалов с мотыгой и разрыхлит. Берите и вы мотыгу, Парранский, а? Хотите, я вам поручительство дам?

Парранский тихо сказал:

— Нет. Пока... Я люблю розы, но для колючек еще не созрел. — Парранский поднялся. — Я разрешаю себе поблагодарить вас и уйти. Итак, координатор я даю на разработку?

— Конечно. — Ломакин встал. — Подводите научную базу, ломайте темные инстинкты...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На следующее утро в одно из помещений конторы, отличавшейся от остальных комнат управления небольшим окошком, прорезанным в малогабаритной двери, начали сходиться мастера «особого списка». Это были опытные производственники, отнесенные к разряду ИТР, то есть инженерно-технических работников, и получавшие наравне с рабочими красную карточку первой группы и дополнительный паек.

Практики ИТР были костяком, позвоночным столбом производства. На них твердо надеялся Ломакин в период инженерного междуцарствия, когда новая промышленно-техническая интеллигенция еще не сложилась (во всяком случае, на такой небольшой фабрике), а старая находилась в состоянии неустойчивого равновесия.

Мастера заведовали цехами, они решали самые больные вопросы труда и зарплаты, они же являлись источником первоначального накопления. И, самое основное, они начинали осваивать новые приборы и доводили их до серии.

Если поглядеть на условия, сложившиеся на фабрике, то нужно сказать: они и в то время резко отличались от условий на других промышленных предприятиях. Фабрика вольно или невольно сосредоточила в своих старых и вновь отстроенных корпусах производство и освоение приборов. Если приборы, необходимые для авиации, артиллерии и военно-морских кораблей, привозились сюда фельдсвязистами ОГПУ под усиленной охраной, а опытные образцы делались вне фабрики, то приборы мирного потребления возникали и рождались здесь, на самой фабрике.

Говоря откровенно, с освоения приборов мирного предназначения и началось развитие «темных инстинктов» и некоторое пренебрежение к высокоорганизованной инженерно-конструкторской мысли. На фабрику «спускался» прибор, купленный где-либо за рубежом в «музейном количестве» экземпляров. Назовем этот прибор условным и отнюдь не оригинальным шифром «икс». В таком приборе ничего не было сверхчудесного или секретного. Его продавали с любого прилавка, и можно было заказать его в неограниченном количестве той или иной фирме. Но, чтобы купить прибор, нужны были деньги. Все те же золотые слитки, лежавшие на стеллажах подвалов государственных хранилищ.

Иностранцы капиталисты неохотно шли на кредиты, а если и давали их, то на невероятно раздутых процентах, с ущемлением достоинства и национального престижа молодой социалистической республики.

Длинные списки заграничных закупок вызывали законное чувство тревоги. Зависимость в наиболее точном, «мозговом» индустриальном продукте могла обратиться в катастрофу. Со всех сторон капиталистического окружения побрякивали оружием, угрожали, ущемляли, кичились. Конечно, положение русской земли было лучше, нежели при Александре Невском, и, разговаривая с иностранцами, не приходилось добираться до их шатров, перепрыгивая через костры. Но унижения, модернизированные веком, привычками капиталистов, были.

Прибор «икс» поступал на фабрику не по плану. Все зависело от удачи, от ловкости посланных за кордон специалистов. Поэтому задания на освоение прибора «икс» или «игрек» могли прийти в любое время года. Теперь мы можем сделать вывод: фабрика превращалась в опытный завод, с той разницей, что на ней приходилось не только осваивать образец, но и производить его в серии. Скажем прямо, задача нелегкая. И поэтому руководство треста, а впоследствии объединения хотя и журило за высокую себестоимость, но одновременно отстаивало перед органами контроля специфику производства и могущие возникнуть перерасходы. К тому же заказчики были щедры, за ценой не стояли, требовали только одного — железно выдержать сроки поставок. Если требовались станки — их давали, если нужно было завезти материалы — их завозили.

Итак, мастера собрались в комнате и, рассевшись вдоль стен, сложив руки на коленях и пока не закуривая, нетерпеливо ждали сигнала от сидевшего за столом молодого человека в гимнастерке с голубыми петлицами авиации.

Молодой человек, природно-смуглый и чрезмерно исхудавший от тайного недоедания и забот, связанных с освоением новой техники в кустарных условиях, почему-то не начинал привычного обряда «раздетализации». Прибор стоял на хорошо отполированном планшете в центре стола, покрытого зеленым сукном. Он был прикрыт чехлом из желтоватого, мягкого дерматина, похожего на замшу.

Мастера видели и осязали этот прибор на совещании у директора. Они уже примерно прикинули в уме все возможности его освоения. Им было безразлично, какие математические задачи помогал решать прибор, но они точно предвидели выгоды, которые можно было получить от работы над ним. Вот это и была та стихия, о которой говорили Гаслов и Ожигалов в столовке, та самая мутная вода, где товарищи типа Фомина могли наловить

крупной рыбки. На фабрике так и говорили: «Это та рыба».

Неожиданно для всех начальник научно-технического отдела, ведающий в порядке наблюдения и опытными цехами, начал совещание сакраментальными словами, бытующими в отсталом мышлении:

— Товарищи соратники! — В самом обращении сразу же послышалась недобрая ирония. — К сожалению, этот прибор не «рыба»...

— «Не рыба»? — неосторожно на полном серьезе переспросил Фомин.

— Не «рыба», — повторил начальник отдела. Он еще полностью не представлял себе эффекта нового метода, предложенного Парранским. — Вы можете осмотреть прибор, пощупать его, приласкать, а раздетализировать не будем.

И он в доступной форме изложил причины. Слова его были встречены неодобрительным молчанием.

Только Гаслов, продув усы и поднявшись для того, чтобы «приласкать» прибор, освобожденный от желтого чехла, сказал, обращаясь к Фомину:

— Постепенно надо кончать с анархией, Митя.

— Ты невыносимо серый мужчина, Гаслов, — ответил ему Фомин, не приняв шутку. — Теперь этот чудесный аппарат заберут крохоборы, черепахи, или доверят его девчонкам из конструкторского бюро. Вот тогда-то и налюбуйешься на подлинную анархию.

И Фомин ушел, как говорится, хлопнув дверью. Тогда было в моде это выражение.

В нехороший момент попал в механический цех Николай Бурлаков. Вначале ему показалось обидным и непонятым, почему Фомин с такой мрачностью встретил его у конторки, еле кивнув на его радушное приветствие, а до этого продержал почти час у захватанных дверей с капканной пружинной.

Неужели это тот самый человек, который сидел рядом с Николаем в «Веровочке», пил водку и ел шашлыки? Не зная причины, породившей такую оскорбительную встречу, Николай искал эту причину в самом себе (не наболтал ли чего лишнего?), и в отношениях с Квасовым, и даже во вчерашнем откровенном разговоре с Саулом.

Пока Фомин пыжился и сопел, сидевшая за соседним столом активно перезревшая дама с выкрашенными, вздыбленными волосами успела выпить стакан простокваши, медленно и осторожно изжевать крохотную булочку с румяной коркой. Это была плановик-экономист Муфтина. Растягивая рот,

она стала красить губы.

— Вызовите сюда Старовойта! — не поднимая головы, не обернувшись, приказал Фомин.

Муфтина с презрением оглядела его спину, сняла трубку и куда-то позвонила. После этого занялась арифмометром, не скрывая своего отвращения к исполняемой ею работе.

Старовойт оказался неразговорчивым мастеровым, с приветливыми глазами, с туберкулезной внешностью и просаленной кепкой на голове.

— Новенького возьми на «Майдебург», — сказал Фомин.

— Сразу на станок? — Старовойт оглядел незнакомого парня с головы до ног и задержал взгляд на его сапогах, излучавших яркий блеск.

— Вот в таком аккурате парень будет держать и «Майдебург», — сказал Фомин, понявший смысл взгляда старого мастерового. — А то этот, как его, Пантюхин запустил станок. Сам неряха и станок держит в черном теле. Скажи ему, если будет так продолжаться, переведу на стружку. Ну, идите, чего задумались? — последнюю фразу Фомин произнес поощрительным тоном.

Канторка подрагивала. Все пронзительные шумы цеха сотрясали ее. Здесь разговаривали громко, и со стороны могло показаться, что люди бранятся. В канторку заходили мастера, наладчики, технологи, рабочие. Скрипела пружина, хлопала дверь. Муфтина терла виски мигреневым карандашиком и проверяла, есть ли вата в ушах.

В самом же цехе шум складывался в определенный ритм и меньше действовал на нервную систему. К тому же брала силу всепобеждающая привычка.

Станок «Майдебург», как можно было догадаться, не являлся чудом техники и, вероятно, служил как бы трамплином для прыжка к более совершенному, а затем уже и к прецизионному оборудованию. На «Майдебурге» обрабатывали крупногабаритные детали, где допуски и припуски не имели первостепенного значения. Старовойту не пришлось разъяснять Николаю принципы действия станка. Бурлаков работал токарем, да иначе и кому бы пришла в голову мысль сразу же поставить его к станку? Некоторые особенности неизвестной модели были разъяснены, выдан чертеж обрабатываемой детали, и помощник мастера с удовольствием стал смотреть, как сильные, молодые руки взялись за дело.

— Только не спеши. — Старовойт проверил зажимы. — Нужно действовать синхронно.

Произнеся последнее слово с полным самоуважением, Старовойт больше не надоедал советами. Он постоял, проверил на палец отпущенную

вентилем эмульсию и пошел к своему станку ДИП — мечте того времени!

Бурлаков остался один на один с «Магдебургом». Все его существо сосредоточилось на нем. Ничто другое не отвлекало его. Видел ли он людей? Нет. Он не видел никого. Мелькали в глазах какие-то силуэты, расплывчатые лица; даже неумолчный гул цеха не воспринимался им. Резец нужно было перезакрепить. Старовойт наблюдал за Николаем издали. Глаза Старовойта проследили за тем, как Николай справляется с резцом, как включает рубильник и развивает обороты. Только сейчас Николай обнаружил — ему дали деталь-брачок. Понятно. Если заперет, не жалко. Пока дали готовый набор для новичков. Шкафчик и тот был заперт, на нем висел замок.

Но, как бы то ни было, экзамен надо выдержать, не сплеховать на первых порах. Пусть отвыкли руки, нет ловкости, уверенности... Зато есть воля, непреодолимое желание, терпение и страсть. Если бы рядом презрительно скривил рот Арапчи... Нет, не порадуется Арапчи!.. А если по правде, то спасибо тебе, Арапчи, за науку, за твою жесткость, за способность всегда быть начеку, не распускаться!

Неожиданно появился Квасов, по-прежнему веселый, с чертовски игривыми глазами.

— Коля, поздравляю! Только разреши мне смахнуть трудовой пот соревнования.

— Спасибо, Жора. — Николай продолжал работать, чувствуя пытливый взор Старовойта.

Кроме Старовойта, которому его поручили, никто не обратил внимания на новичка. Гудели моторы, струилась стружка, слышались дерзкие вскрики карборундов. В отдалении, в заточном углу, иногда кометно вспыхивали пышные бенгальские хвосты углеродистой стали.

— Слушай! — прокричал над ухом Жора. — Возможно, приближаются события. Небольшой штормик в медном тазике. Чернильные душонки решились перейти в наступление на железную рать.

— Не понимаю! Говори обыкновенными словами! — ответно прокричал Бурлаков и, выключив мотор, снял и удовлетворенно оглядел первую, вчерне обработанную им по одной плоскости деталь, обозначенную в чертеже под № 285/3. — Скажи, куда она идет, Жора?

— Ну, это, как ты сам понимаешь, не монтируется в центральную нервную систему. Деталь корпуса самого заурядного прибора по испытанию металлов. Пройденный этап человечества... Хотя на нем товарищ Пантюхин имеет свой кусочек сыра. Если хочешь знать, это тоже «рыба». Когда освоишь, не спеши и пуце огня бойся девчонок из тэ-эн-бэ...

Самые натуральные враги нашего брата... Видишь, плывет исчадие ада...

Из глубины цеха, вдоль живой линии станков и склонявшихся и разгибавшихся токарей и фрезеровщиков шла девушка в черном халате, с фанеркой под мышкой. Она бросалась в глаза только своим халатом и этой фанеркой, которую нормировщицы обычно носят с собой для удобства записей. Можно бы и не разглядывать это «исчадие ада» и целиком отдаться закреплению второй детали на «Майдебурге». Нормировщица приближалась. Жора принял дурацкую позу, которую он сам называл «позой короля подавальщиц». Известный способ, рассчитанный на привлечение внимания маловзыскательных девиц, вечерних посетительниц рощи, единственного места массовых гуляний молодежи в их гарнизонном городке.

— Ее зовут Наташа, — сказал Жора и, ослабившись, изогнулся в поклоне, касаясь рукой черного масляного пола.

— Здравствуйте, товарищ Квасов, — ответила она, кивнула Николаю и с профессиональным любопытством взглянула на станок.

— Новичок?

— Да, — сдержанно ответил Бурлаков.

— Наташа, умоляю вас, если не хотите потерять расположение коренного пролетариата, обратите внимание на моего друга, но только немножко позднее. Пусть сначала экипируется, нарастит мяса на своем скелете, устроит себе сносную жизнь...

— Хорошо, — просто сказала Наташа и пошла дальше, вдоль цеха.

— Обрати внимание, Колька, какая у нее фигурка. Умелый мастер обрабатывал каждую деталь, а? Погляди, какая ножка, какие полненькие икры. А завитушки на шейке?.. Подуть бы на них, и откроется нежнейшая смугленькая кожа... Не вытерпел бы — загрыз такую!..

— Ты же знаешь меня, — остановил его Бурлаков, невольно краснея и почему-то обижаясь за незнакомую ему девушку. — Я терпеть не могу такие разговоры. Хожу на двух ногах, а не на четвереньках.

— Ишь ты, сознательный! — Квасов шутливо подсвистнул и ушел походкой баловня судьбы.

Первый день на производстве открыл счет таким же малопримечательным дням. Их скрашивал только Жора Квасов, занимательный и прочный друг.

Что бы ни говорили, а поведение Квасова могло служить примером. Дружба его была щедра и не навязчива. Помогая, он ничего не требовал взамен. Возможно, ему доставляло удовольствие быть таким или сказывались природные свойства его характера. После армии, в обстановке

гражданского бытия, когда многое частенько меняется к худшему, Квасов оставался прежним.

Прошло несколько дней. Кешка Мозговой не скрыл удивления, заметив на Бурлакове вместо шинели теплый реглан из заграничного двустороннего драпа.

— Минутку, джентльмен. Если я не ошибаюсь... — Он посмотрел изнанку и развел руками. — Жорка продал?

— Нет, не продал, дал поносить.

— Невероятный размах! В старое время нашего Жоржа боготворили бы нищие и калеки...

— Нет, я не выпрашивал у него милостыни...

Кешка мгновенно замял неприятный разговор и рассыпался в похвалах Квасову и новому владельцу драпового реглана.

Кавалерийская шинель пока висела за ненадобностью рядом с летним макинтошем Ожигалова. Иногда Ожигалов покуривал в коридоре, ссутулившись на табурете, и, наморщив лоб, вслушивался в ровный голос Бурлакова. Сам Ожигалов наталкивал его на рассказы об армии, о выучке лошадей и требовал подробностей.

— Чем же, собственно говоря, друг лазоревый, провинился перед вами товарищ Арапчи? Наездник он хороший, службист отличный, не спал, не ел, только и думал о вас, милые мои браточки. А вы его зачислили в разряд недругов и даже замыслили устроить темную.

— Он все делал правильно, — разъяснял Николай, не совсем понимая существа подкопа, — только одно решал неверно: оскорблял человеческое достоинство.

— Значит, если бы он был только требовательным, вы бы его...

— Уважали.

— Ах, даже? — Ожигалов выпрямлялся и потягивался до хруста в костях. — Уважали бы? Но не любили?

— Любовь к командиру — это вещь, придуманная неизвестно кем, товарищ Ожигалов. Командиру надо верить, как самому себе, уважать и стараться перенять у него все лучшее и нужное...

Ожигалов с удивлением приподнимал брови и спрашивал:

— Почему же мы любили своих командиров?

— На войне?

— Да.

— На войне командир ежедневно доказывает свои качества на деле, а не на словах. Возможно, тогда и возникает чувство любви.

Ожигалов вдумчиво относился к таким беседам, и, казалось,

неспроста. И не для того их заводил, чтобы прощупать взгляды собеседника, а для самого себя. Как он однажды выразился откровенно, ему больше приходилось подчиняться, а не командовать, работать, а не руководить. Ныне трудноато представлять партию на сложном, неустановившемся предприятии.

Пока он не говорил, в чем состоят эти трудности. Возможно, не было повода для такого объяснения. Сказывалась и разность положений и возраста — Ожигалов лет на десять был старше.

В небольшом мирке, огражденном стенами их вынужденного общежития, только два человека могли вызвать интерес пытливого Бурлакова: Ожигалов и, конечно, Саул.

Саул изучал жизнь, не довольствовался готовыми выводами, а производил труднейшую самостоятельную работу, разбирая отдельные факты, критически их осваивая и находя удовлетворение в этой беспокойной, аналитической работе сознания. Ленинская публичная библиотека помогала ему находить ответы на многие вопросы, поставленные жизнью. В этом поиске самостоятельных решений было и его счастье и несчастье.

Отец Саула, сапожник, был растерзан во время погрома на Украине, и его истошные крики: «Я же вам сапоги шил! Что вы делаете?!» — не помогли. «Черная сотня» растоптала его ногами. Детей спасла семья украинского интеллигента, врача, мечтавшего о самостоятельности. Этого врача зарубил какой-то дюжий разъяренный гайдамак.

Все страшно перевернулось в жизни. Саул хотел вернуть устойчивое равновесие миру и ударился в изучение философии.

Философия его занимала лишь как способ найти истину и помочь себе в минуты разочарований. Атомы и пустое пространство — вот как виделся ему мир. Не оставалось в нем места для бога или какой бы то ни было сверхъестественной силы. Но корешки наивного материализма не могли удовлетворить современного юношу, мятущегося, захваченного революцией. В Кембридже ученые штурмовали ядро атома, чтобы расколоть его. Абсолютной пустоты не существовало. Продкарточка порой заслоняла сверкающие вершины грядущего, и земной волосатый человек Кучеренко мечтал об устойчивом земном благополучии.

А Саул, комсомольский вожак передового предприятия социализма, сам того не понимая, загонял себя в тупик.

Дальновидный Ожигалов понимал всю опасность умонастроений Саула и дружески предупреждал его:

— Зачем тебе философская гниль? Демокрит, Декарт, Эпикур и прочая

мудрость? Зачем ты рвешь зубами свое время и, вместо того чтобы познавать вещи не только в себе, а и снаружи, бренчишь безыдейными погремушками?

— Декарт — погремушка? — неистово наседал Саул на своего собеседника, который, казалось, сложен из плит, скрепленных на стальной арматуре.

— Декарт не соизволил пробиться в программу втуза, друг мой лазоревый. Декарт — буржуазная роскошь! А зачем тебе, пролетарию, буржуазная роскошь?

— Нет, это гигиена мозга!

— Ты погрузись лучше во Фриче...

— Не могу... Он компилятор!

— Фриче — философ, ученый, марксист.

— Нет, нет и нет! — вопил Саул. — Он винегрет! Буржуазия сильна тем, что она учит свою молодежь по первоисточникам. А нам подают суррогаты непроверенных мыслей.

Ничего подобного Бурлаков не мог бы услышать в армии, прослужи там хоть сто лет. И дело не в философии. Покопайся в библиотеке — и найдешь. Средства на литературу отпускали. Нельзя было представить себе вот таких споров. Просто они ни к чему. Никому не пришло бы в голову копаться хоть и в богатых, но бесполезных, ненужных породах. В армии не хватало времени для упражнений праздного ума, как не хватало его, к примеру, у того же Кучеренко, буквально валившегося с ног после тяжелой сверхурочной работы по сборке приборов. Саул тоже работал на сборке, но его часто отвлекали в райком, на собрания, на подготовку докладов (на что он был мастак). У него оставалось мало времени, которым он мог распорядиться как хотел.

Эти споры не проходили для Николая даром. Из них можно было кое-что почерпнуть.

— Ты имей дальний прицел, Коля, — советовал Саул. — В этом году я пойду в вуз, на вечернее отделение, не хочу бросать фабрику. В будущем постарайся учиться и ты. Хочешь, я помогу? Революция погибнет или постепенно растворится, если не сумеет быстро создать собственные технически образованные кадры, не уступающие буржуазным. Коммунистов-руководителей должны заменить инженеры-коммунисты. Без науки двигаться вперед нельзя, можно только топтаться на месте.

Пролетарское самосознание — это не логарифмическая линейка и не та фраза, которой, закрыв глаза, можно выточить любую деталь. Я против чванства, против анкетного изучения индивидуальностей, против

«револьверта» на поясе черной шинели...

Саул критически воспринимал действительность и часто спорил там, где другие молчали. Квасов решительно не понимал своего горячего друга и иногда называл его «чокнутым». Кучеренко, презиравший всякие новшества, чувствовал себя превосходно. Его мечта играть в столичной футбольной команде была близка к осуществлению. Кожаный мяч Кучеренко ценил выше философии. Он тренировался на одном из стадионов и таил надежду перейти на зеленое поле «Динамо».

Ожигалов подчинял себя коллективно выработанной правде, с неумолимостью добивался понимания этой правды, единственно правильной, разумной, не подвергая ни себя, ни других опасным увлечениям.

Его не устраивал Декарт.

— Если мы начнем припадать ко всем источникам, — сурово говорил Ожигалов, — нам никогда не унять жажду. Рубаха будет мокрая, а гортань останется сухой. Мы обязаны указать массам один чистый источник. Наша страна — боевой лагерь, народ — армия. Нам нужно одолеть ущелья поглубже Сен-Готарда, перейти горы повыше Альп. Тут даже Суворов не поможет... Армия подчинена уставам и боевым приказам. Если армия начнет обсуждать приказы, митинговать — это будет не армия, а скопище болтунов. Что может сделать такое войско? Не возрадуется ли противник?

Однажды Ожигалов вручил Бурлакову небольшую затрепанную книжонку в мягком переплете. Вручил с оглядкой, стеснительно. Взглянув на заглавный лист, Бурлаков прочитал фамилию автора. «Твоя книга, Ваня?» — «Моя». Книга называлась «На фронт и на фронте» и повествовала о гражданской войне. Иван Ожигалов — балтийский комендор, бывший рабочий-металлист рассказывал в ней о своих друзьях. Писал по-земному просто, ясно и четко. Со страниц книги будто сочилась алая кровь революционных бойцов. В самых жутких положениях люди не теряли духа, побеждали. Никто из них не размышлял, не примеривался, не копался в самом себе. Все были веселы и мужественны. В конце книги приведен такой эпизод: два друга напоследок разломали последний целый сухарь, и вдруг им показалось, что по всей планете рухнули троны, и треск братски поделенного сухаря разбудил мертвых. «Это мне редактор приписал, символист, — покаялся Ожигалов, — иначе не пропустили бы книжку. Мы тогда выпили с другом под этот самый сухарь... Самогону. Редактор сказал: «Ни-ни, боремся с пьянством, а самогонщиков — в каталажку».

Вскоре после октябрьского праздника фабрику переименовали в

государственный завод, присвоили номер и сняли с вывески над воротами фамилию одного из руководителей промышленности — без широкого объяснения причин. Было легко догадаться: шефа сместили. О нем никто не тужил. Шефа на фабрике никогда не видали, портрет его ничего не говорил ни уму, ни сердцу: сытый, бровастый мужчина с небольшими усиками, в кителе с отложным воротником и значком члена ВЦИК.

На вывеске навесили бронзированные буквы и уничтожили следы литер, оставшихся от дореволюционного хозяина. Фантастических птиц покрыли какой-то стойкой позолотой, и гамаюны потеряли свою зловещую выразительность.

Быстро поднимался корпус, занявший весь пустырь и подмявший десяток домишек и куценьких садочков. Строили кирпичные склады и подсобки. Все чаще через кованые ворота въезжали военные грузовики. В столовой появились приемщики с авиационными и артиллерийскими петлицами. Спеццехам отвели еще один этаж и допускали туда лишь тех, у кого на пропуске стояла буква «А». И все же это была не самая главная тайна предприятия.

По мере того как Бурлаков овладевал профессией токаря, ему раскрывались более сложные тайны психологии рабочих. Со стороны рабочий коллектив казался монолитным. Но сознание рабочего не технологическая карта, где все размечено, учтено, выявлено.

Неписанные законы морали иногда диктовались прежними представлениями о продавце и покупателе труда. Буржуя давно выволокли в переулочек и спустили под откос, литеры с вывесок сняли. Рабочий стал хозяином станков, вагранок и верстаков. Но библейская манна не падала с неба, за манную запеканку с киселем из клюквы вырезали талон. Угар прошел, люди оглянулись и приспособились к изменившейся обстановке. Политические свободы воспринимались легко, они были как воздух, к ним привыкли. Раньше во всем худом был виноват хозяин, которого свалили, теперь, если что плохо, отвечай сам. Пришло время, когда судьбы вершились собственными руками. Лишения переносились труднее, нежели в годы революции. Строить труднее, чем таскать винтовку, скакать на коне, обжигать пламенными речами. Будущее... О нем кричали плакаты, во имя его погибали люди, отец шел на сына, брат — на брата. Это будущее стало настоящим. Внутри очерченного историей круга замкнулась первая рабоче-крестьянская держава. Не хватало хлеба и мяса. Село вползло в город. Крестьянские хаты заколачивали накрест. Если город не давал товаров, бурлили темные страсти. Нелегко давался новый век. В муках рожденный, он закалялся на ураганном ветру. Не сразу исчезали ржавые пятна

прошлого...

Легко разрушить веру, труднее побороть разочарования. Терпению человека тоже приходит предел.

«Не на кого пенять, сам хозяин», — слышался угрюмый голос. «А я не собираюсь ни на кого пенять, по горло сыт вашими беседами, я требовать хочу: дай — и крышка!» — распалась чья-то рыба душа. «С кого требуешь, ты, чудо-юдо?» — «Я требую с тех, кто с галстуком или в очках». — «Так он, взглядишь, мила-ай, он — это ж ты сам. Не понимаешь?» — «Понимаю. А меня понимают? Не хватило пять ден до полочки. И карточки съели, и в лавку не с чем идти...»

На заводе организовано действовали партия, комсомол, профсоюз. Созывали собрания, спорили на производственных летучках, поднимались ударники и бригады. И все же в глубине или в наружных тканях большого живого организма гнездились пороки, которые изгнать было трудней, чем буржуя.

Николаю хотелось работать не для чьей-то похвалы. В цехе Фомин поощрял только рублем и умело держал в этой узде и плохих и хороших. Как ни велико значение денег, но гораздо важней было почувствовать свою власть над машиной. Станок постепенно подчинился ему. Его неопытные руки теперь приобрели уверенность в каждом движении. Станок стал послушен, отзывчив. Чертежи, скопированные на светло-голубоватой бумаге, Николай читал с таким же интересом, как книгу. Начерченное на бумаге ему уже удавалось превращать в материальные формы. Сырая болванка становилась красивой. Иногда Николаю казалось, что резец напевает песни под ритмичный плеск молочно-сероватой эмульсии. Тогда он сам начинал разговаривать с резцом. Если его хвалил Старовойт, ему было приятно, но главным ценителем все же оставался высокий, тумбоватый «Майдебург». Наладчики пожимали плечами: «Раньше в нем до надсады ковырялись, хворый был «Майдебург», а теперь будто на курорте побывал по бесплатной путевке».

Пантюхин работал с холодком, к станку относился без всякой любви. Частенько он насупливал брови, глядя на ретивого сменщика.

— Ты не дюже спеша, Николай, все едино к богу в рай не успеешь. А то «тяни нашего брата» подбросит к норме, и станем мы ту же самую хреновину тесать за полцены...

«Тяни нашего брата» — так называли тарифно-нормировочное бюро, ТНБ. Глухая вражда существовала между некоторой частью рабочих и тем почти призрачным многоликим существом, которое обитало в административном корпусе. Оттуда приходили люди в наркуавниках,

теребили начальство цехов, редко разговаривая с рабочими. Зато после их ухода начиналась очередная накачка бригадиров, мастеров, а те набрасывались на станочников, шуточки умолкали.

Тайный сговор (о нем никто ни полслова) возглавлял все тот же Дмитрий Фомин, гнувший «линию рабочих». Это способствовало его популярности, и никогда еще не было случая, чтобы механический цех подкачал. Фомина премировали, вывешивали его портрет на Почетную доску, ставили в пример.

— Э, Бурлаков, снизь обороты. — Фомин стоял за спиной Николая и с полнейшим равнодушием, какими-то отсутствующими глазами смотрел на резец, будто и не слышал его песенки.

— Идет хорошо, товарищ Фомин, — радостно выдохнул Бурлаков.

— Идет?

— Да! Какая прелесть эта наварка из победита!

— Ценный придумали сплав, снимем перед сталеварами шапку. А все-таки снизь обороты...

Его голос не потерял бархатных, воркующих интонаций. Фомина трудно распалить. Он дал Николаю кое-какие производственные советы, проверил крепость зажимов, изломал и понюхал виток стружки и стал продолжать обход.

Остановился возле Квасова, о чем-то поговорил с ним. В обеденный перерыв Квасов взял приятеля под руку и направился с ним в уголок, ближе к окнам, там можно было перекусить на скамейке и покурить.

— Коля, есть навет на тебя. Порешь горячку?

Жора развернул пакет, протянул Николаю бутерброд с колбасой и яйцо.

— За харч спасибо, не знаю, когда сумею тебе отплатить. А вопроса твоего не понимаю...

— Если говорить по-дружески, многого ты еще не понимаешь... Жаловались на тебя ребята.

— На меня? — Николай догадывался, куда клонит Жора, но сегодня ему не хотелось говорить на эту скользкую тему. — И почему жаловались тебе?

Жора ответил не сразу. Съел яйцо, вытер губы бумажкой, закурил папиросу.

— Видишь ли, у нас сложился такой порядок. Тебя, как новичка, мало кто знает. Понятно? Я привел тебя в цех. Пока народ приглядится к вашему сиятельству, Николай Бурлаков, проверит на том, на другом, отвечаю я...

— Какой-то странный порядок, Жора.

— Возможно. — Квасов пристально взгляделся в потускневшее лицо

друга, сказал серьезно: — Рабочий класс выработал свои правила в отношениях с хозяином. Хозяин требует, но и рабочий должен требовать. — Заметив протестующий жест Николая, Жора положил ему руку на плечо, придвинулся ближе и, выпустив в сторону клубок дыма, добавил: — Только не артачься сразу, Коля. Обдумай, прикинь. Тебе нужно заработать пока на себя, а фундамент социализма и без тебя не осядет. Мы не зовем тебя в саботажники, а просим пока прислушаться к голосу твоих товарищей.

— Пантюхин натрепался? — зло спросил Николай, мысленно перебрав все факты. — Ему должно быть стыдно. Он старше меня, мы обрабатываем с ним одну деталь. Почему он отстаёт не на полноздри, а на целую лошадь?

— Пантюхин семейный, а ты пока холостяк, Коля.

— Боится надорваться?

— А зачем ему надрываться? Ему нужно прокормить двух детей, тех, которые уже имеются, и тех, которые ещё могут вылупиться. Вчера ему пришлось купить коммерческое мясо, полкило, витамины для девчонки, баретки купил у спекулянтки...

Николай вникал в смысл того, что внушал ему Квасов. Постепенно перед ним открывалась другая сторона жизни, куда ему не приходилось заглядывать. Квасов развивал свою мысль без всякого надрыва. Оказывается, Пантюхин уже однажды «промазал», как выразился Жора, Придумав приспособление, он увеличил выработку почти втрое и сразу загреб много денег. Немедленно на него накинулись нормировщики (Квасов упомянул и Наташу). Как и положено, они отрапортовали некоему Хитрову, и Пантюхин побоговал всего две полочки. Нормы повысили, заработок упал до прежнего уровня, Пантюхин «утерся и заскучал». Квасов имел представление о производительности труда, но спешить не рекомендовал. Их уникальный завод, по мнению Жоры, обязан был держать высокие заработки. А механический цех — основа завода, ему положено идти во главе.

— Ты думаешь, мы без парусов плаваем, Коля, — закончил Квасов с полным сознанием своей правоты. — Было всякое. В прошлом году подкинули нам серию приборов типа «Шора». Есть такая фирма. Решили по-быстрому провести очередную цельнотянутую операцию. «Шоры» испытывают металл на удар. Вообще, по конструкции хреновенький прибор, а фуговали за него чистым золотом. Мы и взялись как на пожаре. Обещал нам Алексей Иванович щедро: столько, мол, отвалю, что и не унесете; пришлю кассира прямо в цех, в пакетах получите казначейские знаки. И верно, не жалел до того дня, как пошла первая партия. Взялись мы за вторую партию. С тем же запалом. Ещё бы — такая лафа! И вот — опять

кассир с ящичком. Мы выстроились, развернули конверты — и губы у нас побелели. Скостили без нашего ведома, по принципу пролетарского гуманизма. Швырялись мы, нервничали. А потом прибыли на собрание представители направляющих организаций, Ломакин речугу толкнул со слезой, призвал помочь завоеваниям, Фомина заставили расколотся, как партийного товарища. И уплыли наши заветные «Шоры», только слюнки сглотнули... На «Роквеле» мы уже были стреляные, выдержали неравный бой с честью. «Роквел», чтобы ты знал, тоже прибор по испытанию металлов. Нынче вот бортовые прицелы идут, авиация денег не жалеет. И ты на прицелах стоишь, золотое дно эти прицелы, если только энтузиасты не сорвут...

Николай подавленно молчал. Парранскому набил оскомину «разафишированный энтузиазм», об этом же еще грубей и циничней говорит Квасов. Неужели вагонный спутник Николая, оказавшийся у руля завода, прав и его сомнения опирались не на песок? Неужели и в самом деле мало чего стоит трибуна, а более реальны полушепоты на производстве? И так рассуждают не старики, начиненные по макушку пережитками, а молодые рабочие!

Но, если пойти за Квасовым, куда заведет такой полпред? Деньги в кармане забренчат, а совесть? Подкапываться тихой сапой под собственную совесть, восстать против ударных бригад, против планов? От такой чертовщины голова идет кругом.

И если поддаться Квасову, то, по логике, надо объявить своим врагом даже нормировщицу Наташу. Это уж совсем глупо. Темнить, скрывать перед ней качество своей работы, прикидываться дурачком?

— Извини меня, Жора, простофилю. — Николай не хотел распалиться. — Выслушал я тебя, прикинул все козыри по мастям, и не по душе мне твоя, как бы ее назвать, программа.

Квасов швырнул окурок в бочку с водой, проследил за тем, как он погас.

— Не нравится? Претит совести активного комсомольца?

— И это, конечно, не снимается... В твоей программе есть что-то противоестественное для человека. Для достоинства человека.

— Ишь ты, футы-нуты — ножки гнуты!.. Развивай, развенчивай! Ну, ну...

Николай почувствовал насмешку, но решил не терять равновесия и объяснить без запальчивости.

— Помнишь, как посылали нас в армию на преодоление препятствий? Все в себе мобилизовал: волю, тело, опыт, честолюбие, если хочешь.

Кобылица и та собралась в комок. И, представь, ты обманул бы себя, ее, товарищей, командиров, расслабил бы шенкеля, отпустил повод, отвернул в сторону... Объясняю примитивно, но пойми душевное состояние, учти радость, она тоже чего-то стоит. На нее расценки нет, ее пока не хронометрируют, а без нее — тупик...

Квасов с интересом всматривался в лицо Николая, в его глаза. Пожалуй, он был красив, хотя Квасов презирал мужскую красоту. Но что-то дрогнуло в сердце Жоры, что-то смягчилось на миг. Всего на один миг. Луч мелькнул и погас. Надвинулось другое, темное. Говорит Николай складно, чуть слезу не вышиб. Спел отлично насчет радости. И где только набрался? А разберись — содрал с плакатов.

— Ты, кажется, кончил, Колька? Разреши мне в порядке дружеских прений. — Квасов говорил твердо, не повышая голоса, но отчеканивая каждое слово: — В армии, говоришь? Там все готовое, Коля. Санаторий по профсоюзной путевке. Конкур-иппик, рубка лозы, разруб глиняной головы — развлечение! А кабы работа... За прыжок сегодня пятерик, а завтра — рубель! Чем выше прыгнешь, тем ставка ниже.

— А радость? — выдохнул Николай и мучительно улыбнулся.

— Радость? Признаю. Только в карман ее не положишь. Воздух. Атмосфера. На радость шашлык не закажешь...

— Не хотелось бы мне показаться смешным в твоих глазах, Жора. Мы вернемся к этому вопросу когда-нибудь...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Если бы не зубная щетка, Николай не встретил бы сегодня Наташу. Они столкнулись в дверях галантерейной лавчонки, кивнули друг другу как малознакомые люди и разошлись. В лавчонке пахло тройным одеколоном и почему-то сыромятиной. Какая-то старуха в шали с бахромой кричала: «Я прошу фитильки! Фитильки для лампы. Отвечайте громче, я глухая, не слышу». Старый продавец, убеленный сединами, еще помнящий времена купеческого доброго Арбата, перегнулся через пустую стойку к старухе: «Мадам, я тоже глухой, поэтому мы можем говорить откровенно. Нет фитильков, мадам, и не будет!»

Толпа оттеснила Бурлакова от входных дверей, людской поток вынес его на Арбат. С присвистом мела сухая поземка, доставая мохнатыми хвостами до окон вторых этажей, где на высоте, страхующей от мелкого вора, висели на форточках окостеневшие куски мяса и тощие, синие куры.

Залюбовавшись на один из таких естественных холодильников и мысленно изжарив на чугунной сковородке ломоть двухвершкового сала, Николай не заметил, как интересовавшая его девушка вышла из галантерейной лавчонки и быстро пошла, подгоняемая попутным ветром, вниз по кривому, ущелистому Арбату. На ней было демисезонное коверкотовое пальтецо с притороченным к зиме воротником из дешевого рыжего меха.

Зажав в руке выштампованную из древесной щепы зубную щетку, Николай направился вслед за девушкой, стараясь не слишком торопиться, чтобы не перегнать ее.

В угловом здании, выстроенном в стиле западноевропейского модерна, оформлялся магазин для иностранцев и тех советских граждан, которые сумели сохранить в урагане революции золото, драгоценные камни и валюту иных государств.

Можно заявить уверенно: у нормировщицы энского завода, страдальчески дувшей на посиневшие пальцы, за душой не было ни бриллиантов, ни золота. Тем не менее и она в немом восторге взирала на изысканные вещи в просторной витрине. Их живописно раскладывали анемичные девицы с тонкими ногами и молодые люди с восковыми лицами и размагниченными движениями рук. Казалось, за витринным стеклом, прихваченным морозными узорами, двигаются манекены. Почему у них не

сверкают глаза, как у нашей девушки? Почему они бесстрастно прикасаются к этим небывалым тканям, кофточкам, юбкам, к этому нежному белью?

Зажав в пальцах деревянную зубную щетку, Бурлаков с глухим раздражением наблюдал за возней в витрине. Злоба накопилась в нем не против витрины или призванных на ее алтарь девиц, а против самого себя, ничтожного, нищего человека. Может ли он воспользоваться этим? Нет, не может ни сейчас, ни завтра, ни через годы. Пейзаж будущего уныл. Чтобы воткнуть хотя бы веточку в пустынном поле, нужно напряжение сил. Каждая самая скромная вещь будет добываться резцом. Многоцветная стружка будет виться из-под острой кромки, и только в стружке он сможет увидеть радугу и полюбоваться ею.

— Опять все буржуйам, — сказал человек в бараньей шапке, с белыми от инея усами.

— Иностранным... — поправили его.

— У них у самих такого товара, как навоза. А погляди на мои валешки. Кабы не телефонный провод, расползлись бы, как вши. Приварил проводом...

— Да, великое дело техника! — Мужчина с палкой, с недельной щетиной на впалых щеках невесело улыбнулся одними губами.

— Смеешься? Сам горя не хлебнул.

— Не хлебнул? — Мужчина постучал палкой, и деревянным звоном отозвалась его нога. — Слышишь? Ясенева...

— Деникин аль Врангель поставил на яшень?

— Матросы.

— Матросы? Белым служил?

— Кронштадт. Шел на форты по балтийскому льду. Прячется негде. Шуганула «Красная горка», вот и нет одного колеса.

По-прежнему метель кружила сухой, колкий снег. Вспыхивали синие звездочки на трамвайных мачтах, и, намертво окоченевшие, катились вагоны.

Наташа, перейдя на другую сторону улицы, заметила вблизи себя Николая.

— Здравствуйте. — Она смело протянула ему руку. — Вы случайно тут или преследуете меня?

— Здравствуйте, — повторил он и в том же шутовском тоне добавил: — Конечно, преследую...

— И что же дальше?

— Хочу похитить, завернуть в бурку, увезти в горы.

— Воробьевы? — Она засмеялась и уже не пыталась освободить руку.
— У вас такая теплая рука. Без перчаток?

— Я согреваюсь вот этим. — Николай торжественно извлек из кармана зубную щетку. — Она деревянная, теплая...

— Вот как! А я не догадалась. Я ужасная мерзлячка. Ищу теплые ботики. Но где их найдешь!

— В Торгсине.

— Правильно. — Наташа непритворно вздохнула. — Я заметила вас. Вы тоже только любовались или...

— Нет. — Он расхрабрился. Ему захотелось блеснуть перед ней. — Я выбирал лучшие вещи, чтобы бросить их к вашим ногам.

— Зачем же бросать? — Когда она смеялась, глаза ее суживались, но это не портило ее лица. — Мне нужны теплые ботики. И только...

— И только? — с сожалением переспросил он, будто и в самом деле располагал всеми богатствами мира.

— Если ничего не скрывать... — теперь Наташа мечтательно сложила на груди руки, — мне бы хотелось блузку. Вы не заметили блузки в витрине?

— По правде сказать, нет. Зато я видел меха. Вон, оказывается, какие водятся на свете звери! Раньше из мехов я знал только овчину. У калмыков видел лису на их шапках.

— У калмыков? — спросила Наташа так удивленно, будто речь шла о жителях Гавайских островов.

— Я служил неподалеку от калмыцких степей. Туда мы ходили полком. Вначале песчано-бугристые степи, а потом плоскость, бывшее дно моря.

— Там близко море?

— Каспийское...

Отвечая на его недоуменный взгляд, она сказала:

— География для меня почему-то всегда была самой трудной наукой. И меня будто наказали за это. Представьте себе, кроме Москвы, я нигде еще не была.

— Хорошо, что вы догадались добавить слово «еще».

— Я не хочу, чтобы впереди все было безнадежно.

— Разве вам не нравится Москва?

— Я родилась в Москве. Люблю Москву.

— Многие мечтают попасть сюда. Только... «Москва слезам не верит».

— Вы убедились в этом?

— Как раз у меня-то все сложилось более или менее... Не пришлось

проверять пословицу.

Из-за скопления трамваев они могли не торопиться. Николаю хотелось, чтобы повреждение исправляли как можно дольше.

Можно было поговорить о Москве, о низменном левобережье, о селе Филя, где сохранилась историческая русская изба.

Пригодились лекции начштадива, бывшего офицера Генерального штаба; на него, героя гражданской войны, участника битвы за Украину и Крым, награжденного боевым орденом и шашкой с крошечным орденом Красного Знамени на головке эфеса, курсанты смотрели замороженными глазами.

Вот и можно благодаря начштадиву щегольнуть Мюратом, вступавшим во главе конного авангарда в Москву, и фельдмаршалом Кутузовым, «уносившим не только знамена, овеванные пороховым дымом Бородина, но и суровую веру в близкое торжество непокоренной России».

— Мюрат был весел, а Наполеон мрачен...

У Наташи был свой запас общеизвестных сведений: о Поклонной горе, о ключах от города, которых Наполеон так и не дождался.

Смеясь, Наташа сказала:

— Еще бы Наполеону веселиться!

Выслушав, Николай похвастался неизвестными Наташе подробностями о том, как Наполеон засватал молоденькую австрийскую принцессу, как ее везли в Париж, как ловкий Бертье сумел переправить во дворец Наполеона игрушки Марии Луизы, чтобы девушка легче перенесла разлуку с родными и детством.

— Я не знала об этом, — сказала Наташа, переминаясь на озябших ногах. — Мне думалось, у императоров все гораздо проще...

— Вы помните, как накануне Бородина Наполеону привезли портрет его сына?

— Не помню. Я была тогда маленькая, — отшутилась Наташа.

— Читали, вероятно... — Николай не смутился. — Мальчик на портрете пронзает земной шар палочкой для игры в бильбоке. Мне кажется, портрет привезли тоже по распоряжению начальника главного штаба Бертье. Недаром, въезжая в Москву и почувствовав запахи первых пожаров, именно Бертье сказал маршалу Луи-Никола́ Даву: «Это вам не игра в бильбоке, маршал!»

Наташа понимала, для чего понадобились Николаю все эти истории: ему хотелось продолжить знакомство. Рабочие парни разговаривали с ней по-другому. Поэтому она с любопытством присматривалась к своему новому знакомому. Ни он, ни она отроду не видели бильбоке,

наполеоновские маршалы куда меньше занимали ее, нежели теплые ботики, которые она так и не сумела достать, несмотря на все свои старания.

Ноги у Наташи все больше стыли, даже пальцы занемели. Хотя провод уже починили и техническая будка уехала, трамвай с нужным ей номером все не появлялся, а ехать с пересадками она не могла. Тетка, у которой она жила, выдавала ей на трамвай точно двадцать копеек. В перчатке была зажата десятикопеечная монета. Если ее выронить, придется идти пешком, а это не меньше восьми километров.

Трамваи пошли непрерывной лентой. Их облепили люди. Черные гроздья висели на подножках. Выплыл наконец и ее трамвай. Наташа предвидела схватку у ступенек. Ничего! Зато можно согреться.

— Извините, мне пора домой, — сказала она.

— Разрешите вас проводить?

— Я живу далеко. Не обрадуетесь. — Ее губы дрогнули в улыбке: — Это вам не игра в бильбоке!

Николай не успел ответить. Внимание всех неожиданно привлекло зрелище скорее грустное, нежели развлекательное.

Со стороны Калужского шоссе, по которому сто с лишним лет назад отходила кутузовская армия, появилась странная для столичного города процессия.

Крестьянин и крестьянка вели по улице корову. Вероятно, процессия не привлекла бы общего внимания, если бы крестьяне, совершившие, видимо, долгий зимний марш, не проявляли бы такой заботы о своей корове.

Надо полагать, большинству горожан была недоступна психология деревенского жителя, видевшего в те годы ломок и потрясений свое единственное спасение в кормилице буренке. Если бы дело обстояло по-другому, не стали бы двое пожилых сельских жителей отдавать корове свое единственное одеяло, сшитое в стародавние времена из треугольничков лоскутков. Это одеяло с клочками вылезшей ваты покрывало спину коровы: впереди было пропущено между ногами и завязано на груди и поверх шеи, а сзади под хвостом. На ногах были валенки — понятно, не людские, а специально сшитые из коричневого войлока и укрепленные чуть ниже коленных сгибов веревочками.

Если крестьяне сделали так, значит, это было вызвано необходимостью. Старый крестьянин, шедший впереди с веревкой в руке, всецело был поглощен исполняемым им делом. Обледеневшие борода, усы, брови превратили его лицо в неподвижную маску. Видно, худая одежонка не слишком-то его согревала.

Старуха в коротком полушубке и длинной юбке шла позади. Палкой она иногда помогала корове — не подталкивала, не била, а помогала, как бы ободряла, когда та упиралась или пугалась.

Люди у остановки смеялись все веселей.

Смеялась и Наташа, забыв о своих застывших ногах. Чтобы лучше видеть, она хотела опереться на Николая и приподняться над плечами людей, тесно сгрудившихся на кромке тротуара. Но Николая не оказалось подле нее. Оставив Наташу, он протиснулся вперед. Она решила обидеться — так поступают женщины, когда им кажется, что заинтересовавшийся ими человек вдруг изменил свое отношение. Но какое-то новое, напряженное выражение его лица развеяло ее обиду. Это было выражение не то страдания, не то стыда, не то внутренней боли, неожиданно сблизившее Наташу с Николаем. Слушая его рассказ о Наполеоне, Наташа невольно сравнивала его со своими, неизбежными для каждой девушки «ухажерами». Теперь, с этим страдальческим выражением на лице, он стал ближе, приятнее. И хотя Наташе не были известны причины этой перемены, все же внутреннее состояние находившегося рядом молодого человека передалось ей. Другими глазами — может быть, его глазами — посмотрела теперь Наташа на этих крестьян, над которыми только что смеялась.

А Николай узнал родителей. Когда они были далеко, ему прежде всего бросилось в глаза лоскутное одеяло. Оно словно ослепило его. Когда же они приблизились, он увидел и узнал строгий, резко очерченный рот матери и ее полушубок.

Что же делать? Пока он затерян в толпе, он — праздный зевака. Но он может кинуться к ним и помочь. Там ему быть или оставаться здесь? Если там, то придется взять в руки хворостину и... вернуться в Удолино. Горячие мысли обжигали Николая. Ему было стыдно и страшно. Будто опять раскрылась перед ним бездна, а на дне ее навоз и солома, унылый труд от зари до зари и жизнь без просвета...

Отец по-хозяйски опробовал подошвой скользкий асфальт, взял корову за рог. Если поскользнется — поддержит. Движения размеренные, ни одного лишнего. Так он всегда старался работать, чтоб хватило сил до последнего часа. Покачал головой: асфальт ненадежный. Окружающее его не интересует: было бы хорошо и удобно корове. Насмешек не слышит, не заденут они его сейчас; к тому же крестьяне привыкли к насмешкам горожан.

Когда корова находилась на середине улицы, вспыхнул зеленый глаз светофора, двинулись автомашины. В дымке испарений, будто пойманные в

сети ременных шлей, поплыли битюги, ворочая окороками сытых крупов.

Крестьяне остановились. Город волна за волной нес свои шумы. Сколько здесь людей, машин и повозок! Отец крикнул милиционеру:

— Эй, ты! Не видишь?

— Вижу! — Милиционер — круглолицый парень с толстыми икрами и в узкой шинели — взмахнул своим жезлом.

Все подчинилось ему: машины, повозки, люди.

— Гляди, милиционер, а посочувствовал! — воскликнул кто-то.

— Чего же? Может, он своего отца вспомнил, мать. Тоже человек, а не кувалда с ручкой...

Корова неторопливо переходила улицу.. Из ноздрей ее вырывался пар. Шерсть на лбу и на шее с подветренной стороны поседела. Корова послушно повиновалась человеку, державшему ее за рога, согревшему и накормившему ее. Она не нуждалась ни в понуканиях, ни в побоях.

Милиционер, не опуская палочки, добросердечно следил за процессией.

Толпа притихла; уже не было праздных выкриков, люди не балагурили и не смеялись.

Сын этих крестьян продолжал прятаться за спины чужих людей, не оказав помощи самым близким.

Вдруг мать пошатнулась на голой наледи колеи, взмахнула руками. Наташа бросилась к ней. Она подбежала вовремя и успела поддержать старую женщину. Антонина Ильинична бормотала слова благодарности. Она оперлась на руку Наташи и при ее поддержке безбоязненно перешла улицу.

— У меня такая же доченька, — сказала Антонина Ильинична строго, без всякой слезливости. — Дай бог тебе счастья!

Передохнула у бровки,правила одеяло на спине коровы, свой платок у самого лба и пошагала дальше.

— Нас тоже не из бидона кормили, а из коровьего вымени! — самым развеселым голосом выкрикнул милиционер и повернулся боком, чтобы дать движение заторможенным потокам машин.

Глаза людей потеплели, стали чище и красивей. Николай оглянулся, но не нашел Наташи. Его била дрожь, зуб не попадал на зуб. Неумолимая сила по-прежнему приковывала его к месту. Туда, к обелискам Бородинского моста, уходило его прошлое, рвались корни, питавшие его с детства.

Возвратившись в общежитие, Николай Бурлаков долго не мог успокоиться. Противная дрожь во всем теле не унималась. Не помог и чай с пышками, предложенный Настей. Озябло не только тело, но и душа. А

поделиться он мог только с одним человеком.

В пустой комнате наедине с самим собой было страшно. Возникла картина пережитого, вставали непрошено все жуткие подробности — от пестрого одеяла до силуэтов матери и отца, затерявшихся в метельной дали.

На тумбочке лежала записка Саула: «Ушел на курсы». А ниже Кучеренко подписал: «Умные — на учебу, дурачки — в киношку. Не запирайте дверь, ребята». Для них все было ясно, основные жизненные проблемы давно решены.

Дождавшись Жору, занесенного снегом, краснолицего, веселого, Николай рассказал ему все без утайки. Квасов выслушал молча, потом вышел и долго фыркал у крана. Вернувшись, уселся возле тумбочки и прочитал записку Саула. И, прикусив нижнюю губу, принялся обрезать ногти.

— Почему ты молчишь? — спросил Николай. — Мне же трудно...

Квасов поднял голову, и тени, падавшие от абажура на его лицо, исчезли. Страдальчески дернулись уголки губ.

— Если хочешь знать мое мнение, скажу. — Ребром ладони он провел по ресницам с досадой и мукой, которых не хотел показывать. — Мне жалко их, Николай. Сердце сжимается, как жалко!..

— Не надо. — Николай беспомощно развел руками и, не боясь унижить себя, сказал: — Я поступил, как самый последний подлец... Если бы я мог...

Плечи его дернулись. Отвернувшись, он прикрыл лицо рукой, дрожащими, непослушными пальцами другой руки пытался вытащить платок из кармана.

Квасов наклонился к другу, полюбнял его за плечи.

— Ты поступил некрасиво, но... правильно. Раскисни ты на минуту — и пропала бы вся твоя жизнь. Ушел — значит, ушел. Возвращаться тебе незачем.

Николай быстро обернулся и, в упор глядя в глаза другу, спросил:

— Ты поступил бы так же?

— Я? — переспросил Квасов, встал, прошелся по комнате и ответил серьезно: — Меня в пример не бери. На меня никогда не ориентировали, если помнишь. Арапчи пугал Квасовым призывников. Разнузданная стихия вселилась в меня не без помощи Арапчи, хотя я не имею против него зла. Я поступил бы не так, если бы увидел там твоих родителей. Я подбежал бы к ним раньше, чем успела это сделать Наташка, поцеловал бы мамашу на глазах всей шпаны, притащил бы их сюда, отогрел бы и накормил. С папашей мы сходили бы в баню. Коровенку и ту нашел бы чем накормить и

куда завести. Во дворе сарай подходит? Абсолютно. Повышвыривал бы дрова и устроил бы привал несчастной коровенке... — Квасов осекся. — Прости, Колька! Так поступил бы Георгий Квасов, но не Николай Бурлаков. Квасов — сложившийся пролетарий, независимая личность, ничем не обремененная, кроме своей темной совести... Будь я Бурлаковым на данном этапе его созревания, я поступил бы так же. Я бы побоялся, что родители зацепят, не поймут, заставят взяться за рога коровенки. И в самом себе я не был бы уверен. В борьбе с собой ты победил. Не поддался... Ясно, есть тут и подлость. Согласен. Подлость обстановки. Тебя самого бросили в котел, и не твоя воля...

За окнами стонало. Плохо пригнанные рамы издавали дурную музыку. Было слышно, как по лестнице поднимается немец Мартин, молодой, рыжий зверь, доставлявший немало хлопот коменданту.

Бурлаков помимо желания изучил все скрипы лестницы и теперь мог безошибочно угадывать, кто по ней идет. В часы одиноких раздумий он слышал, как, шурша накрахмаленными юбочками, по перилам скатывались дочки Германа Майера, тюрингского немца, занимавшего отдельную квартиру на втором этаже; как, побряхтывая и рассуждая с самим собой, спускался старый Шрайбер. У него размеренные шаги и тяжелое дыхание. Лестница поскрипывала как-то по-особенному, когда спускалась по ней белокурая Фрида, жена Майера. Ее легко признать по голосу; уходя, она командирски отдает распоряжения детям и ходит энергично, чтобы везде успеть и к сроку справиться со всеми сложными обязанностями домашней хозяйки.

Как просто устраиваются люди! Уехали в чужую страну, за тридевять земель, и никаких у них сетований, отчаяния или грусти. Майер всегда улыбается, приветливо приподнимает шапку. Шрайбер невозмутимо заталкивает табак в короткую трубочку кривоватыми и гибкими, как у граверов, пальцами.

Мартин пьет и гуляет с девчонками, бродит по танцплощадкам клубов и презирает Россию за неуменье русских варить кофе, за варварское глаженье рубах и еще за что-то.

В другом доме тоже немцы. Каждая семья живет своим обособленным мирком. «Оттуда» приходит к Майерам только одна пара. Они тоже из Тюрингии: смуглый высокий Отто с усеченным подбородком (его считают красавцем) и Дора, невзрачная его жена с опасливыми жестами. Доре везде мерещится опасность, и она старается не заводить знакомств с русскими и молчит везде: в магазине, в трамвае. Даже в театре предпочитает сдерживать эмоции.

Для многих немцев Квасов являлся отдушиной; при его посредстве они изучали и оценивали жизнь советских людей, от которой были отгорожены сетью спецмагазинов, привилегированных квартир и заграничными паспортами. Квасов старался не уронить достоинства, хотя это давалось ему нелегко.

В этот вечер, засидевшись чуть ли не до полуночи у Майеров вместе со своим расстроенным другом, Квасов не сумел воздержаться и выцедил графин под тревожное завывание ветра и вздохи экономной Фриды. Квасов затащил Николая к Майерам, чтобы рассеять его.

— Почему ты такой никудышный, Колька? Чуть прихватило — и скис.

— Сам не знаю...

— Объясни мне или посоветуйся сам с собой. Иногда я так поступаю. И, знаешь, помогает. Я редко надоедаю людям печалью: все едино наткнешься на одни соболезнования... Тебе противны немцы? Но они живут лучше нас.

— Возможно.

Действительно, Николаю было обидно. Он даже не завидовал, а только удивленно присматривался к чистенькой квартире, к хорошей одежде, к спокойному образу жизни немецкой семьи. Майер вспоминал свои тюрингские горы, кроликов и коров, раскачивался в кресле, засовывал пальцы под подтяжки, тихонько смеялся, показывая чистые зубы. Уехал на заработки без всяких трагедий, копит валюту, вскоре вернется. Фрида навяжет в России сотню кофточек из немецкой шерсти и не потеряет ни в весе, ни в настроении. Дочки прозанимаются положенные годы в такой же школе, как в фатерланде, научатся русскому языку, уедут и забудут страну, приютившую их во время кризисной тряски. Они расскажут у себя на родине о русских, предпочитающих кофею водку, об их мятых рубашках, о нечищенной обуви, которую они донашивают до стелек, о тесноте в трамваях и о булыжных мостовых. Им так и не разобраться, почему с такой сермяжной исступленностью русские пытаются выгладить социальные шероховатости мира, вымостить дорогу к будущему, надрываются в спорах, придираются друг к другу и не замечают своих рваных сапог и скудной пищи.

Ничто пока не могло сблизить отставного крестьянского сына с пришельцами из чужой страны, хотя и он и они оторвались от гнезда и еще не приобрели прав оседлости. Забредший на огонек Шрайбер говорил о красотах вересковых долин близ Люнебурга, воспетых поэтами, приезжавшими туда для вдохновения. Он сам постарался показать оттенки цветущего вереска на шелковых нитках вышивки, натянутой на пяльцы.

Одинокий Шрайбер тосковал о семье, называл себя коммунистом, помогал русским освоить тайну стекла, читал стихи, дирижируя опаленной кислотами старческой рукой, и растроганно сморкался в платок, сильно пахнувший одеколоном. Всем им было скучно в чужой стране. Но они продолжали есть ее картошку и рыбу и грелись у калориферов, согретых бурым подмосковным углем.

Нет, трудно еще во всем разобраться! Квасов уверял: в жизни самое главное — дружба, а остальное муть. Ему нравилось править эту повинность...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Наташа жила в том же районе, по Ленинградскому шоссе, всего через несколько остановок после «Стрельны», где сходил с трамвая Николай Бурлаков. В тридцатые годы за шатровыми башенками Белорусского вокзала только-только начиналось строительство. Сломали Триумфальную арку, утащили на ломовиках бронзовых коней и императора в лавровом венке, чтобы расширить магистраль, приобретавшую даже с чисто географической точки зрения все более и более важное значение для индустриального развития этого района столицы.

Нынешнему поколению, пожалуй, трудно вообразить, каким было Ленинградское шоссе в те годы, когда тот воистину грандиозный план реконструкции северо-западной московской окраины был только в зачаточном состоянии и наше шоссе мало чем отличалось от того знаменитого тракта, который привел на перекладных из Петербурга в Москву великого сына России А. Н. Радищева.

Давайте мысленно вернемся к тридцатым годам и бегло окинем картину, представлявшуюся глазам наших молодых героев.

Вскоре за Белорусским вокзалом, за кондитерской фабрикой и обозно-вещевым заводом, за стадионами тянулись улицы бревенчатых домов с крылечками, резными наличниками и петушками, с оконцами, в которых в межрамье была выстелена вата, посыпанная цветной бумажной стружкой. При виде этих рубленых домов с закопченными бревнами казалось, что сохранился пейзаж тех времен, когда из Тушинского лагеря грозился Кремлю Самозванец, летали пернатые стрелы и в натопленных избах Всесвятского села, сидя возле пузатых самоваров, ожидали царского приема посланцы дальних государств.

Всесвятское и Сокол, села северо-западных окраин, были окружены рощами и песками. А дальше, за Химками, начали строить большой канал Волга — Москва; неудержимо, со страстью первооткрывателей пробивали тоннели метро. Все происходило на глазах: великое и мелочное, общее и личное, любовь к отечеству и древняя как мир любовь к земной красоте женщин.

Бурлаков как бы вышел из круга, очерченного Квасовым. За этим кругом светил его сердцу новый человек — Наташа. Любовь очищала Бурлакова от грязи обычного существования, от мелочей, когда-то

волновавших его. У них не было заранее условленных свиданий, они не передавали друг другу записок и не позволяли себе говорить о своих чувствах. Почти ежедневно, если не мешала вечерняя смена, они садились в один и тот же трамвай. Так от полочки к полочке незаметно бежали месяцы, и, наконец, в руках уличных торговков появились подснежники. В один из весенних вечеров Николай и Наташа возвращались домой после комсомольского собрания. Полупустой трамвай катился по светлым рельсам. Пустынные улицы пахли последним снегом и дымом котельных. Из булыжников, похожих на черепа, копыта ломовиков высекали искры.

Наташа сидела напротив Николая и глядела на него, уткнувшись в букетик подснежников, перевязанный ниткой. Тусклый свет верхних плафонов бросал на его лицо резкие тени. «Таким, вероятно, он будет в старости», — подумала Наташа, вспоминая рабочих железнодорожного депо — кузнецов и котельщиков, возле которых прошло ее детство.

Отклонившись, Наташа увидела своего спутника в более выгодном освещении. Нет, работа еще не успела изменить мягкие черты молодого лица. Скованность движений и застенчивость не вязались с его мужественной фигурой, с сильными кистями рук, еще не обезображенными физическим трудом, с броской осанкой, выработанной армией и спортом. Оба они были комсомольцы, на собраниях встречались на равных правах. А вот простые отношения не налаживались. Как и всякая женщина, послушная заложенному в ней инстинкту, Наташа чувствовала свою власть над Николаем. Ей хотелось как можно дольше владеть этой незримой властью, держать Николая вблизи и одновременно не слишком приближать к себе. Сколь долго могло так продолжаться, вряд ли ответишь. Но ей было приятно и лестно.

На Садово-Триумфальной площади в вагон ввалилась ватага развязных и шумных парней. Двое ребят бесцеремонно уселись возле Наташи и немедленно принялись изощряться в своих нежностях. Другие оттеснили Николая. И начался нелепый и неумный разговор, который нередко ведут молодые люди между собой, уверенные, что это признак хорошего тона.

Самый крикливый и наглый из всей компании, считавший себя, вероятно, неотразимым благодаря чубчику, выпущенному из-под кепки в форме модной тогда «запятой» обменялся местом со своим приятелем и очутился рядом с Наташей. Его глупые вопросы остались без ответа. Тогда парень попытался, будто невзначай, полуобнять девушку. Наташа отстранилась и глазами позвала Николая. Просьбу не пришлось повторять. Дело решили железные мускулы и один из приемов рукопашной схватки.

Недаром же их чему-то учили в армии! «Неотразимый» молниеносно отлетел в сторону. Николай сел рядом с Наташей.

— Извините, Наташа, вначале я подумал, что они ваши знакомые.

Ватага пробиралась к выходу с таким видом, будто ничего не случилось.

— Вы всегда такой? — спросила Наташа.

— Нет, иногда бываю робок. Зайца боюсь... — отшутился Николай.

— Тогда почему сегодня вы храбрый?

— Сам удивляюсь... — Он вздохнул и виновато улыбнулся. — Вероятно, потому, что... я не хотел, чтобы эта бездельники измяли ваши цветы.

— Ах, вот как! — хорошо понимая его, сказала Наташа и протянула ему букетик. — Возьмите на память, Коля.

Николай смущенно пожал плечами и взял цветы. Ему вспомнились сбежавшие в овраги снега, поляны и на них сырые, бледные цветочки, первые посланцы проснувшейся земли. Подснежники вспыхивали на полянах и опушках, облученных солнцем, поэтому крестьяне и называли подснежники облучками. Он рассказал, что такое облучки, и снова забыл обо всем — мир замкнулся в тесный круг. Наташа и горсть облучков, желтая скамья и петля трамвайного ремня над головой.

— Я уже доехала. — Наташа заторопилась к выходу. — А вы пропустили свою остановку.

— Я провожу вас. Даже если вы не разрешите, я все-таки провожу вас...

Она подала ему руку. Так, не выпуская ее руки, он зашагал рядом.

Осторожно придерживая Наташу, Николай перевел ее по дощатым мосткам, перекинутым через широкий ров строящегося метрополитена. За мостками поднимался земляной отвал, протоптанный глубокими тропками, а за ним начиналась улица. Обычная сельская улица. Луна освещала деревья, уже набравшие листья. Справа, в отдалении, возвышалась широкая железная труба. Из нее вылетали языки пламени, клубился жирный дым, какой бывает при неполном сгорании мазутного топлива.

— Завод, — объяснила Наташа, — там делают изоляторы. Когда ветер в нашу сторону, закрываем окна. И все равно не помогает. Белья нельзя вывесить. С детства меня преследует эта копоть.

Луна как бы переменяла местожительство и теперь проталкивалась через оконные проемы недостроенных зданий; господствовал стиль унылого западноевропейского кубизма.

— Там строят жилой городок для студентов, — сказала Наташа, — а

еще дальше — железная дорога.

В устье темной улицы угадывалось еще не тронутое строителями поле. Оттуда вместе с прелыми запахами оттаявшей почвы и курного угля доносились гудки и сиплое шипение пара.

— Мой дядя работал там кузнецом. — Наташа сбавила шаг, высвободила руку. — Он любил пить слишком горячий чай. Получил рак пищевода. Папа тоже был кузнецом, там же... — Она указала на поле, на мерцавшие за ним огни. — У вас родители живы. Вы счастливее меня...

— Не знаю... Я плохой сын.

— Иногда это только кажется...

От булочной, небольшого щитового домика с рубероидной крышей, свернули вправо и пошли почти по такой же улице, как в Удолине. Ни мостовой, ни тротуаров. Палисадники, огороженные заборами. И даже лаяли собаки — все, как в деревне.

Под ногами мягкая, сырая земля. Разбитыми зеркалами светились лужи.

— Вот и дошли. — Наташа остановилась у калитки бревенчатого старого дома. — Я живу у тети, Лукерьи Панкратьевны. Дом построили мои родители. После их смерти тетя взяла меня на воспитание.

Она попрощалась и быстро ушла. Железная труба продолжала дымить. В воздухе чувствовалась копоть.

От Всесвятского до Петровского парка Николай шел около часа. Окраины засыпали рано. Почти во всех домах погасли окна. Кое-где на углах маячили милиционеры. Возбужденные коротким свиданием, нервы понемногу успокоились. Сегодня что-то случилось. Что же? Если проверить, почти ничего. Случай в трамвае? Ну, что за невидаль! Парень попался хилый, да и вся компания жидкая. Пришлось погорячиться. Не грубо ли это могло показаться со стороны? Чуть что, в ход кулаки... Хорошего же Наташа останется о нем мнения!

Косые длинные тени прочертили дорожки. Пахло ранней весенней сыростью, старыми листьями, мокрой корой. Подснежники согрелись в руке и привяли. Парк незаметно перешел в улицу, такую же тихую, засаженную деревьями. Кое-где притаились парочки. Заслышав шаги, влюбленные начинали громко говорить неестественными, деланными голосами. Почему люди стесняются любви? Будто воруют свои самые лучшие чувства...

Дойдя до кирпичных столбов подворья немецких специалистов, Николай остановился. Только в квартире Отто светились два окна. Отто сегодня во второй смене и мог задержаться в литейке. Его имя склоняют на

заводе вдоль и поперек так же, как и его ковкий чугунок. В конце концов будет или не будет освоен ковкий чугунок, его жена Дора никогда не ляжет спать раньше, чем вернется Отто. Она обязательно дожидается его, накормит, узнает о работе мужа, посетует или порадует. Отто всегда встретит понимание у своей жены. Может быть, в этом и кроется разгадка любви красивого Отто к некрасивой Доре.

Можно позавидовать такому семейному счастью. Но есть ли оно на самом деле, это счастье? Можно ли назвать счастьем отношения Ивана и Насти Ожигаловых, их закабаленную детьми и недостатками жизнь?

Какое будет собственное счастье у Николая? Растворится ли оно в многочисленных общественных обязанностях, будет ли ощущаться временами, в отдельные часы и минуты, или сконцентрируется в его жизни как нечто осязаемое не только одним сознанием, а всем его существом? Два освещенных окна, силуэт женщины за занавеской, постоянство, забота, отдых после труда, направленного на благо всех. В комсомоле смеются над канарейкой и уютом, хотя большинство не представляет себе, что же это такое, семейный уют, и ополчается на нераспознанного врага. Отто встретит женщина в мягком халате, с теплыми плечами. Но, вероятно, и Отто ценит в любви не только прыгающую крышку чайника.

С такими думами Николай переступил порог своего холостяцкого жилья. Открывшая ему дверь Настя захлопотала, быстро наладила керосинку. Пока за слюдяным оконцем мигал огонек, рассказала о своих заботах: старшенького «прихватило» (игрался с «немчатами», промок), напоила его малиной; младшенькому сменила вторую рубашонку.

Пили чай в прихожей, на табуретке, закусывали холодными пирожками с картошкой.

— Вы, Коля, не стесняйтесь, когда чего нужно, пожалуйста, — уговаривала Настенька и приподнимала брови.

На лбу собирались морщинки, много их и слишком ранние. Настенька героически дралась со всеми явными и мнимыми опасностями, проникавшими в любую щелочку, как борется большинство женщин; воспитывала двух детей, ждала третьего. И никого не упрекала. Она не отделяла себя от эпохи и все считала своим — и хорошее и плохое. У нее можно было поучиться терпению и нетребовательности.

Если немцам созданы лучшие условия — значит, так нужно. Кто же согласится ехать в чужую страну горе мыкать? Если нашим рабочим еще трудно живется, то кого же винить? «Сами начали, других подтолкнули, самим и до коммунизма надо дело вести». Она произносила «коммунизм» и свободно обращалась с этим высоким словом. Казалось,

Настя была полноправной хозяйкой всех будущих благ.

Вышел Жора, в безрукавке и трусах, с папиросой за ухом. Прижмурился на свет, протянул письмо.

— Тебе, Коля. Плясать не заставляю. От сестренки.

Присел на табурет поближе к керосинке, закурил от нее папиросу.

— Как живет симпомпончик? — спросил он Николая.

— В Москву тянется. — Николаю не хотелось обсуждать с Жорой создавшееся положение уже хотя бы потому, что Жора называл Марфиньку пошлым городским словечком «симпомпончик».

— Она же не сама тянется, — сказал Жора. — Ты обещал. Заронил в нее надежду, теперь отвечай. Пусть едет...

— Куда? — Николай озлился. — Там у нее своя крыша, картошка, хлеб.

— Картошка? — Жора поморщился. — Любите вы, крестьяне, этим продуктом щеголять. Хоть медальон из картохи вешай на шею каждого пролетария. — Осторожно, чтобы не уронить пепел с докуренной папиросы, сказал: — Ишь ты, не сваливается пепел. Это правда, Настя, что в хороший табак льют натуральный пчелиный мед?

— Не знаю, Жора. Я сама на мед хоть бы глазком взглянула.

— Льют, Настя. И вот эта папироса видела мед. — Повернулся к приятелю. — Крышу для симпомпончика найдем. Поколдуем и отстоим ее право на существование.

— Пусть приезжает, — вмешалась Настенька. — Мы бы ее...

Квасов не дал ей продолжать.

— Святая вы женщина, Настя. Мы вас не обременим?

— Кто это мы? — глухо спросил Николай.

— Мы? — Жора пожал плечами. — Ты и я. Вместе — мы. Ты же советовался со мной, Коля. Помнишь? Я сказал: «Выписывай». Договорились не трогать ее до весны. Так и написали ей. Послушай. Бьет капель. Молоточками. Весна...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Марфинька дождалась, наконец, весны. Сошли снега. Только зависшие на ивняках космы прошлогодней травы могли рассказать о высоте и силе паводка. Прилетевшие из Египта скворцы выгнали из своих домиков зимовщиков воробьев, крикливо отторжествовали победу и принялись за дело. Соловьи еще не начинали свадебных песен. Паровались сороки. Зловеще каркали вороны. На засохших макушках грачи выкладывали гнезда из прутьев.

Весна не навевала грусти, не смущала предчувствиями. Марфинька радовалась всему, приглядываясь к ярким краскам пробуждения природы. Она обнаруживала раскрывшиеся на березах листочки, наблюдала за сережками осин, замечала, как зеленела и светилась их сочная кора, а березовый подлесок на склоне оврага, еще недавно горевший сухим коричневым пламенем, вдруг становился зеленым и липким. Возбуждающие запахи набегали отовсюду, и хотелось идти с закрытыми глазами, широко раскинув руки, а еще лучше полететь, как во сне, бездумно и легко.

Председатель артели Михеев, занятый больше шитьем сапог, чем колхозными делами, все же заметил Марфиньку, бегавшую в поле, оценил ее физическую силу и приказал ей возить навоз. В распутицу от коровника в поле были пробиты глубокие дороги, и пока лошадь одолевала ухабы и тужилась на колеях, Марфинька успевала передумать о многом, мыслями облететь весь свет.

Покончив с навозом, везли посевное зерно на гумне, протравливали и сушили, а потом вязали метлы из хворостяного березняка: рощу осенью свели под огороды. Метлы отправляли в Москву; и кто-то говорил, что идут они на металлургический завод «Серп и молот», для очистки окалины при прокатке металлов.

— Мама, я тоже хочу в Москву, — просилась Марфинька. — Хочу в Москву, маменька...

Ждали, пока оперится в городе Николай. Только после его положительного письма пошли хлопотать о Марфиньке. Председатель отложил в сторону фасонистый сапог, который ему заказал директор «Суконки», бывший буденновец, и, угрюмо суча дратву в смоляных пальцах, выслушал старого Степана Бурлакова, просившего отпустить

дочку в Москву.

— Да что, там без нее не обойдутся, Степан? — Михеев бросил сучить дратву и швырнул на низенький сапожный столик пучок щетины. — Сына отпустили, теперь дочь. А кто ж Москву кормить будет?

— Так-то оно так, — согласился отец. — Только все едино с нашего куцега хозяйства такой огромный город не прокормить. В артели и так людей избыток. Сам понимаешь, была бы недостача, разве ты нашел бы время на сапоги, Михеев?

— Не упрекай меня, Степан, — сказал Михеев мягче. — С этого кормлюсь. К тому ж во внеурочное время...

— Да разве есть у крестьянина неурочное время?

Перепалка могла бы зайти далеко, и не видать бы Марфиньке Москвы как своих ушей, если бы не крестьянская мудрость старого Бурлакова. Почувяв ссору, он перевел беседу на другое.

— Есть у меня, Михеев, валушок. Думаю сделать ему чик-чик. Приходи на свежинку. Моя старуха ладно все приготовит. И что ты предпочитаешь: переднюю или заднюю часть валушка?

— Заднюю, если уж говорить о валушке. — Михеев быстро пошел на попятную.

На другой же день, глуша стаканами первач-самогон и отдирая от костей куски мяса, будто присохшие стельки от сапог, он хвалил Марфиньку и знатно изжаренную баранину.

Через несколько дней Марфинька впервые в жизни держала в руках документ на свое имя, оформленный подписями и печатью. Отец наблюдал неприкрытую радость дочери без особого сочувствия, хотя и желал ей добра.

— Только, Марфа, веди себя правильно. Николай оформился, нет-нет да и оторвет от полочки для дома. А ты больше думай о себе. Не норови сесть на его шею. Сразу берись за дело, пусть оно будет самое маленькое. И не балуй... Об остальном мать предупредит...

Несмотря на близкую разлуку, Марфинька повеселела, без понуканий ходила за коровой, чистила сарай, помогала по дому. Каждое утро она отправлялась на «Суконку» разносить молоко по квартирам инженеров. На базаре стеснялась торговать. Туда сходились девчата из общежития, считавшие себя более модными, чем деревенские. Были они без кос, с подкрашенными губами, тонкими, подбритыми бровями, разбитные и нестеснительные. Попав на фабрику, они сразу же усваивали новые привычки и почему-то с пренебрежением относились к девушкам из окрестных сел.

Эти девочки казались Марфиньке странными и чужими. Ни за что не променяла бы она село на «Суконку»: промывать, квасить шерсть, катать ее на барабанах, дышать кислым, отравленным воздухом, водить компанию с грубыми парнями-сквернословыми — такими представлялась ей со стороны мужская часть молодежи с «Суконки».

Марфинька иногда принималась рассуждать сама с собой. «Как же ты бросишь родителей?» — «Поплачу и брошу». — «Жестокая ты», — обвинял ее внутренний голос. Другой голос звучал настойчивее: «Я стану лучше. Разве родителям хочется, чтобы я зачала в селе?» — «Нехорошо, Марфинька, село не темница». — «Для меня хуже», — твердил первый голос, искушавший ее и не принимавший никаких доводов. «Ты странная... Ты всегда куда-то рвалась, даже в школе». — «А лучше быть привязанной к тычку?»

Когда кончался этот диалог, приходили томления. Набегали неясные чувства. Они были стыдные, но безраздельно овладевали ею. Ни один еще мужчина не встретился на пути Марфиньки, а она томилась. То ей чудились фабричные скалозубые парни с их непристойными шутками и разгоряченными в танце телами, то на грузовике проносились летчики с голубыми петлицами и в шапочках-пирожках, открывавших низко стриженные затылки, то в памяти вставал гармонист, однажды проехавший мимо нее на площадке товарного вагона; вслед за песней, разорванной стуком колес, этот гармонист послал воздушный поцелуй деревенской девочке.

«Ты не любила еще никого?» — «Нет, пока не любила». — «Почему же до сих пор никто тебя не приметил? Разве ты хуже других?» — «Не знаю, не мучай меня...»

Неожиданно пришли заморозки. Холодные дожди задержали рост листьев. Пожелтели осины. На яблони напал цветоед, а за ним тля. Куда-то исчезли шмели. Огурцы пропали. Мать опускала в керосин выкопанных ею скользких твердых червей. Керосин их не брал. Только быстро росли крапива, щавель и лук-зимник.

Крестьяне всегда ждали от природы бед. Отчасти они смирялись, отчасти страдали от своего бессилия. Марфинька слышала, как ночью отец беспокойно ворочался на кровати, вздыхал, в темноте поблескивали его глаза.

Подруги завидовали Марфиньке, спрашивали:

— Тебе не страшно ехать, Марфинька? Круто меняешь судьбу.

— Нет, — отвечала она подругам, — чем круче, тем лучше.

— Куда ты наметила?

— Вот два письма от братишки, третье — от его друга. На завод устраивают.

Девчата перечитывали письма, жалели, почему друг брата не приложил фотокарточку, не написал, сколько ему лет.

— Молодой. Служил вместе с братом, — сообщила Марфинька.

— Красивый?

— Идите вы, девочки! Откуда мне знать?

— Марфинька, а не боишься — каждое утро гудок!

— Пусть! Не для меня одной.

— Свежего молочка там не попить.

— Не мне же одной. Там много людей. Хорошо, девочки, когда много людей. А у нас выйдешь — только Иван Чума и крутится, как бык на веревке. Тошно...

Земля будто не хотела принять семени. Неудачная весна. Убитые цветы фруктовок осыпались, как сажа. Озимки и те пожелтели. Прибывший на разведку трактор завяз по самые втулки, и его всем миром вытаскивали на большак. Мерзкая погода помогала Марфиньке не грустить перед разлукой. Родители собирали ее в далекую дорогу без упреков и увещаний. Наконец настал день, когда мать поставила опару и напекла пышек в добавку к насушенным сухарям.

Марфинька радовалась, но ее радости не понимала мать.

— Доченька, идти надо, а чему смеешься? Там, на заводе, железо кругом.

— Пусть железо.

— Ничего у них не растет. Укроп и тот с рынка.

— Мапочка, обойдусь без укропа.

— Постираешь, а сушить где?

— Как же другие? — отвечала Марфинька. Даже эти доводы не смущали ее.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Договориться о работе для Марфиньки было гораздо легче, чем обеспечить ее жильем. Огромнейший город с его бесчисленными домами ничего не пожелал уделить. Квасов надоумил обратиться к секретарю заводоуправления, Семену Семеновичу Стряпухину, как его называли, человеку на четыре «С». Он славился среди рабочих своей обходительностью и добротой.

— Дорогие мои сограждане, — ответил Стряпухин, наклонив в шутливом поясном поклоне свое короткое полнеющее туловище. — Хотите, без трепета сложу свою голову на Лобном месте, но жилплощадь все-таки не располагаю и располагать не буду. Гарантии дать не могу. — И добавил для уяснения перспективы: — Если, конечно, не возникнет какой-либо форс-мажор в этой области быта.

Немецкий галстук с ярким рисунком, будто невзначай предложенный Квасовым секретарю заводоуправления, был рассмотрен внимательной воспринят как вещественное доказательство распада буржуазной культуры. С тем и возвращен владельцу.

— Не имею привычки носить подобные штуки, товарищ Квасов. Предпочитаю гимнастерку или френчик, не требующие дополнительной мануфактуры. Ношу одежду соответственно нашей эпохе.

В словах Стряпухина не было ничего обидного, хотя в интонациях голоса и неожиданно изменившемся выражении лица ребята чувствовали предостережение.

— Зря ты совал ему галстук, — упрекал Николай своего друга, когда они отправились на поиски комнатки или угла для Марфиньки. — Твои намерения он разгадал правильно. Жди беды...

— Ты плохо знаешь нашего товарища на четыре «С», — успокоил Жора. — Он человек полностью сознательный, умеет прощать и не такие ошибки.

Первый адрес, полученный Квасовым от одной из уборщиц сборочного цеха, удачи не принес. В подвальном помещении их встретила пожилая рыхлая женщина с щипцами для завивки волос.

Как после выяснилось, она сдавала большую полуподвальную комнату нескольким девицам и ретиво охраняла их покой от напористых кавалеров из близко расположенного автохозяйства.

Девушки встретили Николая и Жору жеманно и полуприветливо.

Одна из них расчесывала косу деревянным гребнем. Она обернулась, из-за волнистых волос блеснули зубы и синие глаза. «Женихи пришли, хозяйка?» Сурово ответив на плоскую любезность Квасова, девушка предупредила: «Тут все комсомолки, с подземных работ. И лучше не мешайте отдыхать девочкам».

Вышли по каменной лестнице, сопровождаемые хозяйкой до порога.

Перед следующим «заплывом» Николай посоветил друга:

— Нельзя так, Жора. Уж больно ты развязен.

— Такая конструкция, Коля, — ответил Жора, нимало не обидевшись. — Неравнодушен к женской красоте.

— Я предупреждаю, Жора. Приедет Марфинька, не вздумай кружить ей голову...

Квасов рассмеялся, глаза его блеснули.

— Убей меня, если решусь на подобную подлость! Моя заинтересованность бескорыстная. Я имел случай изучить твой беспомощный характер в части организации быта. Без моего шефства на первых порах тебе будет трудно... — И они пошли по улице, еще сохранившей на мостовых и у бровок кучи черного недотаявшего снега. — Если, Коля, хочешь знать истинную правду, приподниму для тебя занавес. Только это совсем другая опера... — Квасов замялся. Натужно подбирая слова и, по-видимому, испытывая чувство неловкости, он рассказал Николаю о том, как случайно познакомился с Аделаидой.

— Верь не верь, а чистая случайность. Ни я ее не искал, ни она меня. Только позже я узнал о твоих с ней отношениях...

— Не было у меня никаких отношений! — вспыхнул Николай.

— Какие-то были, — добродушно смягчил Жора. — Познакомился до армии, заходил после армии. Достаточно... Ну ладно. Встретил я ее возле Инснаба, у железных дверей Елисеева. Туда пробиваются всякие любительницы и пижоны. Ну, там Адель и я сразу размотали большой кулек продуктов и напитков, которые я купил для Фриды Майер. Уверяю тебя, в первый вечер я не осмелился даже случайно к ее кругленькой коленке прикоснуться. Думал: напал на божество. И если хочешь знать, то и сейчас вполонину так думаю... Завяз я, Колька, с Аделью и глух теперь ко всем другим соблазнительницам. О тебе она рассказала без всякого хамства. Как хошь расценивай, грешен...

Бурлаков шагал молча, обдумывая эту и в самом деле странную встречу, случившуюся в большом городе, где можно полвека прожить и ни разу не встретить снова промелькнувшее однажды лицо.

— Она была одна? — спросил Николай.

— Конечно. — Квасов взял друга под руку и шепнул ему на ухо: — Свободна и приманчива.

Бурлаков хотел спросить про Коржикова, и эта фамилия чуть было не слетела с его языка. Но он не испытывал дурного чувства к Аделаиде и решил не подводить ее.

— Как ты смотришь на все это? — Квасов спрашивал серьезно, тем более не хотелось разочаровывать его.

— Не знаю... — уклончиво ответил Николай. — Если бы она по-настоящему полюбила тебя, узнала ближе... Ведь ты замечательный парень, Жорка! Женщина тебя может полюбить не только за кулек с продуктами.

— Спасибо, Коля, другого я от тебя и не ожидал... — сказал чуточку растроганный Жора. — А теперь сворачиваем сюда, есть еще одна «хватера». Попытка не пытка, а спрос не беда...

Так они обошли десять или пятнадцать конур, с одинаковыми старушками и разными обоями. Одни старушки заламывали без зазрения совести, другие называли «божецкую цифру», зато требовали от жильцов «никого не водить, спиртного не пить, свет гасить». Старушки впускали не сразу, сначала долго выясняли: кто, откуда, «по чьей рекомендации». Николай готов был согласиться на любое пристанище для сестры. Жора уговаривал не спешить, пока время терпит.

— Для девчонки лучше угол снять, чтобы жила под присмотром, — говорил Николай.

— А зачем присматривать? Что же, ты не доверяешь ей?

— Ей доверяю, а окружающей среде...

— Но окружение будет надежное, Коля. Беру на себя...

Наконец была облюбована узкая клетушка в бревенчатом доме, стоявшем на взгорке кривой улочки. Из окошка открывался вид на крыши, печные трубы. Если всмотреться, можно было увидеть блестящий за кронами лип серебристый овал озера в зоопарке.

Хозяйка зажгла лампочку в коридоре и проводила их приветливо. Жора осторожно пожал ей руку и спустился по заскрипевшим ступеням лестницы походкой баловня судьбы.

— Это дело в шляпе, Колька. Забудем о нем. Теперь отметим субботний день березовым веником в Централке, раздавим традиционную перцовку и после этого с чистыми руками приступим к следующим свершениям. Как насчет бани? Или твоя крестьянская душа на мочалке экономит?

Каждую субботу Квасов, Фомин и любитель дармовщинки Кешка

Мозговой артелью мылись в Центральной бане, не уступавшей по своим удобствам знаменитым Сандунам. В то время в бане еще сохранялись старые служители, понимающие толк в своем вдохновенном деле, умеющие угодить тороватой клиентуре. Были и такие посетители, которых встречали по-прежнему: «вашь съятельство», «вашдительство» не обращая внимания на их нынешний серый учрежденческий вид. Сбросив маскировочные одежды эпохи, нагие старики приобретали прежнюю осанку и манеры. Возле них крутились знакомые фигуры в белых халатах или с клеенками вокруг чресел.

Но и сюда вривалась свежая публика. Не только служивая интеллигенция, заполнившая учреждения за стенами Китай-города, не только командировочные из Сибири и Алдана, буровики, углекопы и золотоискатели, но и кое-какие москвичи-пролетарии, позволявшие себе по субботам пожить на широкую ногу.

Дорогу в высший разряд Центральных бань проторил Фомин. Удалось ему это сделать потому, что сюда бесплатно пропускали бывших партизан и красногвардейцев. Нужно было только раскрыть перед дежурившим у верхнего входа седобородым швейцаром длинную красную книжечку.

Постепенно шикарные бани в центре столицы превратились в место земляческих встреч. Многие однополчане часами проводили здесь время. Располагала к этому вся обстановка: отдельные кабинки с мягкими диванами, круглый бассейн с кафельными стенами, а больше всего буфет с пивом и закусками. Прикрыв голые тела простынками, рубаки гражданской войны, некогда гарцевавшие на горячих скакунах по вздыбленной республике, предавались воспоминаниям. Приятно катилось время, и жаль, что никто не записывал непринужденных бесед, возникавших под влиянием пива и хорошего настроения после порции березовых веников и кругового душа, пронзающего каждую пору тела.

Но вот настал черный день, когда бесплатный вход был запрещен.

Бывший красногвардеец Фомин долго залечивал эту рану, столь коварно нанесенную ему и всему боевому землячеству. И подумать только, какой, казалось бы, убыток, что отменили бесплатный вход в баню! А вот глубоко заползла в душу обида, и не выцарапать ее оттуда.

— Иду я, ребята, в эту самую черную для нас субботу с фасоном и гордостью, — рассказывал Фомин. — И только шагнул в раскрытые двери, хватя меня за рукав старикан: «Ваш билетик, гражданин?» Отстраняю его руку, объясняю, что пользуюсь красногвардейским преимуществом, и это ему известно. С презрением глянул на меня швейцар и рубанул, словно шашкой: «Красногвардейцы и красные партизаны отменены».

Вряд ли стоит повторять дальнейшие откровения бывшего красногвардейца; но заметим, что эпитет «гады» переключался от белопогонников на другие объекты; запальчивые фразы «придет время, рубанем и эту шваль» или «за что боролись, на то и напоролись» обильно уснащали гневную речь Фомина.

Как бы то ни было, а привычка оказалась сильнее и въедливей кровной обиды. Фомин не смог примириться с другими московскими банями: ни с Краснопресненскими напротив зоопарка, ни с Оружейными, ни со вторым разрядом Сандунов на Неглинке. Вкусивший от древа познания Квасов тоже предпочитал Централку, Мозговой привык к ней потому, что за него платил Квасов. А Жора привык к Мозговому, умевшему ловко подбросить кипяток из шайки на раскаленные камни. Никто лучше Кешки не умел сработать веником при самых зверских температурах, когда с раскаленных полков скатывались самые железные любители.

Николай Бурлаков впервые попал в такую обстановку. Предбанник с лепными фигурами и украшениями, мягкие диваны, кабины со шторками, ковровые дорожки, простыни под пломбами... Роскошно и ново! После банщиков, парилки и бассейна следовали перцовка с пивом и судак в томате. Подготавливал пиршество Мозговой, раньше всех посланный из бани в кабинку. Он не прочь был и пофилософствовать.

— Воистину велик гегемон, если нашел в себе живые силы не только избавиться от нужды, но и освоить доступную ему красоту быта. Гегемон нашел себя не только в цехах, но и в бане...

Мозговой услуживал с незаменимой предупредительностью. Его черные усики мгновенно поднимались, когда что-нибудь требовалось Фомину или Квасову. Да разве трудно наведаться в буфет, принести бутерброды и пиво? Расплачивался только Жора.

Фомин полулежал на диванчике и, лениво шевеля губами, рассказывал о кровавой рубке с белоказаками, где-то в приволжских степях:

— Солнце, скажу вам, ребята, будто всасывалось в землю. Пить! Фляжки звенят. Ни капли в них. Кадетов нарубали, как капусту. И у покойников фляги пустые. И вот вижу: среди полыней и верблюжатника что-то блеснуло. Глянул ближе — лунка. Вода! Спрыгнул к лунке, хватать, а это подкова... Как вода, блестела подкова...

Все в передаче Фомина приобретало особый смысл. Казалось, он говорит загадками. Ну, для чего про эту лунку вспоминать? Чтобы возбудить жажду? И без того уже расправились с дюжиной холодного жигулевского.

Как ни короток еще срок заводской выслуги Бурлакова, а главное

удалось усвоить. Мастеров никто зря не поил. И они не со всяким станут водиться на короткой ноге. Фомину, по-видимому, в гражданской жизни не хотелось повторять историю с сухой лункой.

Николай думал: «Неужели только в этом гегемон нашел живые силы? Неужели ему, Бурлакову, придется изворачиваться, хитрить, охаживать мастера, чтобы заполнить сухую лунку и не обмануться блеском подковы?»

А тут, будто прочитав его мысли, потянулся к нему со стаканом Фомин.

— Давай, молодой человек! Чтобы ключом!..

— Что ключом?

— Жизнь была...

— Значит, за ключ, что ли?

Фомин стал строже.

— За ключ, а не за отмычки.

— Не уважаю шарад в здоровом коллективе, — предупредил Жора. — Надо объясняться проще. С моим закадычным дружкой, Фомин, можешь говорить откровенно. И к тому же, Коля, задерни ширмочку... Ребята, не знаю, как вы, а мне что-то нехорошо. Парранский сюда заявился.

— Парранский? — переспросил Фомин. — Что ж такого? В бане все одинаковые, все голы. — Однако подморгнул Кешке и помог ему убрать бутылки с видного места.

Кешка сказал:

— Еще разик, по традиции. Поплаваем, потом еще пару бутылочек пивка?

— Все! — Фомин стал одеваться. — Процедура не может тянуться до бесконечности.

— Сдрейфили, товарищ Фомин? — ядовито уколол Кешка.

Фомин молча продолжал одеваться. Когда вышли из бани во двор, напоминавший глубокий колодец, Квасов предложил «Веревочку».

— Хватит! По домам! — категорически заявил Фомин.

— Признайся, Митя, скомкал программу? — скулил Жора. — Суббота не каждый же день.

Мозговой покуривал папироску «Бальную» с длинным мундштуком и открыто любовался смущением знаменитого мастера.

— Ты чего на меня уставился? — Фомин нервно прикурил от спички, пляшущей в подрагивающих пальцах.

— Я не уставился. Я установил. — Мозговой постарался придать своему ответу оскорбительную загадочность.

Квасов оттеснил готового вспыхнуть Фомина от Мозгового, положил

на Кешкину грудь пятерню.

— Чего же ты установил?

Кешка отступил. Глаза его забежали, он искал поддержки.

И тогда Фомин, полюбовавшись на это зрелище, веско приказал:

— Не раздувай. Не заводись, Жора, с пол-оборота.

— Кто-то капает администрации, — не унимался Квасов, — сплетни пускает. Я хочу знать, что установил Кешка после очередного своего шармака.

Они задержались у выхода на улицу, стесненного двумя высокими зданиями. Справа от них в ларьке торговали мочалкой и яичным мылом, слева стучали щетками мальчишки-чистильщики. Напротив светился подъезд ресторана «Метрополь». Как и всегда, в этом бойком месте шумела толпа.

Мозговой с присущей ему нудной въедливостью вздумал выяснять отношения. Квасов еле-еле отбивался от него, пытаясь все свести к шутке.

— Иди ты, Кешка, чего ты в бутылку лезешь?

— Не уйду. Ты меня обидел. Что значит шармак? Сопровождать тебя в баню, бегать за пивом? Это же работа унижительная, лакейская...

— Ну-ну, — пробурчал Квасов, — открывай клапан.

— Ты привык к адъютантам, — продолжал Кешка. — Я — шаромыжник. Теперь объявился другой — Колька...

— Нет, послушайте, что говорит этот отвратный тип, — пробовал отшучиваться Квасов. — Ты меня еще в генералы произведешь?

— Я установил странное явление, — Мозговой обращался только к Фомину, — и прошу вас объяснить мне, товарищ Фомин. Почему вы, коммунист, краснознаменец, испугались Парранского, старого беспартийного спеца?

Фомин ответил не сразу.

— Во-первых, Кешка, запомни: я никого не боюсь. Выгонят из начальников, стану к станку. Мне спец не соперник... — Фомин притянул к себе Мозгового. — А основное уясни. Парранскому меня подчинила партия. И я не имею права перед ним своим свинством выхваляться. Не имею права и сам не хочу...

— Почему свинство, Фомин? Не понимаю твоего тезиса. Работяги не имеют права в приличную баню сходить?

— Дело же не в бане... — Фомин потупился и надвинул кепку до самых бровей. — Не понимаешь, что ли?

— Не казни себя, Дмитрий. — Квасов попытался его обнять.

Фомин уклонился от объятия, угрюмо попрощался.

— Если говорю свинство — значит, оно есть. Десяток банщиков от него не загородят, — сказал он и сразу смешался с толпой.

Мозговой бросился вслед ему и тоже потерялся из виду.

— Хватил кутенок горячего... Побежал хвостом вилять, — спокойно сказал Квасов, будто ничего и не случилось. — Некрасивая вышла суббота. Фомин чего-то вообще последнее время нервничает. В ячейке, что ли, на него жмут... — И, наклонившись к Николаю так близко, что расплылись очертания лица, добавил чуть не шепотом: — К ней пойду, Коля. К дочке жокея... Не знаю, как ты разобрался, а меня она будто разложила на части. Послушный стал... И не жалею... Теплая, подлая, сладкая, аж в спине ломит от одного только предчувствия...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В механический цех спустили внеплановый заказ на первую партию координаторов. Заказ «втискивали», и потому предвиделись выгодные сверхурочные, аккордные оплаты. Так было всегда. Теперь же поползли слухи: положение якобы меняется, в самом начале даются жесткие нормы, расценки устанавливаются заранее, а не утрясаются в цехе. Запущенные в производство ответственные детали попали к надежным, квалифицированным рабочим, и от них зависело многое. Ну, эти не поддадутся, «не будут пускать кровь из-под ногтей», смогут снизить нормы и добиться зарплаток на освоении.

Вот этот принцип «не будут пускать кровь из-под ногтей» и потребительские настроения, подогреваемые лукавым, неуловимым Фоминим, и заставили Ожигалова почти трое суток провести в цехе. Все понимали, что секретарь ячейки не станет околачиваться в цехе из простого любопытства или для поднятия своего авторитета. Поэтому следили: к кому он подойдет, возле кого постоит, какие ведет разговоры.

Чтобы закрепить за собой знамя на следующий квартал, Фомин добивался таких броских результатов, чтобы о них можно было написать в газету, включить в доклады, похвалиться. Он уломал Квасова перейти на фрезерный и наладить сложную нарезку червячных передач из стали серебрянки. Делом чести назвал Ломакин освоение червяков на имеющемся оборудовании, и Фомин не замедлил взяться «за дело чести».

Обстановка в цехе была боевая. Производственные совещания проходили бурно и остро. Не вникая в тонкости, не зная обратной стороны медали, Николай Бурлаков старался изо всех сил. Ему дышалось легко в атмосфере цеха.

За день до приезда Марфиньки Ожигалов подошел к Николаю и, подавая руку, сказал:

— Зайдем ко мне, Николай. Ты что-то ко мне не подгребаешь. Забурел от успехов?

— Какие же мои успехи?

— Какие? — Ожигалов заглянул в записную книжечку. — Одним из первых идешь по производительности. Настает момент, когда мы увидим тебя на парусине.

— На какой парусине?

— На почетной... На твоих призовых сколько? Ну вот, засеки примерно минут тридцать потери. Хотелось бы с тобой посоветоваться...

Из цеха в заводоуправление вел ход, соединяющий два корпуса. Иногда дверь запирали, чтобы не ставить там вахтера, но чаще всего держали открытой.

В своей комнатке с железным ящиком в левом углу Ожигалов усадил Николая на единственный стул, а сам, протиснувшись на кресло, вытащил из стола пруток серебрянки, нарезанный для хорошо известной Бурлакову детали нового прибора.

— Видишь?

Николай взял пруток, поласкал его ладошкой.

— Вижу. Червячная передача. Отличная работа.

— Квасов фрезеровал.

— Знаю.

— Хотели засундучить заказ на другое предприятие. Поставили кабальные условия, назвали аховую цену. К тому же намекнули: в порядке незаконного товарообмена на листовую латунь, две тонны... И сроки растягивали... — Ожигалов повертел стальной червяк, погладил его. — И вот нашелся рабочий, взялся. Бриллиантовые руки у непутевого, — последнее слово было произнесено с задушевной интонацией. — Он тебе и токарь и фрезеровщик. Пошли его к Шрайберу на гироскопы, он и там начнет стеклышки запаивать...

Ожигалов неспроста расхваливал Квасова. Чувство настороженности не оставляло Бурлакова. Еще в армии Николай усвоил: начальство никогда еще не приглашает в гости просто так, покалякать. Раз уж вызвал — значит, есть дело.

Покончив с червячной передачей, Ожигалов снял кепку. Вспотевшие волосы прилипли ко лбу, глаза построжели.

— Сестру тоже выписываешь в город? — спросил он.

Николай вздрогнул.

— Что с ней?

— Не волнуйся. Под поезд не попала. — Ожигалов прикоснулся к его руке. — Значит, любишь сестру?

— Еще бы... единственная. И знаешь, какая хорошая? Чудесная у меня сестренка, Ваня! Может быть, ты против того, что я вытягиваю ее из села? Но я же тебе рассказывал. Земли в нашем колхозе...

Ожигалов прервал его:

— Не объясняй, понимаю. Нормальный процесс. Переводим аграрную страну на стальные рельсы, и тут, как говорится, одним стрелочником не

обойдешься. Только не к чему унижать Семена Семеновича и одаривать его галстуком... — Заметив порывистый жест Бурлакова, добавил: — Понимаю, это не ты, а Квасов, и, нечего, мол, придирается из-за какой-то чепуховинки... Но скажи мне, Коля, зачем же с такой чепуховинки начинать биографию Марфы? Сам же рассказывал: в селе пришлось угостить председателя, чтобы ее отпустили, барана свежевать. В городе тоже подкупы... И вот из души, мягкой как воск, начинают лепить уродину. Ведь скажете Марфиньке, не утерпите. И что станет с девчонкой? Кому-то обязана, — значит, надо благодарить, унижаться. А что она о нашей рабочей жизни подумает? Нелегко мне, фронтовику, рабочему, заниматься такими проповедями, Николай, а ты сам вдумайся... Что делать остается?

Бурлаков вспомнил слова Парранского о фантастических, по его мнению, задачах, которые легко, поднятием руки, решили триста восемьдесят шесть делегатов с «правом решающего голоса». Не называя Парранского, Бурлаков изложил Ожигалову сомнения инженера. Если посмотреть без всяких предубеждений, то и в самом деле придумали фантазию: за одну пятилетку «преодолеть пережитки капитализма в экономике и сознании людей». Ну, уж если преодолевать, то надо это делать решительно.

— Так. — Ожигалов уперся грудью в ребро стола, а руками ухватился за его края. — А как решительно?

— Ну, как кулаков, что ли... — Николай рассек воздух рукой, — ликвидировать сразу. Вон руки отсекали за воровство... Не помню, в какой стране, у финнов, что ли...

— Кто должен отсекаль?

— Партия. Она же постановила ликвидировать пережитки. Вся власть у нее. Директор, сам большевик, и тот без стука сюда не войдет, спросит: «Разрешите?»

Ожигалов откинулся на спинку кресла, а спиной и затылком уперся в стенку. Прикрыл глаза. И Николай неожиданно для себя обнаружил: этот человек устал. Под глазами резко обозначились темные круги — верный признак сильного утомления и, вероятно, хронического недоедания; губы синеватые, щеки с желтизной, с оплывами. В сравнении с Ожигаловым, — а он всего-то на десять лет старше, — Николай почувствовал себя бессовестно здоровым.

Не ради же своих личных интересов растрчивает Ожигалов свое здоровье и нервы! Другие, смотришь, еле-еле поворачиваются, а он крутится, как шарикоподшипник, и на производстве, и на заседаниях, и на «летучках»: вникает.

Ему надо помогать, хотя он и не просит о помощи. Помогать не гривенником из кошелька, а поведением в жизни.

Наконец Ожигалов с трудом разлепил веки.

— Извини, Коля, бывает со мной. Вдруг схватит с темечка, как сдавит в грудной клетке. А тут, на беду, сынишка захворал. Сменил Настеньку. На всю ночь. Она ведь тоже на страже партийных интересов, выращивает будущее дерзновенное племя... Итак, рекомендуешь ликвидировать пережитки как класс? Отсечь? Отсечь, конечно, можно, если предрассудок или пережиток болтается, как хвост у собаки. А он тут сидит, — ткнул пальцем себя в грудь. — Как сюда ножом доберешься? А если вот тут засел, в черепке? Голова не орех, раскалывать не станешь...

— Хорошо. Я понял, — согласился Николай. — Тогда как же мы вычистим мусор из всех закутков?

Ожигалов ответил не сразу, сначала отыскал завалявшуюся в ящиках стола пачку папирос в мягкой упаковке, наладил настольную зажигалку — большой агрегат, преподнесенный комсомольцами на память о читательской конференции по его книжке «На фронт и на фронте».

— Да, браток, вот бы ладно, если бы вместо человеческой головы мы имели дело с обычной лабораторной колбой, а в ней дистиллят. К сожалению или к счастью, нет таких сосудов. Я тоже мутный. Стоит меня покрепче встряхнуть, и поднимется муть, осадок. Иной раз чувствую в самом себе столько грязи!.. И какое-то неприятное честолюбие сидит во мне: люблю, чтобы мне на собрании хлопали подольше, чем положено, зависть появляется к более преуспевающему товарищу, а то и подозрительность. Бывает, к рюмахе потянет. Придет Жорка, пахнет от него шашлыком и водкой, глядишь, и у самого под ложечкой засосет. Трахнул бы пару рюмок, ан нет: Настя, детишки, как скворчата... Гаснет тогда во мне пьяница, поднимается завистник; немец-то в сумке колбасу несет, целую палку, головку красного сыра, бутылка торчит, запаянная сургучом... Давай-ка разберемся с тобой в этом вопросе. Не очень торопиться?

Николай никуда не спешил. Дома делать нечего, а Наташа сегодня задерживалась.

— Не откажусь, Ваня. — Николай, как и многие, называл Ожигалова по имени и по комсомольской привычке на «ты». — Не раз слышал я разные кривотолки насчет формирования личности для грядущего общества. Выражались и сомнения. Фамилий называть не буду, ты сам говоришь об отрывке подозрительности.

— И не надо называть. — Ожигалов шутя поднял руки вверх. — Избавь! Толковать надо масштабно. В армии учили тебя составлять

маршрутную карту?

— А как же, вычерчивали на планшете. Все признаки местности проверяли визуально, составляли кроки, учитывали уклоны, спуски, болота, горелый лес...

— Ладно. Значит, учили. Давай-ка проверим маршрут. — Ожигалов пошарил в нижнем ящике стола и вытащил, оттуда затрепанную книжку, с удовольствием перелистал ее, шепотком перечитывая кое-какие подчеркнутые места.

«Ишь ты какой! — похвально думал Николай. — А дома картошку варишь, за керосином бегаешь».

— Вот, отличнейшие мысли! — Ожигалов приятно улыбнулся. — Придется при диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинять их... — тут Ожигалов взмахнул рукой и повторил с жестким выражением на лице, — подчинять их всех пролетарскому государству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции... — Он встревоженно, в каком-то обрадованном изумлении проверил действие этих внешне сухих фраз на собеседника. Голос его приобрел неожиданную густоту. — Вдумайся! Чтобы подчинять, перевоспитывать и побеждать, какими нам-то нужно быть? И кто эти мы? Пролетарское руководство? А с чем его едят? Квасов тоже призван перевоспитывать! Он пролетарий! Перед его пролетарским разумом должен склониться служащий, чиновник, буржуазный интеллигент. И Ленин понимал: среди пролетариев, взявших вожжи истории в свои руки, не всякий способен на такую роль. Слушай. Не хочу переверять. Ленин рекомендовал «перевоспитать в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями».

Ожигалов закрыл книжку, положил на нее руку — сильную, рабочую, с утолщенными суставами и твердыми выпуклыми венами.

— Нужно избавляться от предрассудков и приобретать новые качества. — Ожигалов достал червяк, изготовленный Квасовым. — Такую вот штуку не хуже может сделать и рабочий Генри Форда. И Форду безразлично, с ненавистью или с вдохновением сделал это его рабочий. А мы радуемся Квасову. Рвач, забулдыга, каким его пытаются мне представить, — и вот подожди же, помог! — Если Парранский рассматривал вопрос со стороны,

Ожигалов считал воспитание сознания своим собственным беспокойным и важным делом. — Партия этим и должна заниматься, Коля. А мы все лезем в планы, в проценты, даем советы там, где сами не понимаем ни уха, ни рыла. А нашего человека воспитывают в пивных, в забегаловках, в... банях. — Ожигалов прижмурился: — Перцовку уважаешь?

— Перцовку? — Николай густо покраснел. — Начал о твердокаменном, а перешел на жидкость... Расцениваешь перцовку как мелкобуржуазный предрассудок?

— Не знаю, на какие напитки налегает мелкий буржуй, а формированию классового самосознания перцовка вредит, особенно в компании с мастером... Распитие водки с мастером досталось нам, браток, в наследство, без всякого нотариального оформления. Только имей в виду: раньше рабочий подпаивал мастера из рабского страха, из-за копеечной выгоды. Мастер мог накинуть ему лишнюю копейку, и для рабочего мастер был не только приказчиком хозяина — богом был мастер. А теперь?.. Зачем же угодничать? Ты слепо не тянись за Жорой. О нем придется повести отдельную беседу, не миновать, только в обиду его из-за пустяков не дадим. Нам он дорог. И ты нам в этом помоги... Если мы индустрию создадим, а живого человека оставим в прежнем виде, грош цена нашей индустрии! Получится: «Тех же щей, да пожиже влей». Зыбко получится. Нам нельзя над собою подхихивать... Кстати, почему в партию не подаешь?

— Ну как почему? Не созрел еще...

— В армии не подавал?

— Не успел, — признался Николай и покраснел: Ожигалов задел его за больное место. — Хотя комсоргом был. В армии, знаешь, комсомольской ячейки нет, а есть группы содействия ВКП(б). Мы содействовали активно. Никакой разницы не чувствовали между партийцем и комсомольцем. По боевой тревоге давали шестьдесят патронов всем без различия... У меня есть рекомендация, из армии привез, — бюро комсомола полковой школы и полка, есть поручительство командира эскадрона. Второе поручительство... — Николай замялся, — дал мне наш бывший начальник школы, отец-командир. Честный человек, любили мы его. И вдруг ни с того ни с сего пустил себе пулю в сердце. Зашаталась рекомендация, сам понимаешь. А тут бессрочный отпуск подоспел, проводы...

Ожигалов заинтересовался начальником полковой школы, его самоубийством. Но только Бурлаков принялся рассказывать ему эту запутанную историю, как в комнату с шумом ворвался Гаслов, выставил локоть для пожатия — руки у него были грязные, и от них, казалось, еще струился дымок.

— Ванька, опять ковкий заporоли!

Усы Гаслова дрогнули, блеснули крупные зубы. В глазах сгустилось тревожное выжидание, а брови, сдвинутые к переносице, придали его лицу мрачное выражение.

— Видишь, как человек переживает, Колька!..

— Ковкий заporоли! — повторил Гаслов надрывно и закашлялся. Под спецовкой запрыгали лопатки. Сплюнув в форточку и вытерев усы куском промокашки, Гаслов потихоньку пришел в себя и рассказал, почему не удалась плавка и чугуна, взятый на анализ, рассыпается, как стекло. — Вязкости нет! Я говорил красавчику, а он свое... Нужно было добавить... — и Гаслов невнятно пробормотал названия неизвестных Бурлакову компонентов, которые могли бы решить успех.

— Ладно, Гаслов. Скажи лучше, какого красавчика ты имеешь в виду?

— Отто, конечно.

— Раньше русаку англичанка во всем вредила, теперь — немец. Ладно, приду в цех, разберусь. Парранскому звонили?

— Зачем? Что, мы сами не выправим? Было же решение бюро освоить ковкий...

— Так... Если есть решение бюро, значит техническую мысль к чертовой бабушке? — И Ожигалов в горячах прикрикнул на Гаслова. — От тебя я другого ждал, член бюро. Тебя прикрепили к литейному цеху как организатора, от партии прикрепили, чтобы был строгий порядок освоения. Тебе незачем, Гаслов, в рецептуру лезть всей пятерней. Ты же медник! Много ты в литье, тем более первоклассном, понимаешь? Смотри! Учись! Вникай! Иногда дыши в одну ноздрю.

— Теперь я над литейным начальник... И не кричи на меня. У меня тоже глотка луженая.

— Вот на что партия нервы тратит, — сказал Ожигалов спокойно, будто и не срывались у него резкие слова и не кипело в душе. — Иди, Гаслов. Только скажи ребятам, чтобы не бросались на Отто. Бывают неудачи. Отпугнем его от экспериментов, он перейдет на стабильность. На кой черт тогда он будет нам нужен? За него золотом платим. Хлеб у своих детей отнимаем. Поласковой с ним, поласковой.

Гаслов тоже притих, поощрительно покашлял, выпил стакан воды и унес вместе с собой кислые запахи плавилки и остуженный гнев.

— Ты-то бываешь у немцев, Николай?

— Бываю... Иногда...

— Чураешься или сближаешься?

— Стараюсь не чураться и не особенно сближаться.

— Ради спокойствия?

— Во избежание подобных вопросов, — сухо ответил Бурлаков, еще не понимая, в какую западню затягивает его Ожигалов.

— А ты не чурайся. Будем волками зыркать на иностранных рабочих — какой толк? Если за рубеж перешагнем и понесем вместе с накопленным ныне опытом молчанку и подозрительность, как отнесется к нам международный пролетарий?

— О далеких временах ты думаешь, Ваня. Нужно сначала свои хаты крышей накрыть, а потом о других думать...

— Придется и дальше нам вести, кому же больше? Давай думать наперед! Давай думать красиво! — Он со звоном запер ящички, сунул ключи в задний карман широких суконных штанов. — Думай обо всем крупно, Колька!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Если думать обо всем крупно, как советует Ожигалов, то не стоит обращать внимания на странно возбужденного Жору Квасова, явившегося встречать Марфиньку в невероятно расфранченном виде. Подумать только, какой шик: с букетом желтых роз!

Почему Жора так постарался? Для чего розы, до синевы выбритые щеки, свежая стрижка густых смоляных волос? Да и вообще, для чего такая торжественность? Неужто этому «кавалеру» мало его побед?

— Зря так фасонисто разоделся, Жора, — сказал ему Николай. — Сестра у меня деревенская, придет с мешками, узлами. Смутишь ты ее своим видом.

— Какой у меня вид! Перестань! — Жора смеялся, довольный произведенным впечатлением. — А ты учти: сестра твоя приезжает в Москву, а не в какой-нибудь городок Замухрышин. Ты-то хорош, братец! Пора уже это галифе с кавалерийскими леями сдать сборщику утильсырья, да и гимнастерку заодно...

Пошутили, посмеялись, подозрения испарились, и приятели сумели встретить Марфиньку в хорошем настроении. Марфинька действительно приехала с узлами; был при ней и мешок, перетянутый надвое: в одной половине картошка, в другой — сухари. Хороша она была необыкновенно! Жора залюбовался девушкой. Не пропали для Марфиньки попусту бессонные ночи, проведенные за швейной машинкой, выпрошенной у подружки. Из куска пестрого ситца, обмененного на куриные яйца в лавке потребкооперации, она сшила себе вот это платье. Впервые Марфинька ослушалась мать и отказалась ехать в старье.

Теперь она вполне была вознаграждена за все свои страдания удивленными взглядами шикарного Жоры Квасова, и одобрением брата, и собственным самочувствием. Она не знала, как полагается нести букет роз. Можно ли прижать их к груди? А может, надо опустить в них подбородок и губы и искоса поглядывать на Жору, поцеловавшему ее при встрече? Он и не догадывался, что это был первый в ее жизни поцелуй мужчины.

Марфиньку преследовали и волновали его жадные, бесстыжие глаза. Зачем он так уставился на нее? Или что-то не в порядке в ее прическе? Может быть, глупо появиться с бантом в косе? Но сколько потрачено труда, чтобы красиво вплести эту широкую атласную ленту!

Будто случайно, из-за тесноты в трамвае, Жора старался прикоснуться к Марфиньке. Она чувствовала то его плечо, то руку; и ей приходилось лукавить, хмуриться, отстраняться, чтобы не сознаться себе самой, что это ей приятно.

От остановки поднимались в гору по узкой улице с размытыми тротуарами и облупленными фасадами старых домов. Сгущались поздние весенние сумерки. Впереди, на взгорке, задержались пышные вишнево-золотистые краски заката.

— Смотрите, как красиво! — воскликнул Жора и остановился возле Марфиньки. — Специально в честь вашего приезда небо устраивает такую иллюминацию...

— Хватит, Жорка! — буркнул Николай. — Не забивай ей голову. Пойдем быстрее. На, потащи-ка мешок, у меня спина взмокла.

— Давай, давай, — охотно согласился Жора. — Для Марфиньки что угодно, пусть только прикажет. Ивана Великого на себя взвалю!

— Брось трепаться! — Николай помог взвалить на плечи приятеля тяжелый мешок, а сам подхватил пару узлов и знакомый солдатский сундучок — с ним отец ходил на немца в четырнадцатом году.

Хозяйка встретила их приветливо. Особенно почтительно она обращалась к Жоре Квасову. В квартире было две комнаты; одна из них, узкая и длинная, предназначалась для Марфиньки.

— Столик поставили, хорошо, — похвалил хозяйку Квасов. — А вот окно давно пора перевести на летнюю форму одежды. — И он распахнул его, с треском разорвав бумажную оклейку.

С высоты второго этажа хорошо видны были железные крыши с впадинами проржавевших ендов.

Хозяйка подобрала бумажки и вышла согреть воды.

— Хозяйка завоевана полностью. Учти, Коля: за три месяца вперед заплачено. Возьми с нее расписку. Хоть и крещеная барамбуля, с лампадкой, а во избежание всякова Якова...

— Зачем ты?

— Требовала, и ни в какую! Не волнуйся. Теперь я перешел на червяки. Золотое дно эти червяки, Коля! Лучшего подарка не ожидал от Мити Фомина. — Квасов причесал свои вороньи кудри и, посмотревшись в карманное зеркальце, нагнулся и что-то шепнул Николаю на ухо.

— Конечно, иди, — обрадованно разрешил Николай. — Что же ты раньше молчал? Нет, нет, только никаких приветов ей от меня не передавай.

— Имею честь откланяться, Марфинька. — Жора задержал ее протянутую лодочкой руку, пожал крепче, чем положено. — Братишка

расскажет вам, как я любовался вами на фотокарточке. Такая вы там...

— Симпомпончик, — добавил Николай.

— Нет. Симпомпончик остался на карточке. А в жизни вы замечательная прелесть, Марфинька...

— Убирайся, Жорка! — оборвал его Николай. — Каждой встречной это самое болтаешь.

— Не путай свою сестренку с каждой встречной.

Когда Квасов ушел, Марфинька присела на кровать, усмехнулась краешками влажных губ.

— Красивый он какой.

— Что ты в нем нашла? Цыган и цыган.

— Веселый, широкий. — Марфинька развела руки. — Смотри: ушел — и сразу пусто. — Спohватившись, обняла брата за плечи, притянула к себе. — Нет, нет, это мне показалось.

Они сидели на кровати у раскрытого окна. Тихо, будто умирающая ночная бабочка, шелестела сухая бумажка на раме. Темными волнами скатывались железные крыши, оживленные страстным мяуканьем сытых городских котов, вышедших на свидание.

Ни брат, ни сестра много не говорили о родителях. Обсудив мимоходом их незатейливые заботы, перешли к своим непосредственным интересам. Молодость нетерпелива. Не они первые, не они последние откалывались от родителей, забывали об их тревогах и заботах, скучая, иногда вспоминали их и организовывали новые ядра для будущего и естественного их распада. Николаю сейчас ближе всего была судьба сестры, которую он взял на свое попечение; ей — желтые розы и сильный, веселый мужчина с курчавыми волосами, подаривший эти розы.

Марфинька с покорностью, но невнимательно слушала брата.

Он говорил ей, что жизнь в городе нелегкая. Хотя он ни одним словом не обмолвился о своем друге, все же нетрудно было понять, что от него в первую очередь остерегает брат. Но это предупреждение произвело обратное действие, как ни старалась Марфинька соглашаться с братом.

Хозяйка накрыла в своей комнате на стол, включила две лампы.

— У меня вы будете, Марфуша, как у Христа за пазухой, — уверяла старушка, исподлобья поглядывая на молодого человека, который удивлял ее своей серьезностью и настороженностью. — И вы не беспокойтесь, Коля: усмотрю за ней, напою чайком, на работу разбужу, буду, как мать родная...

Николай ушел в одиннадцатом часу, унося с собой сверток, присланный матерью: там были домашние пышки и кусок свиного сала.

Смутная тревога по-прежнему не покидала его. Марфинька здесь в одном с ним городе, а ему казалось, что она дальше, чем в Удолине. И было такое чувство, будто он потерял сестру, встречи с которой так ждал.

Когда ушел брат, Марфинька нагрела воды, вылила ее в корыто и стала мыться. Приотворив дверь, хозяйка протянула чистое полотенце, а потом, протиснувшись в комнату, принялась ахать и охать, рассматривая крепкое, красивое тело Марфиньки.

— Запомни, девочка, — пришептывала старуха, — ненадолго твоя красота, ненадолго. Девушка — что мотылек. Попорхает годика два-три — и, глядишь, обожгла крылышки, и тело завяло, и куда все делось...

После таких причитаний она унесла розы, чтобы поставить их в вазу. Некоторое время еще слышался в соседней комнате ее голос.

Пока все складывалось удачно, и на ту самую горку, на которую разные люди пытаются подняться разными путями, Марфинька взобралась легко, не производя сделок с совестью. В этот первый день ее городской жизни она крепко поверила в свое будущее, не зная еще, какие испытания оно ей сулит.

Вытянувшись под одеялом, Марфинька закинула руки за голову, закрыла глаза и стала думать о Жоре; и ей было и приятно и стыдно.

Откуда-то издали докатились непонятные звуки, похожие на раскаты грома. Марфинька закрыла окно, думая, что надвигается гроза.

— Не пугайся, Марфинька, — услышала она из-за двери голос хозяйки. — Тут зоопарк недалеко. Третью ночь лев кричит. Соседи справлялись: заболел, говорят. Спокойной ночи!

Марфинька свернулась калачиком. Она пыталась представить себе больного льва, бродившего на мягких лапах и кричавшего через железные толстые прутья клетки холодному городу о своей боли.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Рабома» — многошпиндельный сверлильный станок иностранной марки. На нем обрабатывались крупногабаритные детали, и на «Рабому» ставили физически выносливых девчат, еще не изношенных на производстве. Зарабатывали на «Рабоме» больше. После вертикальных, хилых сверлилок, будто в наказание согнанных в самый темный угол цеха, «Рабома» с ее солидной тумбой, пестрой расцветкой, желтыми шлангами казалась Марфиньке верхом всякого совершенства.

За неполных два месяца добиться «Рабомы», суметь войти на равных правах в технологический процесс — это было победой Марфиньки, свидетельством не только ее физической выносливости, но прежде всего самоотверженной, безропотной старательности. Есть люди, которые равнодушно или с отвращением принимают за ежедневную работу и не испытывают радости от труда. Не каждая из цеховых работниц могла бы ответить, как Марфинька: «Я обожаю свой станок. Мне так нравится работать!»

По счастливому совпадению, «Рабома» стояла рядом со станком Квасова. Каждое утро Марфинька торопилась на работу, будто на свидание. Далекий гудок — его сразу отличишь среди десятка других — заставал ее умытой и причесанной. По деревенской привычке она поднималась рано, успевала справиться все свои домашние дела и бежала на завод.

Вначале Марфиньке было нелегко. И не потому, что мир города сложнее мира деревни, не потому, что привычная земля здесь обезображена камнем. Ее угнетал ритм городской жизни, постоянное движение сотен и тысяч внешне равнодушных людей. Ни одно лицо в толпе не запоминалось ей, старые впечатления вытеснялись новыми, вереницы людей вертелись перед ней, как колесные спицы, такие же одинаковые и безразличные.

Удручающе бесстрастно рокотали цехи. Люди равнодушно властвовали над механизмами, подчиняя их себе, как казалось Марфиньке, с единственной целью: получить благодаря им кров и пищу. Почти все говорили только о деньгах, подсчитывали, тянулись до получки; денег не хватало, занимали друг у друга грошовые суммы. У рабочих было, как и у крестьян: только здесь все размечено заранее, на работу не влияли ни дождь, ни град, ни заморозки. Интересы бригадиров не шли дальше процентов выполнения плана и норм.

Квасов помогал Марфиньке освоиться в цехе, поставить тяжелую деталь, веселил ее шуточками. С ним было легче, чем с другими. И Марфинька невольно продолжала тянуться к нему, в ней просыпалась женщина.

Вот утро. Марфинька, освеженная сном и быстрой ходьбой, идет от широких дверей. На щеках ее играет здоровый, яркий румянец. Еще нет грохота и визга, еще не пустили станки. Проходы между ними напоминают раскатанные рулоны толя, в смолистую поверхность которого впрессована ногами и колесами тележек мелкая стружка. Солнце проникает в окна, и стружка поблескивает.

— Марфута, ты опять тут? — издали выкрикивает Жора и идет навстречу широкими шагами, улыбается ей, только ей, будто у него и нет никого на свете, кроме этой растерявшейся девчонки.

— Ягодка, умница! — говорит он, задерживая ее руку, чувствуя свою власть над этим простодушным существом. — Какая ты прелесть, Марфинька! Синева под глазами. Обожаю до смерти такие глаза!..

Все шаталось вокруг Марфиньки.

— Жора, пустите, — шепчет она похолодевшими губами, — мне пора.

— Радость ты моя, девочка, не бойся, не дрожи, пойдем рядом. Я хочу так!

Выметенный, проветренный после ночной смены цех сохраняет крепкие запахи смазочных масел, эмульсий, пригаров. Так же пахнут спецовка, руки, волосы. Теперь никуда не денешься от этих заводских примет.

— Жора, не надо... — Марфинька задыхается. — Увидит Коля, заругает меня. Идите рядом, только не держите мою руку...

— Хорошо. А что, если я заскочу к тебе на часок?

— Нет, нет! Что подумает хозяйка?

— Хозяйку отправим в Театр Мейерхольда, пусть посмотрит «Командарм номер два».

— Не шутите, Жора. У вас есть симпатия, зачем я вам нужна?

— Марфинька, возле тебя все мои симпатии гаснут... Прийти?

— Нет, нет! Ни за что!

Марфинька стоит у «Работы», стараясь не смотреть на Жору. Ее щеки по-прежнему горят. Она надевает нарукавники, поправляет обшлага, натягивает резинки выше локтей, завязывает косынку.

Вигоневая кофточка слишком туго обтягивает ее грудь. Марфинька кожей чувствует на себе взгляд Квасова и старается держаться к нему спиной.

Желтый шланг шипит сжатым воздухом. Сменщица оставила грязь на станке. Сменщица — молоденькая девчонка, милая фантазерка. Она мечтает попасть в Арктику и забывает об уходе за станком. Марфинька не обижается на нее и быстро, ловко протирает «Работу» тряпичными концами. К аккуратности Марфиньку приучила мать, и теперь она благодарна ей.

«Рабома» визжит всеми своими сверлами. Летит мельчайшая сизая пыль, и горячие ее крупинки бьют по коже. Конструкторы и разметчики упростили и облегчили труд Марфиньки, однако и самой нельзя теряться. Надо устанавливать в гнездо громоздкие детали, корпуса каких-то хитрых приборов, следить за сверловкой, за подачей охлаждающейся смеси, вовремя включить, побыстрее снять.

Все ее существо напряжено, и она занята только работой, посторонним мыслям нет места. Сосредоточенное выражение не покидает теперь лица девушки, делает ее некрасивее и старше. Шипит, повизгивает «Рабома», хотя ее непрестанно омывает эмульсия, похожая на молоко.

Квасов тоже увлечен работой, несмотря на то, что он давно уже не испытывает ощущений, во власти которых находится Марфинька. Квасов ценит станок и готов наложить по заливке любому новичку, не умеющему обращаться с оборудованием. Станок кормит и поит. С хорошим станком легче жить, меньше забот и простоев. Сейчас отлично идут червяки, и этот заказ никому другому не попадет в руки. Фомин приблизительно прикинул норму: на червяках можно заработать неплохо. То, что накаляли о Жоре в стенгазете, — на это наплевать и забыть. Пусть тешится писучая братия, пусть превозносят его энтузиазм. Отлично ведут себя новые фрезы, их приходится держать под замком, на ящичке — собственные запоры, не подберешься, как к сердцу. Фрезы могут повысить норму, а если придумать приспособление... хотя нельзя сразу раскрывать все секреты. Надо сначала затвердить норму, установить твердые расценки, а потом уже дать выработку. Надо обхитрить администрацию, которая не ест и не спит, соображая, как бы облапошить рабочий класс...

Квасова не обманул его темный инстинкт. В цехе — Наташа, и, как всегда, карандаш ее остро отточен, а хронометр выверен чуть ли не по Пулковскому меридиану.

Наташа выбрала удобное место для наблюдения. В ее руках фанерка, на ней хронометражный лист, на котором заранее расчерчены графы учета инструмента и приспособлений, остановок и задержек, элементов работ и фиксажных точек, числа оборотов и глубины резания, скорости подачи и тому подобные тонкости.

Все заранее продумано для атаки на рабочего. Так, убежденно и все больше накаляясь, думает Жора Квасов. Если дело обстоит иначе, как пытаются его убедить, тогда зачем она подбирается втихую, зачем следит издали, зачем хитроумничает?

Многое из того, о чем думает Квасов, известно Наташе. Квасов не только «темнит» и путает карты сам, но и держит в руках многих рабочих. Охота ведется не один день и не всегда успешно. Жоре легче ускользнуть, вывернуться: ему известны все омуты и захоронки. Наташа действует почти в открытую. Ее наивная тактика мгновенно разгадывается. Посоветоваться почти не с кем. Фомин сам юлит. Заведующий тарифно-нормировочным бюро подхихикивает; не поймешь, действительно ли ему по душе все эти затеи по снижению себестоимости, если заказы сыплются, как из мешка, и денег не жалеют? Можно бы работать с холодком. А вот не дает покоя Наташе собственная совесть.

Комсомольцы решили снизить себестоимость серийных приборов и не позволять расшатывать нормы при освоении. Наташа обещала собранию, и надо выполнять данное комсомолу слово.

Она почти уверена, что сегодня как бы схватила конец ускользавшей нити. Сверхтвердые сплавы для резцов вдвое, а то и втрое подняли выработку отдельных рабочих. Если оставить прежние нормы и расценки, победа сталеваров не даст ровно ничего, родник уйдет в песок.

Квасов настроен по-боевому. Все лишнее отброшено. Перед ним тайный враг. Он хищно подкрадывается, зажимая в пальцах с розовыми ноготками хронометр; на нем бежит по кругу тонкая стрелка, подстерегающая каждое его движение.

Тонкая стрелка — это стрелка, летящая в него, чтобы убить его стремления и желания. Она может лишить его возможности жить с размахом, может загнать его в узкую норку.

В шуме цеха происходит один из незримых поединков, где сразу и не определишь победителя. Квасов наловчился сражаться. На помощь ему приходят десятилетия опыта, передаваемого от поколения к поколению.

«Темнить» можно по-всякому: лучше всего сбавить обороты и подчинить станок другому ритму. Даже самому неприятно, так бы и залепил себе в ухо. Руки утрачивают ловкость и красоту. Напряжение всего организма падает, как обороты мотора на гнилом токе. Наташа опускает фанерку, смотрит на Жору с сожалением и медленно идет к нему.

Квасов раздраженно выключает станок.

— Что случилось?

— Не пойму, барахлит...

Когда она уходит, он говорит ей вслед тихо, но так, чтобы она слышала:

— В другой раз будете иметь бледный вид. Не обожаю, когда мне мешают. — А потом кричит ей: — Прошу вас, детка! Не откажите крикнуть наладчика!

Жора понимает гнусность своего поведения и угроз. На душе становится кисло. Поблизости нет никого, с кем можно было бы перекинуться словом. Девчонка у «Работы» — не для таких разговоров. Нельзя поделиться и со Старовойтом, подозрительно наблюдающим за ним. Что он лопает, что он пьет, поди разберись! Ему и мякины хватит, лишь бы кормушка надежная. Щепкой пришел на фабрику, таким же кощем унесут каблуками вперед. Такие его не поймут. Из молодых тоже пошли чудачки. Взять хотя бы Степанца, недавнего фабзайца; два талона на обед получает, ударник. Есть на плечах овчинка — и рад до смерти, лишь бы прицепить значок КИМ.

Какие бы Жора ни придумывал оправдания своему поведению, на душе не становится легче. Он чувствует зависть к нетребовательности этих людей, к их стойкой вере. Вспоминается дед, его черная курчавая борода и картуз с большим козырьком; такими показывают теперь рабочих старого времени в плясовых ансамблях. Дед верил в бога и ходил в церковь читать Евангелие. Возвращался тихий, покорный. Однажды удалось пробраться вслед за дедом в церковь. Толстая книга в серебре, с ленточками между страниц лежала на парчовом аналое. В церкви горело несколько лампад. Дед приносил с собой заранее купленную толстую свечу, зажигал ее от лампы и при свете читал Евангелие странным гнусавым голосом, каким отпевают покойников. Потом гасил свечу, уступал место другому чтецу, а огарок отдавал сторожу, неказистому мужичонке в ботфортах, подаренных отставным гусарским офицером. Сторож продавал огарки малярам — воск добавляли в краску, а также торговал голубями, гнездившимися на колокольне пятиглавой древней церквушки. Ныне она закрыта на засовы, обветшала и вплотную обросла пивными ларьками.

Пока наладчик тщетно ковырялся в станке, Квасов сидел на корточках и смотрел, как истово работает Марфинька и какие у нее красивые ноги.

По цеху шел Фомин в кожаном картузе козырьком назад, в коротком, до колен, молескиновом халате. У Фомина легкая, невесомая походка и почти не покидающая изуродованного лица улыбка, обнажающая редкие зубы. Квасов иногда пробовал разобраться в Фомине и всегда забредал в тупик.

Подойдя к станку, Жора включает его, кивает головой наладчику,

засовывает ему за уши две папироски.

В это время Фомин ведет острый и тонкий разговор с нормировщицей. Она не поддается его обработке, несмотря на всю его изворотливость.

— Наташа, учти самое принципиальное, дорогая: пока серия координаторов не в безупречном ритме, могут быть заскоки, отклонения. Лучше бы не нервировать рабочий класс...

— Не понимаю, товарищ Фомин.

— Разъясню... Ты у кого живешь?

— У тети. Вы же знаете.

— Знаю... Живешь под тетиным крылышком. На рынок не ходишь, цены не изучаешь, картошкой не обжигаясь...

Поучительный тон и неожиданный поворот в разговоре застают Наташу врасплох. Возражать Фомину бессмысленно. Он сознает свое превосходство и пользуется им безошибочно. Фомин — член партийного бюро, один из трех орденосцев завода.

Большинство рабочих горой за Фомина. Дирекция считает его знатоком своего дела и крепким организатором. Новые приборы обычно проходят через его руки. Механические цехи — основа любого машиностроительного завода. Фомину доверяют такую важную работу, а вот Наташа не находит с ним общий язык.

— Твой отец был рабочий. — Фомин помогает Наташе обойти болванку. — Твой отец порвал себе сердце возле наковальни. Береги рабочее сердце, Наташа...

— Зачем вы обижаете меня?

— Береги сердце рабочего класса, — каким-то гробовым голосом повторяет Фомин.

Ему ничего не стоит спокойно уйти, оставив Наташу в смятении. И все же она помнит, что обещала Николаю прийти. Сегодня она приглашена в кино «Ша-Нуар». Молодость порой совсем нелогична. А потому, возясь с косичками, Наташа быстро забывает о Фомине. Косички слишком молодят ее. Иногда на улице ее называют девочкой. Придется связать их вместе, чтобы они не торчали, и вместо подростковых туфель на низком каблуке надеть замшевые лодочки — единственное свое богатство, приобретенное в результате сложных комбинаций с зарплатой и сверхурочными.

Николай терпеливо поджидал Наташу на крыльце старинного дома, откуда видны заводские ворота. Давно уже забили парадные двери этого дома, и жильцы пользовались черным ходом. От прежних архитектурных ухищрений сохранился навес над крыльцом с железными столбами, упиравшимися в бровку тротуара, и стесанные временем каменные

ступеньки, служившие удобным местом для ожиданий. Молодые люди обычно поджидали здесь своих подруг, курили, дожевывали остатки хлеба. Вокруг валялось много окурков.

— Я не помню, когда была в кино, — признается Наташа и предлагает идти пешком. — У нас есть еще время. Ну-ка, покажите билеты, когда начало. Конечно, у нас много времени.

Они переходят шумную площадь с заброшенным фонтаном и сразу попадают на тихую улицу, где нет ни трамвая, ни грузовиков, ни толпы. После завода остро чувствуется сладкий запах цветущих лип, и первое время хочется молчать, дышать этим крепким настоем.

Особняки посольств с зашторенными окнами и безмолвием заасфальтированных дворов, львы и орлы на вывесках, похожих на щиты рыцарей, легко и бесшумно выезжающие черные машины с безупречно одетыми спокойными и надменными людьми вызвали у Бурлакова двойное чувство: какой-то странной растерянности и глухой ненависти. В особняках жили, вероятно, красиво и безопасно. Посольские дети, привезенные в Россию, не были похожи на детей соседних дворов, голоштаных, крикливых и нервных. Посольства могли смотреть свысока и брезгливо на эту обстановку внешне беспросветной нужды. Очереди и авоськи. Рано постаревшие лица женщин, невеселое веселье молодежи, подвыпившие мастеровые с пустыми бутылками, болтавшимися в матерчатых штанах. Для победы нужны отчаянная смелость, суровый расчет и одновременно фанатичная вера. Неизвестно, сколько еще будет принесено жертв, кому возрадуются и кого оплачут. Зато известна задача: несмотря ни на что, надо одержать верх над ними, положить их на лопатки...

Еще одна машина с флажком выскочила из решетчатых ворот и понеслась между липами. Мелькнули в окне профиль утомленной немолодой женщины и узкий затылок сидевшего позади седого мужчины.

— О чем вы думаете? — спросила Наташа.

— О них... — Он указал вслед посольской машине. — Понимают ли они, что мы их победим?

Наташа ответила так же серьезно:

— По-моему, нет. Иначе они не были бы так спокойны.

Теперь Николай и Наташа шли по бульвару, и мокрый песок поскрипывал под ногами. На каблуках Наташа казалась гораздо выше, короткая юбка открывала ее стройные ноги, а белая кофточка выгодно оттеняла цвет темных волос. Вероятно, она самая обыкновенная девушка: на нее не заглядывались прохожие, не оборачивались. А вот для него она

лучше всех, хотя он не наделял ее выдуманными совершенствами и принимал такой, какой она была.

В киоске на Тверской продавали сладости. Искусно подсвеченные электрической лампочкой, леденцы имели привлекательный вид. Они были дешевле дорогих конфет, за цену одной шоколадки можно купить маленький кулек леденцов. И вовсе не имеет значения, что покажут на экране. Лишь бы побыть рядом одним... Замелькали первые кадры, и сразу утих плеск голосов, всегда читавших заглавные титры.

— Ната Вачнадзе! Я безумно люблю ее.

— Угощайтесь, — Николай протянул кулек.

— Обождите, ведь Ната Вачнадзе...

— Возьмите. Ната Вачнадзе не обидится.

— Хорошо. — Она потянулась рукой в кулек, продолжая следить за экраном. — Ландрин? Я не люблю ландрин.

— Это леденцы, а не... ландрин, — только и мог возразить Николай, впервые услышав это слово.

Николай с ожесточением засунул кулек под перекладину стула.

Когда напряжение действия погасло и Ната Вачнадзе предавалась скучным мечтам, Наташа вспомнила о конфетах и решила исправить свою бестактность.

— Дайте мне ваш ландрин, Коля, — шепнула она возле его уха и протянула руку ладошкой-кверху.

Ее волосы щекотали его ухо, их дыхание смешивалось, обнаженная рука Наташи прикоснулась к его руке, и он знойно ощущал ее прохладную гладкую кожу.

— Нет ландрина. — Николай презирал себя за глупую обидчивость. — Я выбросил ландрин... — Он с наслаждением подчеркнул ненавистное слово.

— Да? — Она отстранилась, убрала руку и тихо засмеялась. — Выбросить столько конфет может лишь крупный богач.

— Прекратите разговоры, — зашипел сидевший позади лысый мужчина в пенсне без оправы и в чесучовом костюме. — Что за молодежь пошла! Ничто ее не интересует!

— Извините, — Наташа полуобернулась, — мы больше не будем.

— Я вас прощаю, — стекла пенсне блеснули близко возле затылка Наташи. — Я многое могу вам простить за одно то, что вместо отратительного «извиняюсь» вы сказали «извините».

— Вы учитель русского языка? — спросил Николай ядовито.

— Нет. Я просто грамотный человек, не забывающий того, что он

живет в России...

После сперттого воздуха «Ша-Нуара» на улице — благодать. По-прежнему пахли липы. Два блеклых луча освещали муравейник копошившихся за дощатым забором мужчин и женщин, разбиравших кирпичные холмы монастыря, сметаемого с лица земли. Несколько калек собирали милостыню. Бдительные милиционеры не спускали с них глаз, а кое-кого из слишком рьяных кликуш бесшумно втискивали в свои машины. На любовно выписанном плакате «Ша-Нуара» Ната Вачнадзе широко раскрывала удивленные глаза. У матовых фонарей рекламы кружились ночные бабочки. Медленно плыли трамваи по узкой горловине Тверской. Спекулянты в длинных пиджаках и узких брюках предлагали «люкс-духи парижского настроения», самодельные пуговицы и кремни для зажигалок.

— Мы — плохая молодежь. Нас ничего не интересует, — Наташа повторила эти слова желчного мужчины, думая о чем-то своем.

— Вероятно, такими мы кажемся со стороны.

И они поговорили о старших с обычным для молодежи всех эпох легкомыслием и снисходительностью. В те годы упрекали стариков за то, что они слишком долго помнили кандалы и Акатуи, штурм Зимнего и поля гражданской войны, с трудом переключались с ломки на строительство, кичились былыми заслугами, брюзжали на смену. Незаметно возник в памяти Дмитрий Фомин с его темными словами о сердце рабочего класса. Наташа не могла успокоиться.

— Он просто жулик, — сказал Николай.

— Так нельзя...

— Ну, перерожденец.

— Перерожденец не станет беспокоиться о своем классе, — проговорила Наташа, еще не зная, как Николай примет ее возражение.

Николай не хотел смягчать своих оценок. Если вдуматься, заботы Фомина о своем классе только унижают его.

— Наташа, вы знаете, что в цехе идет война, постоянная, почти не утихающая? — Она утвердительно кивнула. Николай продолжал с прежней запальчивостью: — Рабочих заставляют темнить... — Она снова кивнула. — Нормировщик — будто тормоз. Стоит ему появиться, как сразу снижаются обороты, резцы отдыхают, мускулы расслабляются.

Наташа вздохнула, и морщинки сбежались на ее лбу.

«Как бы ей оказать, чтобы не морщила лоб? — подумал Николай. — Она становится другой, дурнеет».

Наташа взяла его под руку.

— Давайте сядем в трамвай? — предложил Николай.

— Зачем же здесь? Мы почти дошли до Садовой-Триумфальной. Оттуда на пять копеек дешевле. Еще сто шагов, и мы заработаем целый гривенник. Если хотите, я могу идти быстрее.

— Эка невидаль гривенник! — Николаю захотелось казаться расточительным. — Гривенник ничего не решает.

— Решает... иногда. Вы знаете, в тот день я потеряла гривенник на обратный проезд. И мне пришлось идти пешком до самого Всесвятского.

— Пешком до Всесвятского? Зимой? У вас не было теплых ботишков.

— Да, пешком. Я страшно озябла. Не могла же я просить у кого-нибудь незнакомого. А вы куда-то исчезли.

— Да... — Николай мгновенно потух. — Я тоже запомнил тот день... Все же, Наташа, в другой раз будьте аккуратней. Не то я вас...

— Другого раза еще не было, — сказала Наташа. — А в тот раз — я не жалею. Я даже помню, как покатился гривенник. Но я не успела его поднять, нужно было перевести через улицу пожилую женщину. Конечно, вы помните — ту самую, с коровой? Над которой так глупо смеялись...

Испытание было слишком жестоким. Любые слова застрянут в горле, не помогут ни раскаяние, ни откровенность. Заглаживать вину нужно по-другому, а как, решить ужасно трудно... Если бы Наташа знала правду, она не тянулась бы сейчас к нему, не опиралась бы на его руку с такой доверчивостью.

Рана еще не зажила, к ней нельзя прикасаться. Это не слабость характера, не желание утаить. Надо сохранить установившиеся отношения. Впоследствии он скажет, только не сегодня.

На Садовой-Триумфальной скопились машины. Долго держался красный свет светофора. Совсем близко, притормаживая, прошуршала машина «рено», втиснувшись между красным трамваем и серым рысаком с наборной сбруей. Остро запахло конским потом, взмыленной шерстью и дегтем.

И вдруг будто камнем кто-то стукнул в грудь — Николай через наполовину открытые квадратные стекла увидел пассажиров «рено». Марфинька! Она тесно прижалась к Жоре Квасову, а тот курил, положив ногу на ногу, и ладонь держал на колене Марфиньки. Эта хозяйская, властная поза говорила о многом. Сомнений быть не могло. Квасов не сдержал своего слова... Зажегся зеленый свет, и машины ринулись вперед. Заискрились волчьи зрачки стоп-сигналов.

— Что с вами? — спросила Наташа. — Что случилось?

— Ничего.

Потерянный вид Николая вызывал не подозрения, а жалость. Он не

умел скрывать своих чувств. Глубоким женским чутьем Наташа поняла, что необходима ему. Она на себе испытала, как тяжело оставаться наедине со своими мыслями. А вдруг она сумеет помочь?

— Хорошо, я расскажу... — Николай еле шевелил губами. — Мне необходимо посоветоваться, хотя не знаю, помогут ли теперь советы...

И он рассказал о Марфиньке, которую Наташа видела на заводе, о Квасове.

— Успокойся, Коля. — Наташа провела ладонью по его лицу.

Впервые назвав на «ты», она стала убеждать его не принимать опрометчивых решений. Зачем сейчас разыскивать сестру? Это всегда оскорбляет женщину и приводит к обратным результатам. Если что и случилось, теперь не исправишь. Лучше поговорить с ней спокойно — ведь она вольна в своем выборе.

— У Квасова уже есть одна... — вырвалось у Николая, и, стараясь не щадить себя, он рассказал об Аделаиде, утаив только то, что могло оскорбить Наташу, натолкнуть ее на подозрения.

— Вы все-таки любили ее, не оправдывайтесь. — Теперь Наташа говорила с ним более сдержанно. — Женщины, такие, как Аделаида, бросаются в глаза, производят впечатление, у них смелая, бурная жизнь. Но я им не завидую. Мне жаль их... Они слишком опустошают себя. — Наташа наморщила лоб. — Таких быстро... вычерпывают. В конце концов, остается сухое дно, яма — разочарование. Вот почему я им не завидую. Марфинька — красивая девушка, поберегите ее. Только не обозляйте, не восстанавливайте ее против себя. Если она полюбила и вы станете мешать, она вас возненавидит.

Квасов дома не ночевал. Утром вышел на работу чистенький, выбритый, в кремовой сорочке и пиджаке из того удобного импортного материала, которому присвоено знаменитое название — твид.

В «рено», Николай мог бы побиться об заклад, на Жоре был коричневый с голубой искрой пиджак и белая рубаха. Если Жора успел переодеться — значит, он ночевал не у Марфиньки, а у Аделаиды. К ней он уже успел перетащить часть своих вещей.

Квасов радушно тряс руку Николаю, и на его свежем лице, в смеющихся темных глазах нельзя было прочесть никаких дурных мыслей. Николаю хотелось, чтобы все обошлось по-хорошему. Ну, проехали в машине, ну, пусть прижималась. Ребенок еще, если разобраться. Вряд ли Марфинька понимает, что хорошо, что плохо. После придется пожуричь Жору за вольности и потребовать, чтобы он не пользовался неискушенностью сестры.

В умиротворенном состоянии духа и помня вчерашние советы Наташи, Николай выбрал во время перерыва минутку и подозвал Марфиньку. Она подбежала, поцеловала брата в щеку и прижалась к нему плечом. Вот так же она прижималась и к Жоре.

— Коля, ты читал уже? — Марфинька схватила брата за руку и подтащила к стене: в одной из «молний» в числе лучших ударниц-сверловщиц была названа и Марфинька. — Коля, читай выше: «Равняйтесь на них!» Как ты думаешь, можно написать папе и маме? А может быть, после, когда повисит, разрешат снять эту бумагу и послать? Пусть узнает Михеев!

— А что Михеев? Валушка теперь все равно не вернешь никакими «молниями». Поздравляю, Марфинька. — Николай уже хотел отложить свой разговор.

Но тут он поймал взгляд сестры, устремленный на Квасова, и погасшее подозрение вспыхнуло с новой силой.

— Вчера видел тебя с ним, — сказал он.

— Где? — Марфинька зарделась с ушей, потом краска залила шею.

— Почему ты не спрашиваешь, с кем?

— Не спрашиваю... — Смущение исчезло, краска схлынула, только нервно подрагивали ноздри. Марфинька облизнула губы и вытерла их тыльной стороной ладони. На коже остались следы помады.

Только теперь Николай заметил помаду и тонкую черточку не то пореза, не то укуса на ее верхней припухшей губе.

— Лихорадка была, — сказала она, — обметало. Сорвала нечаянно.

— Зачем губы покрасила?

— Город, — ответила Марфинька без смущения, приготовившись к любому отпору. — Надо же когда-нибудь.

Марфинька и не рада была своему дерзкому ответу. По недоброму взгляду брата, по его внезапно окаменевшему лицу она почувствовала, что ей грозит опасность, и беспомощно оглянулась, ища у Квасова поддержки. Но он стоял спиной к ним, курил и, размахивая руками, разговаривал с чахоточным Старовойтом.

— Скажи ему, чтобы он больше не кусал тебе губы. И не смел катать в машине...

— Коленька, — лицо сестры вдруг просияло, — не надо так... Ни разу не ездила на машине. Впервой, Коля. Сама напросилась. Не думай о нем...

— Платить за это придется, Марфинька, — охолонувшим голосом предупредил Николай. — Обманул он тебя...

— Нет! Не обманывал!..

В изломе бровей, искрививших ее лицо внутренней болью, можно было прочесть многое, и прежде всего просьбу пощадить.

Не поняв сестры, Николай грубо прикрикнул:

— Сама, что ли?

— Сама... — От выражения страдания не осталось и следа. — Люб — и все! Ночами снился... Слышал, как кричит в зоопарке больной лев? Вот и во мне все так же кричало... Не смогла...

— Возьми себя в руки, Марфинька, — только и мог произнести Николай.

Он не узнавал сестры. Как она изменилась!.. Лучше бы солгала, успокоила его обманом. Но она не хотела лгать — слишком велико было ее первое счастье.

— Не могу с собой совладать, — Марфинька беспомощно опустила руки. — Не совладала... — Полузакрыв глаза, она с горькой улыбкой, почти беззвучно прошептала: — Не жалею, Коля, прости... И меня не жалею...

Повернулась и пошла к «Работе» уверенными, твердыми шагами.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ломакин срочно вылетал за безнарядными станками на Урал. Вместе с ним начальник спецотдела, помощник директора, отвечающий за цехи оборонного значения. Безнарядными назывались станки, получаемые по встретившейся надобности вне государственного плана. Заказчик-военвед обеспечивал формальности — письма, просьбы. Выколачивать же станки приходилось заводу. Немало мук и унижений пришлось испытать Ломакину. Промышленники на Урале кондовые, крепчайшие. Бумажка с красной звездочкой в штампе действовала на них лишь потому, что ее самолично подписал прославленный маршал Тухачевский.

В кабинете директора собрались основные «киты» завода; пили чай с кремнистыми бубликами, обмахивались газетами, вытирались платками, слушали неофициальный отчет о поездке. Ломакин был настроен демократически, пил чай с блюдечка, вприкуску, со свистом пропуская его через зубы: «Иначе чай не в чай».

— Летали мы на дрянной машине «Дорнье-Меркурии»... — Ломакин с удовольствием подчеркивал редкий в те годы вид транспорта и ради щегольства поругивал пассажирский «Дорнье», называя его и «Дарьей» и «братской могилой». — И только микрофончик, который мы взяли у Шрайбера, позволил нам без всякой отрыжки освоить воздушные просторы нашей Родины... Не понимаешь, о чем речь? — Ломакин кольнул глазами раздобревшего из-за болезни сердца завпроизводством Лачугина.

— Объясните, что за микрофончик, — склоняясь тучным телом в сторону директора, попросил Лачугин и поправил на лысой голове тубетейку.

— Микрофончик — это маленький патефон. Микромузыкальный инструмент, заключенный в металлическую коробочку, — охотно объяснил Ломакин. — Представьте, великолепная штука! Почему бы нам не освоить его в порядке ширпотреба?

Страсть энергичного директора к освоению новых приборов все знали хорошо.

— Не ради красного словца упомянул я о микрофончике. — Ломакин плутовато взглянул на уединившегося возле раскрытого окна своего спутника по странствиям, молодого, одетого в военную форму помощника; тот подтвердил слова директора кивком головы и положил ногу на ногу; от

его начищенных голенищ на противоположной стене заиграли мутные зайчики.

— Стоило нам завести «Голубую рапсодию» или «Блюз», как души уральских коллег таяли. В Ижевске мой старый дружок, директор, сразу подписал шесть станков «Леве», расчувствовался. А в Перми попался музыкальнейший руководитель завода, бывший чапаевец. Долго не сдавался на токарно-винторезные: нет, мол, готовых, станины некому шабрить, олова на заводе не хватает. Пообещал ему олова полтонны, а у самих-то нас если наберется тридцать кило, так и то хорошо. — Все заулыбались, вспомнив телеграмму Ломакина на имя Парранского об отгрузке несуществующего олова. — Путевки в Гульрипш пообещали каким-то мастерам, страдающим туберкулезом легких. Казалось, иссякли все наши резервы. Но вот появился микрофончик с «Блюзом», расчувствовался чапаевец. А когда пластинка докрутилась, посмотрел на часы, подвел нас к окну, распахнул и сказал: «Слушайте». И что бы вы думали, запел гудок, действительно запел какую-то арию, чуть ли не из Мусоргского или Верди. Слеза появилась у чапаевца в глазах, говорит: «Какая песня, слышите? Полгода отработывал мелодию один милый человек, добился. Гордимся гудком, веселит он всю Каму. Пароходы слышат и вторят ему. Сам поэт Василий Каменский приезжал на завод, прослушал и сказал: «Кабы моему Стеньке Разину такую музыку, всю Россию бы всколыхнул не только без топора, но даже без топорщица...»

Слушая «беспочвенную» речь директора, Парранский дивился необозримой сложности русской души, иногда излишне доброй, иногда беспощадно озлобленной, а зачастую вот такой, казалось бы, размягченной, мудрой в своей наивности и лукавстве. Ломакин начал с песни гудка, с микрофончика, взятого у немца Шрайбера, с «летающей братской могилы», а закончит непременно «большим раздолбаем».

Предчувствие Парранского незамедлительно оправдалось. Поговорив об оборудовании, о сжимании площадей для установки прибывающих из разных мест станков, Ломакин обрушился на главного механика и вонзил отравленную стрелу в начальника снабжения, практиковавшего мелкие подачки при проталкивании нарядов на исполнение.

— Товарищ Стебловский, на языке прокурорского надзора это называется дачей взятки. И пусть не обижаются ваши первоклассные агенты-снабженцы, если за каждую пачку папирос и традиционные пол-литра они, в конце концов, будут расплачиваться каторжной тачкой. Предупредите их!..

Лысый во всю голову Стебловский быстро-быстро дергал верхней

короткой губой и маленькими щетинистыми усиками, которые он подкрашивал. Карандаш в его толстых, пухлых пальцах услужливо бегал вслед за каждым словом директора по солидному блокноту из меловой бумаги.

Конечно, все останется по-прежнему, и это все понимали: простая бумажка, пусть она называется нарядом, еще не листовая латунь, не сталь в прутке, не химикалии и не цветные металлы. И как бы ни называл строгий прокурор снабженческие страдания, ничто и никогда не добывается при помощи сухой ложки. Поставленный между двумя огнями: железным планом и не менее железным прокурором, начальник снабжения по-прежнему будет пускаться во все тяжкие, чтобы отоварить наряды на многочисленных базах, разбросанных, как правило, по окраинам столицы. Добывать-то надо внеплановый товар. Если уж на то пошло, микрофончик директора разве не те же самые традиционные пол-литра или невинные пачки папирос, которыми, словно патронными обоймами, набивались портфели агентов, каждое утро бросаемых в бой за материалы?

— Вопросы есть, товарищ Стебловский? — закончил Ломакин и, хлебнув чай, нажал кнопку звонка, спрятанного с левой стороны письменного стола.

— Есть, товарищ директор. — Стебловский вскочил и прижал к животу блокнот с неуклюже набросанным чертежом какого-то неизвестного аппарата.

— Давай. И только не хныкать, а перестраиваться на ходу с большевистской смелостью и комсомольским задором. Кстати, что это у тебя там нарисовано?

— Вот именно. — Стебловский беглыми шажками подошел к столу и положил блокнот перед директором. — Схематично набросал чертежик... микрофончика. — Он обвел всех плутоватыми глазами с темными под ними мешками. — Обеими руками поддерживаю ваше предложение, Алексей Иванович! Надо наладить ширпотреб микрофончиков. Отбросить глупые кастрюли. Халтурно давят их наши медники. Смех получается, а не кастрюли. Термостаты переправим на другой завод. Ушли мы от них на сто миль, прошлый день для нас эти термостаты, да и пробковой крошки для них не достать. Единственный наш поставщик Одесса отказала. А микрофончики подойдут, особенно для молодежи...

— А еще для чего? — Ломакин смутно догадывался о подкопе.

— Для того же самого. — Стебловский потер ладони, и усики его, дернувшись кверху, стали похожи на зубную щетку. — Я не ради красного словца...

Ломакин покрутил головой, вырвал чертеж из блокнота и взмахом руки отпустил ободренного начальника снабжения.

— Что делать: жизнь есть жизнь... — вздохнул он и, увидев бесшумно вошедшего Стряпухина, сказал: — Замените это пойло. Мой батя был рядовым крестьянином-бедняком, но даже он называл такой чай фельдфебельским.

Ломакин отпустил всех, кроме Парранского и начальника тарифно-нормировочного бюро Аскольда Васильевича Хитрово.

Заложив четыре пальца правой руки за борт френча и оставив большой палец для жестикуляции, Ломакин зашагал по кабинету, говоря:

— Товарищи, нам указывают, что мы живем слишком шикарно. Отдельные рабочие зарабатывают больше наркомов. Мы делаем приборы, нас хвалят, но дорого выходит... Поглядите анализ. В трест пришли ушлые экономисты, наши, советские интеллигенты. Они доковырялись...

При этих словах Хитрово протер золотое пенсне, сморщил свое старческое лицо, что выражало повышенное внимание, и, вытянув шею, взгляделся в бумагу, которую Парранский небрежно взял из рук Ломакина.

— Как вы находите? — спросил Ломакин, отшагав положенное число шагов и взяв из рук вновь появившегося Стряпухина стакан горячего чая, черного как деготь.

— Анализ логичный, — сказал Парранский. — Для меня лично ничего нового в нем нет.

— Америку, значит, для вас не открыли? — кольнул Ломакин.

— Для меня? Не открыли.

— А вы? — вопрос был обращен к Хитрово.

— Я могу подходить только с профессиональных позиций, — изысканно начал Хитрово чуточку дребезжащим от волнения старческим голосом. — Это не только анализ треста, но и директива вышестоящих организаций. Направлена она, Андрей Ильич, — он поклонился Парранскому, — против существующего хаоса в трудовых взаимоотношениях. Надо проводить директиву в жизнь. Мне нравится крен. Мудрый крен! Ленин говорил о производительности труда...

Парранский поморщился, как от зубной боли.

Ломакин сказал:

— Аскольд Васильевич, мы знаем, что говорил Ленин...

— Как вам угодно, — Хитрово встал. — Разрешите?

— Не обижайтесь, — сказал Ломакин, — захватите эту директиву и... проводите ее в жизнь.

Хитрово ушел.

— Почему же для вас, Андрей Ильич, нет в этом открытия Америки?
— спросил Ломакин, устроившись поудобней на диване рядом с Парранским.

Парранский насторожился и еще резче подчеркнул свою независимость.

— Вероятно, вам, Алексей Иванович, посоветовали провентилировать мозги своему заместителю?

Ломакин добродушно ответил:

— Представьте, вы почти угадали. Может быть, потянут вас на повышение. Трест реорганизуется в объединение, прибавится несколько заводов...

— В контору я не пойду, — решительно заявил Парранский, — сочинять директивы меня не учили. Люблю производство и ни на что его не променяю. А что касается Америки, скажу: мною она давно открыта. Конечно, не раньше Христофора Колумба. — Склонив голову так, что борода уперлась в галстук, он продолжал: — На мой взгляд, инстанции, как вы их называете, рановато берут за жабры рабочего. У человека естественная потребность побольше заработать, «пустить кровь из-под ногтей», как говорится, а вы его в оглобли...

Ломакин даже вспыхнул:

— Да вы же сами меня стыдили за вакханалию! Помните прием координатора?

— Минуточку. Я и сейчас против вакханалии, против рвачества, против технической кустарщины. Но колеса надо смазывать.

— Поскрипывают?

— Да!

— Деготку-побольше?

— Да. На оси, конечно,

— Ось — рабочий?

— А кто же? У нас вожжи.

Ломакин не мог усидеть на месте, быстро зашагал по кабинету.

— Так... Андрей Ильич, где же деготь? Где взять?

— Государство.

— Государство само ни одного яйца не снесет. Чтобы от него взять, нужно ему дать. — Ломакин решил перейти в атаку. — Вот вы Америки не открыли вслед за Колумбом. А знаете ли вы, что там рабочий производит почти в десять раз больше нашего рабочего при равных производственных условиях?

— Знаю. Давайте пофантазируем. Представьте себе такое положение:

рабочий Иван Петров производит больше других, ну, хотя бы в семь-восемь раз.

— Если так, зачем же болтать о скрипе осей? — Ломакин неожиданно взъярился. — Себе я не могу позволить таскаться по кабакам, а у нас есть такие гусары среди рабочих, едят по кабакам шашлыки, цыгане их величают. Бешеные заработки!

— Извините, не у всех же...

— Не у всех. Так зачем рознь поселять? Помню, взяли мы парня, поставили его на операцию, когда еще термометрами Боме занимались. Окунает парень стекляшки в воск перед градуировкой, только и забот. Сколько выгнал в месяц? Шестьсот восемьдесят! Мальчишка только-только научился суппорт от простокваши отличать, а зашибает больше директора. Себестоимость до небес раздули. Заказчики щедрые? Так ведь заказчики-то нашинские, Парранский. Из одного кармана тянем, у одного папы. Немцы, что у нас работают, и то это поняли. Разводят в изумлении руками... — Ломакин устал, расстегнул ворот френча.

Не впервые приглядывался Парранский к руководителям-коммунистам. В их искренней горячности он уже почти не сомневался. При всем желании невозможно так великолепно играть роль на сцене столь необъятного масштаба. По-видимому, партия всерьез взялась за дело, еще неслыханное в истории. Будут промахи, без них не обойтись, как и при всяком эксперименте. Конечный же результат будет победным, если не помешают скрытые и явные силы, внешние или внутренние. Успех придет, если будут гореть на работе не только одни коммунисты, а и весь народ. Решению экономической задачи Андрей Ильич отводил по-прежнему первое место, не слишком-то доверял отвлеченным идеям и массовому самосознанию.

— Алексей Иванович, — как можно мягче произнес Парранский, — кое на что я смотрю сквозь пальцы. Почему? Вы требуете план, и прежде всего план. И, второе, я достаточно знаком с психологией рабочего...

— Советского рабочего?

— Вообще рабочего. Поправки могу принять, если вы уверены в существовании бескорыстного энтузиазма, понимания общеклассовых задач и так далее. Ни один рабочий не любит, чтобы издевались над его трудом. Рабочий привык к стабильности взаимоотношений с работодателем. Чуть что — на дыбы! Поэтому мне не хотелось бы на него замахиваться... — Парранский смущенно улыбнулся. — Рабочие у нас привыкли хорошо зарабатывать. Их приучили. Отучать труднее. Кто откажется от выгоды? Конечно, директива есть директива, но если мы

начнем резать и...

Ломакин внимательно слушал, не перебивая и не пытаясь вмешиваться в ход мыслей своего собеседника. На его лице появилась озабоченность, он был напряжен, и это не ускользнуло от внимания Парранского. Если он не решился сделать вывод, то лишь потому, что ему прежде всего нужно было выяснить нравственную позицию коммуниста директора в этом наболевшем рабочем вопросе. Нравственной стороне, как думал Парранский, почти не уделялось внимания. Логика требований большевиков базировалась все на том же пресловутом плане, которым они были и сильны и слабы.

Ломакин первым прервал затянувшуюся паузу:

— Если мы, как вы изволили выразиться, начнем резать, то, конечно, будут неприятности. Но мы рассчитываем не на отсталость, а на сознательность.

Парранский поднял свои светлые глаза, и его верхняя губа с рыженькими усиками приподнялась.

— Вы называете сознательностью способность жертвовать во имя... идеи?

Из окна был виден двор заводууправления, широкие двери столовой и марлевые занавески на окнах, колеблемые ветром. Возле столовой выстроилась очередь к весам, где отвешивали копченых уток и колбасу из зайчатины — внеплановые продукты, заготовленные на Кубани.

На этом же дворе занималась группа ПВО, надевали и снимали противогазы, противоипритные костюмы и по очереди таскали дегазационный барабан: обрабатывали условно зараженную местность. Занятия проводил Николай Бурлаков. Директор его не знал. Однако четкие команды, суровая требовательность к неопытным юношам и девушкам из комсомола позволяли узнать в нем бывшего строевого командира.

Несколько мальчишек в пионерских галстуках подкатили к воротам тачки и тележки; им, по-видимому, обещали лом. А возле материального склада, расположенного на заводской территории, пожилой человек в очках и фартуке промывал остатки термометрического производственного боя, чтобы добыть несколько килограммов ртути. Это был служащий конторы, и работал он не из личной корысти, а все для того же государства.

— Жертва во имя идеи — штука совсем не смешная, Андрей Ильич, — сказал Ломакин тихо, будто обращаясь к самому себе. — Не каждый способен отрешиться от личного благополучия во имя идеи. Революция не случайно не только возникла, но и удержалась в России. Французы не сумели удержать революцию, как бы ни казалась она прекрасной и

величественной.

Парранский с приятным изумлением убедился, что Ломакин умеет выражать свои мысли более живо, нежели в обыденной «руководящей» обстановке.

Когда-то, в юные годы, прекрасная и трагическая революция во Франции возникала перед мысленным взором Андрея Ильича в образах коммунаров. Позже в практической, зачастую озлобленной жизни эти образы были полузабыты. Вероятно, прав Ломакин, утверждая право России на революционное первородство.

— Мы начали, и нам нельзя останавливаться, нельзя и медлить, — продолжал Ломакин. — Кроме денег существует еще гордость. Гордые люди не спрашивают, сколько им заплатят за мужество. Сто лет надо пробежать за десять лет. В таком пути не бражничают. Мы не имеем права тратить деньги, вырученные за хлеб, на покупку чужеземных приборов и механизмов. Мы сами сумеем их сделать. И внутри страны мы должны научиться беречь не только миллионы, но и копейки. Вот почему рабочий Ломакин якобы выступает против рабочих. Пусть буржуи скулят об их «разнесчастной судьбе». Нынешний рабочий, стоящий у станка индустриальной пятилетки, стоит не меньше рабочего со штыком. Крови то много пролито. Что же, забыть про нее?

Главная мысль доходила до Парранского даже не через слова Ломакина, он достаточно наслышался их и в самых разных вариациях. Его подкупала убежденность этого не всегда ровного человека. Ломакин не сумел бы покорить критический разум Парранского политическими логарифмами, не будь у него веры. Вера — это сила жизни, это действие, это новое величайшее строительство. Эпоху делают очень простые люди; их раньше и не принимали в расчет, мимо них проходили, как мимо груды бесформенных камней.

— Разберутся ли они? У станков? — вырвалось у Парранского.

Ломакин досадливо махнул рукой.

— Почему вы в них не верите?

— И они не все верят.

— Достаточно того, что мы верим в них, Андрей Ильич, и согласно этому организуем движение масс. Непонятно?

— Почему же? Понятно, — сказал Парранский. — Но смею вас предупредить: организуемые вами массы должны полностью чувствовать себя хозяевами. Только тогда можно утверждать тезис о непобедимости революции и не опасаться тьеров и бонапартов...

Ломакин опять посмотрел в окно, взгляделся прищуренными глазами в

мокрого по пояс пожилого человека, неумоимо продолжавшего вымывать капельки ртути, рассеянной по измельченному стеклу. От сгорбленной фигуры человека протянулась длинная тень до самых ворот; струя, бьющая из пожарного гидранта, играла на солнце тысячами искр, словно пламя. Ломакину захотелось, чтобы Парранский взглянул на это зрелище. Он подозвал его к окну, но Андрея Ильича уже не было в кабинете.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Хитрово несколько минут не обращал никакого внимания на вызванную им нормировщицу: писал, подсчитывал; его желтые, пергаментно блестящие фаланги пальцев были похожи на костяшки счетов.

На гладкой, будто полированной, коже, обтянувшей вытянутый асимметричный череп, старость оставила свои следы в виде ржавых пятен.

— Простите, вы уже здесь? — Хитрово деланно улыбнулся, и все его лицо покрылось морщинками, глубокими и мелкими.

Наташа кивнула и тоже ответила улыбкой, хотя старость «Аскольдовой могилы» (так называли Аскольда Васильевича Хитрово) всегда вызывала в ней неприятное чувство; в ней протестовала молодость.

— Не угодно ли ознакомиться с директивой?

Наташа с присущей ей чувствительностью уловила язвительный оттенок в его словах.

Вспомнилось: «Хотели быть хозяевами — стали. Буржуй был плох — обернитесь без него, только ни на кого не пеняйте. Не на кого теперь штык точить, шишки валить, некого в тачку сажать... Раньше хозяину приходилось служить, а теперь я... аккуратно выполняю директивы».

Эти слова были произнесены Хитрово вслух на одном из инструктажей в ответ на чей-то замаскированный упрек по его адресу. Вероятно, впоследствии он пожалел о своей откровенности. Обычно же Аскольд Васильевич избегал запальчивых споров, высказывался осторожно и безукоризненно изучил все тонкости порученного ему деликатного дела.

В начале своей деятельности, вскоре после гражданской войны, когда на производство медицинского и лабораторного оборудования было обращено особое внимание и на бывшую фабрику немецкого концессионера бросили людей и кредиты, Хитрово сразу же завоевал доверие мастеров и рабочих своей щедростью. Ему ничего не стоило убедить руководителей треста в необходимости повышенных расценок, поскольку необходимо было поскорее наладить дело и привлечь лучших мастеровых. Он рекламировал свою доброту и понимание рабочих интересов на всех собраниях, где ему удавалось выступить.

Не имея дурного умысла, Хитрово тем самым расшатал нормы и расценки и невольно разбудил так называемые отсталые инстинкты. Хитрово, пожалуй, несколько не удивлялся устойчивости психологии

рабочего, старавшегося работать поменьше, а получить побольше. Он считал неизблемыми заповеди, касающиеся физического существования человека.

Когда производительность труда из лозунга превратилась в государственную задачу и ее надо было решать немедленно, Аскольд Васильевич взялся за выполнение с усердием хорошо организованного чиновника. Как экономист, он понимал, что при наведении государством порядка необходима твердость, знал, что каждый лишний рубль, выданный в пакете зарплаты, должен обеспечиваться товарами, иначе рубль мог превратиться в полтинник, знал, что без режима экономии нельзя построить фундаментальное здание нового общества. Другими словами, он понимал разумную политику, но в душе считал, что, похоже, пришло несколько запоздавшее возмездие. Пришло время прижимать. Поступила бумага. Смазка осей кончалась.

— Последнюю директиву вышестоящих инстанций я трактую как поворот с резким креном, — дребезжащий голос Хитрово приобрел некую фальшивую торжественность. Так он разговаривал с подчиненными комсомольцами. — Бесхозяйственность отнесена к составу преступления, а не оплошности. Революция не имеет права обходиться вялыми полумерами. Следует не попустительствовать, а призвать к ответственности творца материальных ценностей.

Где-то работали станки, и сила их ощущалась в ритмичном подрагивании стен, в сейсмическом колебании пола; даже стакан, надетый на горло графина, тихонько дребезжал.

Хитрово пояснил свою мысль, постукивая пальцем о край стола, накрытого куском авиационного плексигласа:

— Надо накапливать, а не расхищать. Революция штурмов кончилась, патронташ сдан в цейхгауз. Даже купчина, всеми вами презираемый как мот и кутила, прежде чем куражиться на ярмарках и колотить зеркала, экономил на мочале и мыле, ел сырой лук и ржаную краюху. Я не требую жестокости, но придется расставаться с умилением, с бабьей жалостью, ибо тэ-эн-бэ, — его палец поднялся над черепом, блеснуло кольцо с овальным сердоликом, — ибо тэ-эн-бэ — контрольный пост по охране интересов всего государства в целом, а не какого-то отдельного субъекта.

Наташа по-другому воспринимала и ощущала мир. Рабочих она знала не только по должности, она сама родилась в рабочей семье на подмосковной окраине. Гудок железнодорожных мастерских резко и требовательно наполнял их маленький дом до краев. Он проникал под одеяло в детской кровати, в непроснувшийся мозг девочки, в умывальник,

в плеск воды и словно выметал из бревенчатых домишек черных сумрачных людей. Самая скверная погода не могла изменить раз и навсегда заведенного порядка. Тот же гудок возвращал кормильцев по домам. Перед их приходом грели воду на дровяной плите, стучали корытами, доставали рогожные мочалы. Мылись по пояс, фыркая и отплеываясь, а потом ели белые московские щи и вареное мясо, которое резали почему-то складными ножами. Деньги! С детства это слово не было пустым звуком. О них говорили постоянно, рассчитывали расходы до копейки, и на конфетку далеко не всегда хватало. Деньги приносились в черных, обожженных руках два раза в месяц, всегда почему-то мятые и некрасивые. Бумажки разглаживали ладонями, над ними вышептывали, колдовали; часто между родителями или между дядей и теткой закипали ссоры. Становилось больно за близких, зверевших от этих грошовых забот.

С детства Наташа усвоила, что существует какое-то невидимое и неприятное существо, которое хитрит и издевается, заживает при помощи неуловимо тонких комбинаций часть заработка и всегда действует против рабочих. Оно, это существо, враждебно относилось к ним, сталкивало их друг с другом, надувало. Отсюда у людей драки и сквернословие, пьянство и прочее свинство, раздоры в семье и отчаяние.

Потом пришло буйное и веселое время. Застучали приклады винтовок, люди развязывали солдатские мешки, высыпали оттуда пшено и вытаскивали сухую воблу. Запомнилась песня. В ней было много слов, манящих своей непонятной значительностью: «Нам не надо золотого кумира, ненавистен нам царский чертог». Судя по митингам, хозяином мастерских стали сами рабочие, и эта перемена поражала воображение так же, как слова «кумир» и «чертог». Даже трудно верилось, что хозяин-рабочий по-прежнему через голову стаскивает потемневшую от мазута рубаху, трет рогожкой под мышками и отхаркивается копотью.

И вот опять гудок. Те же запахи детства, те же разговоры о деньгах, снова колдование над получкой. А она, бывшая девчонка с рабочей окраины, служащая теперь на советском заводе, вдруг оказалась тем самым коварным существом, которое представлялось ей в детстве неуловимым и злым.

«Ну, чего стоишь возле меня? — немо упрекали ее в цехе усталые, раздраженные глаза. — Ты же должна понимать... Семья, дети... Для меня рубль — деньги. Хлеб. Скостишь, а где мне достать? Ждут...»

Были и другие, привыкшие к легким заработкам, к сделкам с мастерами, лживые и нечестные. Для них самой желанной стихией была мутная вода неотстоявшихся норм и расценок; когда возникала острая

необходимость поскорее сделать тот или иной прибор, денег не считали, подчиняя все нарастающему ритму неравного и жестокого по времени соперничества с капитализмом, который как бы кольцом оковал первую Страну Советов.

Тут нельзя поддаваться чувствам, нельзя уступать, расслаблять себя жалостью; с большой горы нужно смотреть на вздыбленный мир.

Старый человек Аскольд Васильевич, дни его сочтены. Он не настаивает на жестокости: он предлагает «расстаться с умилением». В ТНБ нет места жалости, а слабые духом должны переменить место работы.

«Вы обязаны по-прежнему смотреть за выработкой отдельных рабочих и выводить общее. На основании достигнутых результатов будут разрабатываться новые, более жесткие нормы», — Хитрово испытывал чувство удовлетворения, повторяя подобные трафаретные советы, выуженные из официальных источников. Шелестели бумажки. Через стекла пенсне глядели на Наташу посторонние глаза — именно посторонние, чужие и мстительные.

— Рабочие нашего предприятия избалованны. Всем понятно: невозможно выполнять нормы на триста, а то и на четыреста процентов. Чтобы увеличить выполнение плана в три раза, нужно работать не восемь, а двадцать четыре часа в сутки при правильном нормировании. Подбросим на более развитые мускулы двадцать процентов, на сноровку — столько же. — Костяшки щелкали на счетах. — А остальные? Нас обязывают изжить недостатки нормирования, наши и ваши недостатки... Вам ясно, Наташа?

Инструкция уже побывала у нее в руках, пространная бумага, начисто исключавшая всякие разночтения. Перечитывай ее хоть сотни раз, нигде не отыщешь хотя бы двух слов о самом человеке, о его чувствах; неживой мир цифр и графиков.

— Здесь предлагается учитывать достижения передовых отраслей промышленности, — сказала Наташа, и уши ее покраснели. — У нас же своя специфика.

— Точнее? — Хитрово наклонился и плечами подался вперед.

— Мы осваиваем все новые и новые приборы, — продолжила Наташа, следя за лучистой игрой сердолика, — общая организация производства не поспевает, вовремя не подают нужный материал, приспособления, инструмент, станки. Люди прорабатывают...

— Прорабатывают? — переспросил Хитрово и, откинувшись на спинку кресла, снял пенсне. На Наташу смотрели тусклые глаза, и она почувствовала, что интерес Хитрово гаснет, он физически устал от недавнего напряжения.

— Да, прорабатывают, — подтвердила Наташа, испытывая вопреки Хитрову прилив сил. — Высокие заработки у серийщиков, а их пока меньшинство. К нам поступают новые приборы, неожиданные, я бы сказала.

Хитрово развел руками и понимающе вздохнул.

— Инструкция, как вы заметили, не предусматривает градаций.

Ему ничего не стоило убедить сидевшую перед ним комсомолку, подчиненную ему, в том, что ему менее других понятны возникающие трудности во взаимоотношениях рабочих и работодателей. Сверху не пытаются учитывать особенности малосерийного, фактически опытного производства, так как ранее освоенная продукция почти полностью уведена на другие заводы. А их производство по-прежнему расценивают по автоклавам, центрифугам, термостатам и гинекологическим креслам. Конечно, им выпала тяжелая доля: перестраиваться на ходу. И никто не хочет замечать «чаши с едкой цикутой», которую приходится им испивать.

— Ломка. Все заново. Рабочих легко обидеть. Упустил, недодал — вот и появляется законное чувство протеста.

Наташа возразила:

— Законное ли?

— Вы же сами меня убеждали! — Хитрово притиснул пенсне к сморщенной коже переносицы, и морщины на его лбу лестничкой побежали вверх, до самой лысины.

— Я говорила о недостатках организации, — продолжала Наташа упрямо и с возрастающим чувством достоинства. — Нам теперь спускают нормы, — она подчеркнула слово «спускают», — нормы рассчитаны на идеальное оборудование, на идеальную организацию производства, на безукоризненную подачу мерного материала, на наличие первоклассного инструмента. Мы обязаны внедрять эти нормы, спущенные сверху. А идеальных условий нет. Вот тогда рабочие протестуют законно. Во всем этом надо разбираться, учитывать, не поддаваться бузотерам. — Наташа запнулась, почувствовав нелепость случайно вылетевшего слова. — И не обижать хороших рабочих.

— Никто не намерен их обижать. — Хитрово поднял руку вверх, ладонью к Наташе. — А бузотерам, как вы их называете, не поддавайтесь.

Наташа встала.

— Попытаюсь распроститься с умилением и бабьей жалостью.

— Ну-ну, — опасливо предупредил Хитрово, — вы только не вплетайте каждое лыко в строку, дорогая девушка. Я хотел сказать, что проще всего быть добреньким за счет государства... Минуточку, вы забыли

захватить. Да, да, это вам, чтобы чувствовать себя во всеоружии. — И Аскольд Васильевич протянул ей через стол заранее заготовленные «директивы» и инструкции.

Минуя производственный и планово-экономический отделы, в механический цех можно было попасть по узкой лестничной клетке через обитую железом дверь.

По дороге для раздумий не оставалось времени. Сновали люди, приходилось пропускать их, прижимаясь к стенке. Стены, вытертые спинами, свидетельствовали о движении рабочего потока в верхние этажи, управляющие заводом. Туда шли не только для изъявления высоких чувств и взаимных расшаркиваний.

Гегемон требовал, бранился, предлагал новшества, теребил, продвигал изобретения, просил жилплощади, авансов, талонов на одежду и обувь, спецовок, размахивал нарядами, невыгодными для исполнения.

Дверь, обитая железом, соединяла гудящие, льющие металл, ревущие, кующие, сверлящие цехи с пчелиным гулом контор, треском арифмометров, шуршанием рейсфедеров и матовым блеском калек.

В верхних этажах, в этой надстройке над базисом, каждый по-своему был умен или недалек, придиричив или снисходителен, образован или неучен, красив или безобразен, молод или стар. Все они трудились сообща. И нельзя упрекать их в бездеятельности или отрыве от нижних этажей, где работало тяжелое оборудование, жужжали часовые станочки, на верстаках собирались приборы — предки тех механизмов, которые несколько лет спустя помогут выиграть великую войну, овладеть стратосферой, а позже и космосом.

Рабочие, если они не находили ответа в низах, могли прийти к любому старшему начальнику. Этим правом они пользовались по законам, утвержденным революцией, и не злоупотребляли им без крайней нужды.

И самыми острыми вопросами во взаимоотношениях двух сил, вертящих одну и ту же турбину, были вопросы труда и зарплаты.

Механический цех продолжал работы над артиллерийским координатором целей и одновременно выполнял срочный заказ авиации — делал оптические бортовые прицелы. Освоенные в последние два года, приборы по испытанию металлов уже шли в серии, и детали к ним делались привычными руками.

Бортовые прицелы спустили недавно, чертежи их еще не успели обтрепаться и промаслиться. Пока еще шатались нормы, шли споры между нормировщиками и рабочими.

Наташа, спускаясь в механический цех, заранее знала, какие ей

предстоят испытания. Снова придется встретиться с Фоминым. «Девочка, мне-то вы уж поверьте. Я профессор своего дела и знаю, сколько тут надо платить и с кого требовать. Вооружайтесь вашим карандашиком и записывайте предварительные наметки, и тогда прекрасно будет дышать график и линия детерминанта ползет хоть на Казбек. В основе плана лежит норма. И если норма божеская, то все идет от души, народ веселее, проворней движутся руки...»

Во время этих увещаний на губах Фомина не угасала настороженная улыбка. Его глаза старались уйти от прямого взгляда, прятались, блудили. Силы были неравны. С одной стороны — молоденькая девчонка, не до конца убежденная в своей правоте, приходившая сверху, из отдела, именуемого ТНБ, или «тяни нашего брата», как по-своему расшифровывали рабочие, эти три буквы. С другой стороны — опытный и зрелый мастер, с боевым орденом на кожанке, человек, слывший любимцем рабочих и в то же время какой-то фальшивый и скрытно мстительный. Если нормировщица не плясала под его дудку, он находил способы убрать ее с дороги. Идти к нему — значило идти в бой. И Наташа твердо решила добиться победы.

— А, дорогая Наташенька, заходи, — ласково приветствовал ее Фомин и тут же предложил железный стул, потемневший от замасленных седалищ многочисленных посетителей конторки.

— Спасибо, товарищ Фомин. — Наташа пожалала протянутую ей тоже будто железную руку Фомина. — Здравствуйте, товарищ Муфтина.

Сидевшая за отдельным столиком Муфтина встряхнула ожерельем из искусственного жемчуга, чопорно кивнула головой и, сняв роговые очки, близоруко прищурилась на Наташу. Потом, надев их, снова принялась за работу.

— Поглядите, Наташа, на наши графики, — похвастался Фомин, подходя к единственной незастекленной стене, до потолка увешанной листами ватмана с нанесенными на них диаграммами и пресловутыми детерминантами. — Крепко выполняется план? А? — Фомин погладил ладошкой энергично разрисованный лист. — Без расширения площадей мы добились увеличения выпуска. Станочники локти посдвинули, линия стала строже, яснее. Поглядите-ка, Наташенька! Механический поднажмет, вытянет, только не мешайте ему. У меня страсть к накоплениям в цехе. Не будь революции, вышел бы из меня хозяйчик или кулак. Как увижу, что привезли новый станок, бегу, дрожь пронимает, хочу прихватить для себя. Ну, какие еще новости, Наташа? Что выкопала в «Аскольдовой могиле»? Чем еще советская власть болеет?

— Есть кое-что. — Наташа развернула на уголке стола папку, вытащила оттуда копию размноженной на шапирографе «директивы» треста и папиросные листики инструкции, покрытые слепыми машинописными буквами.

Муфтина, вытянув жилистую, худую шею и сохраняя на лице бесстрастное выражение, чтобы не исказить его лишним движением мускула, попросила:

— Если пока нет срочных дел, разрешите мне сходить в медпункт? У меня что-то со средним ухом...

— Пожалуйста, — разрешил Фомин и погрузился в изучение Наташиных бумаг.

Изучение продолжалось не менее пятнадцати минут. Наташа за это время успела привести в порядок свои текущие задания, просмотреть копии нарядов по новому прибору, выписать заинтересовавшие ее цифры.

За то же время Фомин не только ознакомился с бумагами, но и придумал план борьбы с этими бумагами. Прежде всего ему нужно было убедить людей, находящихся «наверху», в том, что в его цехе нет никаких нарушений режима экономии, зарплаты нормальные. Нажимать, конечно, следует, но только не у него. Если требуется перепроверить нормы выработки, милости просим!

— Как мы думаем приступить? — спросил Фомин, закончив чтение и придавив локтем «директивы».

Наташа перелистала несколько нарядов, выписанных на изготовление деталей координатора.

— На мой взгляд, вот тут занижены нормы. — Голос выдавал ее волнение.

— Занижены? — Фомин взял наряд. — Пантюхин? Конечно, он! Что же, милая, возьми его на пуговку (под пуговкой подразумевался хронометр). Если мы его засечем, то прикинем и на остальных. Продумаем. В общем, ни одного целкового зря на ветер не пустим.

Наташа понимала, что Фомин собирается пустить ее по ложному следу. Пантюхин — патентованный волынщик, хотя и отличнейший токарь. Если начать выравнивать нормы по сознательному Пантюхину, лучшей комбинации не сочинить. Если же Пантюхин начнет «темнить», а «темнить» он мог художественно, то нормы придется не повышать, а снижать. «Если, мол, Пантюхин не смог уложиться, то чего же он требует с остальных?»

Вошла Муфтина, натянула нарукавники и принялась за арифмометр. Наташа заметила, что Муфтина искоса наблюдает за ней, и ей почему-то

стало неловко; поправила кофточку на груди, под халатом подтянула пояс, отчего заманчивей обрисовалась ее фигура. Наташа не могла угадать печали стареющей женщины, сопоставляющей свое увядание с чужой яркой молодостью. А в молодости можно простить любую небрежность в одежде.

— Итак, в ажуре, Наташа! — весело возгласил Фомин, довольный своей затеей. — Ждем на Пантюхина! Мы займемся уточнением спецификации прицела. «Канцелярия» опять напорола. А ты надавливай на пуговку. Что-то ты побледнела? Хотя носик по-прежнему симпатичный. Не влюбись смотри, девочка!.. А уж если страдать, подцепи киноартиста, подобного Дугласу Фербэнксу.

Проводив нормировщицу до двери и пожелав ей успеха, довольный самим собой, Фомин сел за прерванную работу. Между делом он разговаривал с Муфтиной о судьбе какого-то ее дяди, служившего у белых, в корпусе генерала Барбовича.

— Вы мне не говорите про корпус генерала Барбовича. — Фомин зловеще улыбнулся. — Если именно в этом врангелевском корпусе служил ваш дядюшка, запишите его в поминание... Минутку! Вы пропустили латунный пруток. Нет, нет, не тот диаметр! — Проверив исправление, Фомин продолжал с прежним сладострастием залихватского рубаки: — Корпус генерала Барбовича мы шинковали в Ялте, как капусту. От него только шматки уплыли на пароходах...

Никакого дяди Муфтиной в корпусе белого генерала не было. У Барбовича служил ее любимый, ротмистр, красавец, каких поискать. Чем дальше уходило время первой любви, тем светлее и горше она казалась одинокой, покинутой женщине. Это была единственная радость в ее изломанной революцией жизни. И ее, эту радость, так же как и мечты о будущем, затоптали на буланых жеребцах товарищи фомины. Их она презирала и смертельно боялась. Прав был ее любимый, решивший лучше превратиться в капусту, чем сложить свои куцые белогвардейские идеалы к ногам Дмитрия Фомина и его соратников по кровавой всероссийской тризне. Память о красавце ротмистре, кольцо из ухналя — подковного гвоздя, она носила открыто, не опасаясь чекистов; разве они в состоянии проникнуть в романтические тайны святой, благородной любви! Расспросы о судьбе белых конных полков доставляли Муфтиной тягостное наслаждение. Нет, ротмистра не успел зарубить этот развязный тип, ротмистра увезли на пароходе англичане. Муфтина ежедневно бегала на работу, боясь опоздать, добросовестно крутила ручку арифмометра и этим глушила мучительные надежды на появление ротмистра из кошмарной

безвестности.

Не только она, многие ее единомышленники постепенно убеждались в несокрушимости железной организации красных. Находились еще люди, которые предсказывали неминуемую гибель большевизма. Как экономист, Муфтина понимала больше этих ординарных злопыхателей. Большевики не только занимались политикой, не только вещали о грядущем коммунизме, они деятельно обеспечивали базы для своего существования и отпора. Взять хотя бы этот завод, ранее бывший всего-навсего обычной фабричкой, небольшим доходным делом.

Стоило прийти сюда большевикам, и предприятие расширилось, разрослось, поднялось вверх поэтажно, пополнилось рабочими. Пригласили иностранных специалистов, которые помогли освоить приборы, связанные с использованием ртути, стекла и спирта. Тюрингские немцы научили гнуть и запаивать заполненные толуолом трубки, определяющие крены боевых самолетов, приучили молодых юношей и девушек изготавливать разные термометры и пирометры, виртуозно пользоваться рядовой газовой горелкой Бунзена. Солидный мастер из-под Гамбурга обосновался в особой мастерской и стал изготавливать из стекла очень сложные штуки — о них говорят шепотом, в этом какая-то тайна. Большевики сразу взялись за все. И никто не знает так много о замыслах во всероссийских масштабах, как работники заводов точной индустрии.

Грандиозный размах поражал и пугал цехового экономиста Муфтину. Удивляла ее и слепота тех, кто клялся покончить с коммунизмом. Она могла бы открыть им глаза, вывести из заколдованных лабиринтов, протянуть «нить Ариадны». Но никто не являлся к ней, уже не оставалось людей, способных возглавить поход против стремительно развивающегося зла. На днях ей предложили заполнить анкеты для допуска к секретной переписке. Анкеты с сотней параграфов, с подписями и фотокарточками. Бог мой, ведь она не хотела знать никаких тайн! Она выбрала местом скромного заработка этот тихий переулок, недалеко от своей квартиры. Аскольд Васильевич глухо порекомендовал ее кому-то и немедленно спрятался в тень, будто его и не существовало. Она знала, что автоклавами и центрифугами пользовались еще Пирогов и Боткин. Кто же мог предвидеть будущее! На заводе появились заказчики и приемщики в военных мундирах, на окна повесили шторы. Муфтиной выдали противогаз и ознакомили с правилами поведения при налете неприятельских самолетов. Противовоздушная оборона? Возможно, и так. Но почему же никому не приходило в голову заниматься всем этим, когда на фабрике мастерили гинекологические кресла? Попав в центр событий, Муфтина не могла уже

вырваться. Она крутилась вместе со всеми, зажмурив глаза и затаив дыхание.

«Не уходите, — шептал ей один из знакомых, некто Коржиков. — Возможно, это нам пригодится». Коржиков нисколько не походил на ротмистра из корпуса Барбовича, зато он был тезкой Чичикова, хвастался этим совпадением имени и отчества и, бравирюя фальшивыми зубами, кокетничал тем, что он якобы тоже скупает мертвые души.

— Вы что, спите, что ли? — окрикнул ее властный голос Фомина. — Куда это вы увели шарниры Гука?

— Простите, — залепетала очнувшаяся от тягостных мыслей женщина, — у меня среднее ухо...

— У каждого есть среднее ухо, голубушка...

Хотелось зарыдать. Но разве можно чем-нибудь тронуть это злобное чудовище? Муфтина крепко сжала губы и гордо вскинула голову, чтобы ничем не выдать чувств, священных для нее.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Резко отличались друг от друга женщина прошлого — Муфтина и комсомолка — Наташа. И несмотря на разницу во всем, начиная с возраста и кончая идеями, и та и другая дрались с одним и тем же противником — с Фоминым. Одна — с бывшим Фоминым, другая — с нынешним. По-видимому, преимущество в убежденности было на стороне Наташи, если она обнаружила в себе достаточно стойкости, чтобы не поддаться на уловки «профессора своего дела». Она продолжала вести свою линию, а не линию Фомина.

У Наташи созрел определенный план. Задерживаться на Пантюхине не нужно, над ним достаточно поработали. Нужно пойти по новичкам, показавшим себя на производстве, по тем, кто старается выйти на первые места, кто вольно или невольно, а соперничает со старичками.

Наташа с наслаждением окунулась в привычные шумы цеха. Здесь будто пропадали и рассасывались неясные очертания фоминых и муфтиных. Все становилось проще и уверенней. Наташа безошибочно угадывала работу шепингов, отличая их размеренный шелест от характерного рокота токарных станков или смачного посапывания карусельных. Среди этих тонких звуков резко выделялись голоса заточных карборундов, окрыленных снопами пламени, и визг сверлилок, начинавших прогрызание свежего, твердого металла. Потом и сверла утрачивали пронзительность, постепенно погружаясь в глубину структуры, и над всеми шумами по-хозяйски возникал звон колокола на кране и лязг его промасленных, звонких цепей.

Люди, занятые той или иной операцией процесса, утрачивали черты индивидуальности. Не было красивых или некрасивых, добрых или недобрых, пожилых или молодых. Все были на одно лицо, работали в одних и тех же, если судить по напряжению, позах. Но так казалось непосвященным людям, впервые окунувшимся в атмосферу производства, в эти звуки, в эти видения и запахи. Стоило хорошенько осмотреться и почувствовать себя частицей цеха, как все менялось и приобретало тысячу разных отличий.

Пантюхин, работавший теперь не в паре с Бурлаковым, поджидал нормировщицу с нетерпением злоумышленника. Он заранее предвидел, как ловко обведет вокруг пальца эту хоть и смышленную, но неопытную в

разгадке ухищрений девчонку. В партию Пантюхин не вступал не потому, что не был согласен с ее установками, а лишь потому, что не хотел забивать себе голову лишними мыслями, отнимать время на собрания и нагрузки.

Присмотревшись к своему наперснику Дмитрию Фомину, Пантюхин мог бы и более изобретательно отвести вопросы, ему предлагаемые. Но пока он скромно помалкивал, решив «обводить вокруг пальца» самых настырных девчонок из «тяни нашего брата».

Наташа почему-то не задержалась возле него, несмотря на то, что Пантюхин трогательно улыбался. «Возможно, Митя Фомин переиграл спектакль, — подумал Пантюхин, провожая взглядом нормировщицу. — Ишь ты, вздумала фискалить из-за угла!» Но Наташа прошла на другую линию, совершенно усыпив все подозрения Пантюхина.

Возле Марфиньки Наташа задержалась не только по своему нормировочному делу. Она заметила, что Марфинька порывалась что-то сказать ей, остановилась и поздоровалась за руку.

— Скажите братишке, — неожиданно выдохнула Марфинька, умоляюще и светло глядя на нее увлажненными глазами, — не могу я двоиться. Обманывать не научилась. Пусть не серчает. Скажите ему, пусть заходит ко мне, не отталкивает... Может быть, доведется и ему полюбить. Нет с собой сладу... Сладу нет, когда...

Наташа готова была прослезиться, но обстановка заставляла быть сдержанной на глазах у посторонних. Пообещав глазами и рукопожатием выслушать ее, Наташа направилась мимо Квасова к Бурлакову. К нему ее влекли не только предварительные технические наметки...

Еще издали она разглядела очертания высокого станка «Майдебург» и знакомую фигуру возле него.

— Здравствуйте, Коля, — сказала Наташа, подойдя к станку и отыскав удобное место для наблюдения. Наташа устроилась так, чтобы видеть руки Николая.

Освоившись с ее неожиданным появлением, Николай не снизил, а повысил обороты, полностью положась на дополнительную мощь победита, которым наваривали резцы. Уже не было сомнений: Бурлаков не станет «темнить». Первым почувствовал подвох Пантюхин. Остановив станок, он направился в курилку. Проходя мимо Квасова, что-то шепнул ему; тот ответил какими-то злыми словами.

Николай не замечал никого, кроме Наташи. Наташа... У нее всего две пары обуви. Кто-кто, а он-то теперь знал все ее имущество. Одна пара лодочек из черной замши, праздничные. Она ходила в них на «Периколу», на «Список благодеей» у Мейерхольда. Они шли пешком после

спектакля почти до «Динамо» и восторженно обсуждали игру Зинаиды Райх. Замша на ее туфельках запылилась, и ему хотелось почистить их, прежде чем они расстанутся у калитки. Сейчас на Наташе желтые туфли со шнурками, на низком каблуке. Они вместе носили их однажды в мастерскую, просили поскорее починить; и сапожник великодушно внял их мольбам, бросив туфли на самый верх кучи. Подобные мысли иногда бродят в голове даже в то время, когда руки заняты делом.

Перед этой девушкой он обязан отличиться безупречной работой, вопреки темным законам цехового братства. Как же без этого идти вперед, двигать жизнь, догонять иностранцев? Как познать радость честно исполненного долга?

Непросто, очень непросто решиться плыть против течения, пересекать стремнину, не зная, где омут, где водоворот!..

У Наташи на учетном листе, как уже говорилось раньше, расчерчены графы: об инструменте и приспособлениях, остановках и задержках, элементах работы и фиксажных точках, количестве наблюдений, числе оборотов, глубине резки, подаче и многое другое. Она все учтет. Ей поможет секундомер, плотно прижатый к ладони, и фанерка с хронометражным листом. Все приспособлено, ошибки маловероятны. Техническое нормирование позволяет установить справедливые взаимоотношения дающего работу и ее исполняющего.

Могут быть ошибки? Безусловно. Но они касаются частных. В конце концов, самое главное — получить наибольший эффект от затраченных усилий. Многое зависит от организаторов производства, но не меньше и от самих рабочих. Если человек начнет внутренне сопротивляться, не помогут ни секундомеры, ни хронометражные листы, ни директивы.

Для Бурлакова существовало пока единственное мерило: не мог он умышленно сделать хуже, чем есть; не мог он выглядеть в глазах людей, и прежде всего любимой девушки, ленивым и никчемным. Если дело горит в руках, кто решится погасить огонь?

Николай забыл и трешку, и первый шашлык, и «рено», и цыган, даже корову, бредущую к Бородинскому мосту, лишь бы не задымил металл под резцом, лишь бы справился со сложной нагрузкой иностранный станок. Нет, не может порваться дружба от случайных причин, и по-новому должно сложиться рабочее братство.

— Спасибо, — сказала Наташа и как-то неслышно ушла.

Звонок объявил перерыв на обед. Сходились ближе к окну, садились на чушки металла, набросив на подоконник ветошь или телогрейку. У каждого

свое на обед: хлеб, молоко; счастливики очищают яйца, сваренные вкрутую; а у одного нашлась даже зажаренная со вкусом передняя лапка кролика, на пять метров разит чесноком. Ели молча, сосредоточенно, почти так же, как работали. Догадывались: предстоит разговор с Бурлаковым. Кое-кого ожидание начинало тяготить — неизвестно еще, как разговор обернется: а вдруг в самый разгар вынырнет начальство или, того хуже, появится сам Ожигалов?

Николай ждал этого разговора с волнением и, чтоб успокоиться, старался как можно медленнее отрезать острым перочинным ножом кусочки сала. После случая с Марфинькой отношения между друзьями не разладились, но чувствовался холодок и не было прежней откровенности.

— Коля, — начал Квасов, — сегодня мы все наблюдали за твоим выдвигенчеством. — Оглянувшись, он поймал кивки Пантюхина и других рабочих, сидевших с мрачными, выжидающими лицами. — Помнишь, между нами была беседа на эту тему?

— Помню.

— Не сомневаюсь. Тогда скажи не мне, а им, товарищам, почему сподличал?

— Грязное слово. — Николай решил выдержать характер.

— Грязное? Прополощи! — осадил его Пантюхин голосом, не предвещавшим ничего хорошего.

— Не с того края приступили, — неодобрительно сказал Старовойт и откашлялся. — Никто вас не уполномочивал его казнить.

— А мы и не казним, Старовойт, — огрызнулся Пантюхин, — мы выясняем взаимоотношения.

Худой паренек с несуразно длинной шеей и светлыми, почти прозрачными глазами сказал Пантюхину:

— Ты сначала выясни его классовую принадлежность.

— Молод еще шутить, Степанец, — оборвал его Пантюхин, и Николай заметил, как дернулись и застыли мускулы на его лице.

Всем было известно, что администрация обидела Пантюхина, но так же хорошо были известны и его дурные, отталкивающие черты. Поэтому даже несправедливости, допущенные по отношению к нему, редко у кого вызывали глубокое сочувствие.

— Значит, понял, Коля, в чем у тебя срыв? — спросил Квасов миролюбиво, стараясь предупредить вспышку.

— Не понял...

— Ты подводишь товарищай.

— Тем, что я хорошо работаю? — спросил Николай. — Что же мне,

сдерживать свои возможности? Неужели это не бессмысленно: стараться работать хуже, когда тебя нормируют?

Кто-то из пожилых рабочих сказал:

— Так-то оно так, Бурлаков, да ведь и свою шкуру нужно беречь. Проморгашь, и секанут по ней из дробовика, а то и картечью...

— Не понимаю, — Бурлаков развел руками, улыбнулся.

— Как не понимаешь? — Рабочий встал, приблизился,дохнул в самое лицо. — Норму прибавят по твоему «Майдебургу».

— Ну и хорошо! Нормы-то низкие. Сегодня до конца проверено.

— Ты либо дурак, либо родом так! — Рабочий сплюнул и ушел к станку.

— Поймите, ребята, — продолжал Николай, — нам дали новые детали. Нормы прикидывали на глазок. Пока еще нет полностью проверенного технологического процесса. Надо и нормировщиков понимать. Они тоже наши товарищи...

— Загнул, Николай! — Квасов оборвал его возбужденную речь. — Ты не приписывай их к лику святых. Знаем мы этих товарищей... Положи им в рот палец, по локоть отхватят. У них бога нет. Бумажная начинка вместо души.

Пантюхин дополнил с резкостью:

— Надо внедрить в Бурлакова центральную мысль: пусть не завихряется! Еще пока на одной жиле тянет. Вот когда перейдет на седьмую жилу, тогда разберется, да поздно будет. А сейчас так: «Каждый сверчок знай свой шесток».

— Не хочу на шесток! — Николай упрямо глянул на Квасова, решительно отмахнулся от наскочившего на него Пантюхина.

Старовойт пытался остудить страсти:

— Не кипятитесь, ребята. Тут никто ничего не должен навязывать. Поговорили и разошлись. А твои рекомендации, Пантюхин, мелкие. Что хорошего, если каждый сядет на свой шесток? Станем насекомыми — и только. Гордости у Бурлакова не отнимайте. Учтите: подошла девушка, хорошенькая, ничего не скажешь, как он перед ней себя поведет? Ясно, все силы приложит, а не осрамится.

Начали обсуждать новые резцы, не требующие частой заточки. Сошлись на том, что как бы ни были они хороши, но деньги отнимать у рабочего не должны.

Николай горячо доказывал свое: лучше резцы — выше выработка. Над ним начали зло подшучивать, что накаляло Николая.

Квасов решил прийти на помощь товарищу, погасить спор.

— Не надо так, видишь — смеются. На собраниях кого угодно за бороду тереби, лишь бы попал в нужную точку момента, а со своими, в тесном кругу, держись проще. Пользуйся не книжным, а своим разумом. В том и сила рабочего класса, что он брехню пропускает мимо ушей, не придает ей веса, а знай себе вкалывает. Языком копейного шурупа не завинтишь, Коля.

Разошлись по станкам и проработали до отбоя. Возле умывальника Квасов сказал Бурлакову:

— Не обижайся. Пришлось провентилировать вопрос в открытую, а то ребята могли бы обиду затаить, а тогда берегись...

— Дурными делами ты занимаешься, Жора, — ответил Николай. — Ведь это до поры до времени, а потом так тебя тарарахнут!..

— Меня? — Квасов старательно вытер руки по самые локти, завернул рукава, пригляделся к лопнувшей пуговке и, наконец, поднял на Николая потемневшие глаза. Лицо у него стало строгое, неприятное и какое-то опасное. — Запомни, если не уяснил: на собраниях можешь высказываться, на слетах ударников, хочешь — в газетку пиши. Но никогда не забывай: цех есть цех. Сегодня тебе указали намеками, не распоясывались. В цехе есть такое понятие — самодисциплина.

— Самодисциплина рвачей? — Николай озлился. — Говори уж открыто, что прикрываешься цехом?

Квасов причесался, посмотрелся в зеркальце, нехорошо улыбнулся.

— Гигантов на постном винегрете не выращивают. А Наташку предупреди: пусть не задирается. От нас уже третья такая вылетела...

И, не дождавшись ответа, Квасов ушел к Пантюхину, манившему его из-за кирпичной колонны.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Прошло около недели. Почти неделя раздумий, споров с самим собой. Неясные угрозы Жоры тоже волновали Николая, как бы он ни относился к ним. Идти к кому-то посоветоваться — выдашь товарищей, если раскроешь все карты. Возможно, вступала в права объявленная Квасовым самодисциплина и меткая фраза: «Цех есть цех».

Внешне все оставалось по-прежнему. Его не затрагивали. Фомин относился к нему с холодком. Марфинька старалась избегать. Пришлось зайти к ней на квартиру. На стук долго никто не отзывался. Наконец появилась хозяйка. По ее виноватому виду можно было предположить самое худшее. Николай потом не мог вспомнить без стыда, как он оттолкнул старушку от двери и вбежал в комнату. Марфинька была одна, но в комнате держался запах табака, неуловимо чувствовалось недавнее присутствие другого человека. На подоконнике — следы мужской обуви.

Значит, Жора бежал через окно: это легко было сделать — (второй этаж — не выше трех метров над землей).

Спрашивать, упрекать, требовать? По виду сестры легко заключить, что она готова к решительному отпору. Провожая брата, она не отвела глаз, и в них можно было прочесть: «Не могу, не совладала».

Оставалась Наташа. К ней тянуло, и возле нее было легче. Она была теперь единственным близким и дорогим ему человеком. Петровский парк сделался постоянным местом их свиданий. Он напоминал о покинутой земле и лесах Удолина. Сюда залетали птицы. Порою слышались их голоса. Николай и Наташа шагали рядом, иногда молча.

Раньше в мечтах ему представлялся собственный угол. Тумбочка, на ней безделушка. Какая — неважно. Слоник, птичка. Работа? Лишь бы рукам нашлось дело. Тумбочки пока нет, и не куплена безделушка. Рядом идет человек. И как бы хотелось, чтобы это продолжалось, покуда не угаснут их жизни!..

Догорал закат на кронах деревьев. Ласточки провожали солнце, взвивались и падали. Смелые, легкие, отрешенные от всяких забот.

Взвод учащихся академии, с голубыми петлицами, нес песню о сказке, которую нужно сделать былью, о разуме, давшем им стальные руки — крылья и вместо сердца пламенный мотор. Дворец Петра алел кирпичными стенами сквозь шахматную клетку листвы. Там готовили летчиков и

инженеров для воздушного флота. Им можно только позавидовать.

— А я вот не дотянул одного года в девятилетке, — признавался Николай, когда разговор коснулся самого острого — его дальнейшего учения. — Потянула мастерская, запахи курного угля, древний токарный станок, который казался мне чудом техники. Да и платили там прилично. Не смейся. Ты не знаешь нашего Удолина. Я чувствовал себя счастливым. Ребята завидовали мне не меньше, чем я теперь завидую вот этим слушателям академии имени Жуковского.

— У каждого свое. Ты все же не забыл математику?

— Кто его знает! В армии она вроде была ненужной. Когда вертели пикой, осваивали маневренную рысь и галоп, тоже обходились без нее.

— Жаль. Надо вспомнить. Если хочешь, я помогу. Осенью ты должен пойти учиться.

Он посмотрел на нее, как на ребенка, и в то же время с признательностью. Она искренне предлагала ему свою помощь, верила в него, не догадываясь, в какую даль ушли от него тангенсы и котангенсы, каким слоем пыли покрылся в его памяти учебник Киселева.

— У тебя есть преимущества, — уверяла она. — Во-первых, армия, затем — завод. Рабочим от станка поступить легче.

— Не прожить мне на стипендию. Приходится посылать родителям, — ведь они совсем старые. Кто же их кормить будет?

— Иди на вечерний. Не заметишь, как пролетят пять лет.

Наташа рассуждала трезво. Чтобы справиться с тем, что предстояло сделать их поколению, нужно учиться. Без тангенсов и котангенсов не обойтись.

Наташа принесла учебники — связку затрепанных книжек с помарками и пометками. Страницы их были замусолены ее пальцами, на полях виньетки там, где задачи посложней. Эти книги как бы перекинули мостик между ними. Всю ночь, почти до самой зари, Николай просидел над ними у прикрытой газетой лампы. Утром на трамвайной остановке он терпеливо дождался, когда мелькнет ее силуэт в окне вагона и, на ходу вскочив, протиснулся в глубину.

— Я заметила тебя, — сказала Наташа. — Больше того, я удержала для тебя краешек скамьи.

— Здравствуй, Наташа, — шепнул он. — Всю ночь провел над твоими книжками. По одному виду книг я теперь могу узнать твой характер.

— Владельца? — Она улыбнулась.

— Да, — сказал он. — У тебя примерный характер. Ты на совесть трудилась над каждой страницей.

— Заметил? — Она кивнула ему и снова улыбнулась. — Меня дядя за это ругал. Книжки потом он продавал, а испачканные оценивались вдвое дешевле. Эти остались лишь потому, что дядя умер и некому было отнести их в лавчонку. — Наташа посмотрела на осунувшееся лицо Николая. — Повторил? Не трудно?

— Очень трудно, — признался он. — До сих пор передо мной кружатся страницы. Мне придется не повторять, а, как я понял, пройти все заново. Можно пройти за два месяца? Ну, скажем, за три?

Наташа подумала.

— Пройти-то можно, а вот усвоить... Впрочем, у тебя есть шпоры и длинная шинель.

Вагоны гремели, пробегая мимо недавно открытой фабрики-кухни. Они собирались сходить туда. Вечерами там играл оркестр. Но если все свободное время отдать тангенсам и котангенсам, о танцах придется забыть. И так до осени, а потом и все пять лет, если только хватит пороху. После диплома до тридцати останется года три. А потом стукнет тридцать!

— Да... — он встрепенулся, — я не понял о шинели и шпорах.

— Разве? На экзамене ты должен появиться только в таком виде. Тогда к тебе отнесутся снисходительней.

— Я не хочу снисхождений.

— Придется захотеть. Потом догонишь. Нет, ты обязательно должен появиться в шинели. Если ты будешь знать хуже московских мальчиков, шинель тебя выручит.

Смеясь и подшучивая друг над другом, они дошли до завода, даже успели съесть по пирожку у окошка столовки.

Возле столовой они встретили Кешку Мозгового. Он с любопытством уставился на Наташу. Когда та ушла от них в заводоуправление, сказал:

— Жорж говорил мне о ее носике. Действительно, аппетитный... Да и в фигурке тоже есть своя прелесть...

Несмотря на цинизм, Николай на этот раз не обиделся; ему было приятно, что другие восхищаются Наташей, которую он втайне называл своей.

— Как же у тебя с Жорой? — спросил Кешка уже возле лифта. — Спиной к спине?

— Не твое дело, — ответил ему Николай, не желая говорить о своих отношениях с Жорой в таком легкомысленном тоне.

Весь день Николай размышлял о тангенсах и котангенсах. «Если я хочу быть с Наташей всегда, нужно подняться на более высокий этаж жизни, — думал он. — Недаром она принесла книжки и не случайно

проявляет такую настойчивость».

Конец трудового дня показался ему после бессонной ночи блаженством. Последнее движение — и хоть падай; он выключил мотор. Можно поднять руки, помахать ими, чтобы разогнать как бы закисшую кровь. Кругом погасал шум станков, но в ушах еще продолжало шуметь. Запоздалый визг заточного круга карборунда резко ударил по его барабанным перепонкам. Карборунд вскоре затих, и от него будто отвалился толстый и сырой человек. Теперь вращался только карусельный стан, заканчивающий урок по обработке глыбы металла.

Технолог цеха расположился возле станка Старовойта и что-то объяснял ему звучным, молодым голосом. Муфтина шла по пролету цеха в своей шляпке с острым пером и с черной кожаной сумкой. Закончив работу, она стремилась поскорее уйти из цеха. У нее была какая-то странная, подпрыгивающая походка и брезгливо поджатые губы. Вероятно, все люди казались ей одинаковыми, будто гайки в ящике, и она старалась поскорее избавиться от них.

Ожигалов незаметно подошел к Николаю, взял его сзади за локти,дохнул у самого уха:

— Некто Ожигалов. Привет ударникам!

— Руки не подаю, — Николай обернулся. — Видишь, какие?

— Вижу. — Ожигалов хлопнул его по плечу. — Предлагаю вместе окатить грешные тела в душевой.

— Согласен. — Николай понимал, что Ожигалов подошел к нему неспроста. — Только прошу обождать: надо убрать за собой.

— Давай, а я подымлю в кулак. У вас тут не курят?

— Не положено. Вон бочка.

— Ладно, нарушим.

Ожигалов присел возле грубо ободранных чугуновых деталей, казалось еще хранивших тепло, и закурил.

Николай приступил к уборке рабочего места. Он с закрытыми глазами мог бы найти теперь любую точку, требующую смазки. Он считал своей заслугой, что его старый заграничный станок не только ни разу не ломался, но и не барахлил. Не отказывали подшипники, не снижалась точность при обработке. Очищать станок всегда лучше самому. Знаешь, куда капнул, где сухо, а если заест — легче определишь причину. Николай смочил тряпичные концы в керосине и смыл грязь: там, где масло засохло, приходилось нажимать, чтобы не оставить кляксы.

Поймав одобрителный взгляд Ожигалова, Николай смущенно сказал:

— Не посчитай меня за копушу, Ваня, не могу иначе. Привык чистить

коня от ушей до самой репицы. А станок — что твой строевик. Не накормишь — не поедешь, не почишишь — отомстит.

Сегодня пришлось обрабатывать корпуса приборов. Мельчайшая металлическая пыль набилась в пазы станины, проникла в каждую щелочку. Чугунная пыль — большое зло для станка. Ее нужно вымести щеткой, продуть. Оставь хоть немного — начнет заедать, царапать. Однако зачем же пожаловал Ожигалов? Сидит, помалкивает, наблюдает. Дошел черед до подшипников. Николай достал масленку и принялся за смазку. Ему было приятно, что Ожигалов взглядом похвалил его за то, что каждое смазочное отверстие у него заткнуто самолично вырезанными деревянными пробочками с головками для удобства. Еще в сельской мастерской Николая натаскивал старый мастеровой, получивший увечье на заводе компании Зингер в Подольске. Он надоумил вытесывать пробочки, хорошо знать число отверстий для смазки и их порядок. Есть небрежные люди: тыкают носиком масленки, почти не глядя, попал, не попал — ладно. Летели из-за этого даже коробки скоростей.

Ожигалов выслушал соображения Бурлакова, поинтересовался смазочным маслом, растер его в пальцах, понюхал.

— Жаловались ребята, неделю не было в цехе хорошего минерального масла, — сказал он. — Паниковали или ввали?

— Правду говорили, масла действительно не было. Всучали вареное растительное. Зная нашу контору, я храню в своем ящике мобзапас. — Николай вытащил штауфер, масленку для твердого масла, выдавил немного на ладонь. — Полюбуйся на тавот, хоть ешь его. А цвет — янтарь!

— Масло что надо! — согласился Ожигалов.

Ему нравилась в Николае не только его аккуратность, возможно ввевшаяся в печенки после сельских мастерских с удачным инструктором и после армии, где отделенный командир обязан быть примером. Ему нравилась любовь Николая к рабочему месту, увлеченность. Нравилось, что он не поддается наплевательским настроениям, которые, чего греха таить, еще имеются у некоторой части гегемона. Свою авоську бережет, крик поднимет, если пропадет. А станок, за который государство отломило большой кус золота, считает чужим имуществом. Ожигалову вспомнился мадьяр, боец Интернационального батальона, тащивший винтовку за ремень по твердым кочкам засохшей донской грунтовки. «Возьми на плечо, мадьяр! Загубишь винтовку!» — крикнул ему заместитель командира, красивый, плечистый Оболенский, проезжавший у колонны на рыжем коне. «В чихауз новый есть!» — ответил мадьяр и тут же поспешно вскинул ружье на плечо, увидев разъяренного командира. Еще миг, и просекла бы

нагайка кожу на пыльной мадьярской спине.

Об этом мадьяре Ожигалов рассказал уже в душевой; лампочки будто плавали в парном тумане, фыркали и отплевывались запоздавшие любители бани, пахло отмокшей известью стен, телами и сосновыми матами.

— Никогда не забуду этого мадьяра. Как увижу разгильдяя, вредителя техники, так и хочется вызвать Оболенского на рыжем коне.

Литое тело Ожигалова хранило несмываемые приметы эпохи. Выколота на груди «Аврора» палила с Невы из одного (исторически точно) бакового орудия, а не залпом, как утверждалось в речах и юбилейных газетах. Над историческим крейсером Балтийского флота рассыпались тушевые наколки лучей по всей широкой безволосой груди. Наколки мог сделать любой, нехитрая штука, а вот пулевая метка пониже правого соска являлась более убедительным документом. Растирая спину Ожигалова, Николай заметил возле лопатки большой, похожий на воронку, шрам — место выхода пули.

— Попало же тебе, Ваня. Ишь как развернуло!

— Хирург в историю болезни внес: ранение дум-дум. Так назывались немецкие разрывные пули. Как нам говорили, ими белых снабдил фельдмаршал Эйхгорн, дошедший до Ростова.

— Тебе под Ростовом попало?

— Нет, Ростов брал Буденный. Мы от Царицына шли на Ставрополь. Май-Маевский, был такой генерал. Лично его повстречать не пришлось, дум-дум не позволила... Я-то с Балтики, туда призвали в пятнадцатом, с завода. Потом у Кожанова был, с черноморцами. В Астрахани, Камышине, калмыцкие степи клешем подмел. Да ты же в моей книжечке читал. Накалякал правду. Считают — нехудожественно, так я и не художник, Коля, а рядовой боец революции.

Разговор заканчивали, одеваясь в сырой, пропотевшей кабине. Вторая смена включила моторы. Стены дрожали. Подождав, пока уйдут незнакомые люди, Ожигалов спросил, опять-таки будто случайно:

— Коля, когда тебя Жорка отчитывал, как воспринимали это другие рабочие?

«Так вот для чего ты так долго мылился и забивал мне голову мадьярами и дум-думами!»

— Что именно?

— Ты же знаешь, о чем я спрашиваю, — недовольно ответил Ожигалов. — Нужно было ко мне прийти, посоветоваться.

— Чего же спрашивать, если все и без меня знаешь?

— Я спрашиваю об отношении рабочих. В одиночку Квасов не страшен. Один-то чердак легко провентилировать. А вот когда вредные идеи овладевают многими умами, тогда подожди закуривать. Партия должна вмешаться. А ты зря помалкиваешь. — Это говорил уже другой Ожигалов, непреклонный и бесшутейный. — Не согласился темнить. Правильно! Но когда один правильно понимает, а масса безразлична, не та цена такому пониманию. Хорошее должно овладевать умами масс и побеждать.

Николай поморщился, мягко остановил собеседника.

— Овладевают, только подыскивай, Ваня, доходчивые слова для своих разъяснений. А то как дело упрется в политику, так и посыплется слова одного размола. Рабочие своими детьми, семьями козыряют, подсчитывают бюджет, а ты в «общем и целом».

— Верно-то верно, — согласился Ожигалов. — А мой тебе совет: держись, иди впереди.

— Нести знамя?

— Опять придираешься? — Ожигалов уже оделся, даже неизменную кепку надвинул на затылок. — Самое главное — сломать в душе частокол: «Это мое, а это ваше». Чтобы каждый с удовольствием мастерил вот эти самые пробочки, деревяшечки, следил за имуществом честнее и строже. — И неожиданно закончил Фоминым:— А его мы либо вернем в нашу веру, либо прогоним. Стыдно за него... На бюро только я один до времени защищаю Митьку.

— Сказать ему?

— Не надо. Ты еще комсомол, а наше дело партийное, — отшутился Ожигалов с горечью. Он хотел еще что-то добавить, но помешала ввалившаяся в раздевалку оживленная парочка — Гаслов и Отто. Они спорили о чем-то.

Войдя и обменявшись приветствиями, они принялись раздеваться — каждый соответственно своему характеру: Гаслов чуть ли не с треском стаскивал с себя неудобный комбинезон, пропахший гарью; Отто медленно, как говорится, с оттопыренными пальчиками выбирал место, куда положить одежду; голыми ногами со следами резинок на икрах, он брезгливо топтался на ослизлом, грязном решетчатом мате. При нем была желтая коробочка с мылом и греческая губка.

— Ведь он же рабочий, погляди, какой чистоплюй, — тихо возмущался Гаслов, бросая под лавку тяжелые коты, зашнурованные веревочками. — С такими революцию не свершишь, Ожигалов. Не свершишь!..

— Почему же? — спросил Ожигалов.

— Побоятся вымараться. — Гаслов проследил глазами за уходившим на цыпочках Отто. — Можешь поздравить меня, Ваня: выдавил я из него ковкий чугун полностью, теперь добиваю литье под давлением и кокиль.

— Молодец, — похвалил его Ожигалов.

— Пущай не думает! — Белые зубы блеснули сквозь пушистые гасловские усы. — Пущай не говорят, что мы, расейцы, низко подпоясанные. Еще с Петра Великого принялись мы им шпильки в подошвы заколачивать...

Ожигалов недовольно поморщился.

— А уж насчет этого ты зря. Чего бахвалишься? Кокиль-то еще не в кармане. Вон и смесители у нас плохо работают — то кипятком, то лед. Вчера ток со струи бил, где-то труба к проводке подсоединилась...

— Ладно, пойду. — Гаслов вытащил из чемоданчика мочалку, распушил ее и пошел в душевую, где почти бесшумно плескался Отто.

Поднимаясь вместе с Ожигаловым по улочке к площади, испытывая приятное томление в отдохнувшем, чистом теле, Николай Бурлаков имел случай убедиться в осведомленности секретаря партийной ячейки во многих вопросах, казалось бы, щепетильных и скрытых от большинства. Ожигалова беспокоил, возмущал Фомин, который постепенно становился каким-то жупелом, носителем скверных настроений. «Ведь по отдельному члену партии судят о всей организации, — говорил Ожигалов. — Пойди зови к социализму, а тебе в душу суют Митю Фомина. Полюбуйтесь, дескать, сначала на своего строителя бесклассового общества!» Ожигалов обещал «обломать сучья с дуба». Но как он хочет обламывать сухие сучья, не объяснил. Если в свое время его занимал Квасов как объект для перевоспитания, то Фомин возбуждал неприкрытое чувство гнева.

У Николая мелькнула нехорошая мысль: не завидует ли Ожигалов популярности Фомина? И дальше: разве не главная задача коммуниста — добиваться улучшения личной жизни человека, так необходимой для решения высоких задач? А куда же отнести сочетание личных и государственных интересов — ту самую гармонию, лежащую в основе духовного строительства?

Ожигалов перевел разговор на более близкое, принялся хвалить Наташу, выставшую на глазах коллектива. Несмотря на явное замешательство Николая, посоветовал ему остановить свой выбор на Наташе.

— Это тоже входит в обязанности секретаря? — Бурлаков продолжал испытывать неловкость.

— Нет, Николай, это не по обязанности, а по дружбе. Наташу у нас на заводе давно знают и к тебе успели присмотреться за эти полтора года.

— Ну и как? Нашли изъяны в моей персоне?

— Конечно, есть и изъяны, один бог без греха. А в общем претензий к тебе нет. Не упускай Наташу. Настенька моя говорит: «Чего они медлят?»

— Даже так? — Николай смутился. — Ну, Настенька у тебя золото...

— Золото? — Ожигалов улыбнулся. — Золото — металл видный и блестящий. А моя Настя тихонько светится... не опалит. А всегда возле нее согреешься. Наташа человек другого плана. Но если искать параллели, то ее душевный меридиан пролегает где-то близко от моей Насти. — Желтоватые с крапинками глаза Ожигалова светились от удовольствия.

Был уже вечер. Зажглись фонари. Огни приукрасили улицу. Не стало видно ржавых труб, облупленных фасадов домов. Абажуры, похожие на шляпки подсолнухов, освещали комнаты московских квартир. Под абажурами двигались люди, будто пойманные в сети неизбежного тюля, супружеские пары, мелькали фигурки детей. И какой бы скудной ни казалась семейная жизнь мимолетному взору, все же у этих семей — крыша, стены, лампы-подсолнухи... И как бы бережно ни охранял Николай свое чувство к Наташе, от бытовых неурядиц не уйти. Все упиралось именно в крышу, в лампу-подсолнух. Жених из общежития, куда и сам-то попал только благодаря Жоре и прописался по милостиво дарованному ордеру.

У ворот их встретила Настя и попросила мужа немедленно подняться к Шрайберу.

— Дважды прибежал за тобой Майер, Ваня.

— Пойдем вместе, Коля, — сказал Ожигалов, — вдруг потребуется мужская сила. Со Шрайбером бывают сердечные припадки. Помнишь, Настя? В прошлом году на полу валялся. Двое едва подняли...

— Еще бы не помнить...

Шрайберу и в самом деле было плохо. Он лежал на диване, обложенный подушками. Возле него сидели Майеры и Вилли. Врач только что сделал Шрайберу укол. В комнате еще держался запах камфары. Левая рука больного была обнажена выше локтя.

— Я ему выписала больничный лист, — сказала вошедшему Ожигалову женщина-врач, полная и белокурая, с сережками в маленьких, изящных ушах. — Если опять понадобится, пришлите. У вас нет телефона?

Ожигалов развел руками.

— Дом не телефонизирован. Плохо с ним?

— Обычное. Сердце, — ответила врач и попросила полотенце.

Шрайбер узнал вошедших, кивнул им, глазами пригласил садиться. Ожигалов присел возле больного, взял его за обнаженную руку. Николай остался стоять у двери. Когда врач ушел, он тоже сел недалеко от Вилли, который держался с удивительным спокойствием.

— «Зачем я шел к тебе, Россия?..» — тихо пропел Вилли на ухо Николаю и ушел.

Фрида Майер принесла две грелки, одну с горячей водой, другую со льдом, еще не зная, какая из них понадобится. Она уже освоила русский язык и немедленно рассказала Ожигалову, почему случился сегодня у Шрайбера сердечный приступ. Он получил сообщение о том, что в Гамбурге арестован его родной брат, коммунист, а через два дня в политическую полицию вызвали жену Шрайбера. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.

— И мы тоже не знаем, что будет с нами, — сказала Фрида, прислонясь к мужу, сидевшему с унылым, серым лицом в кресле Шрайбера.

Сидя в этом кресле, Шрайбер обычно занимался вышивками.

— Ничего с вами не будет, — успокоил Ожигалов Фриду. — Если будет что-нибудь грозить, у нас останетесь. Переживете своего фюрера.

— Нет, нет, там наш фатерланд! — взмолилась Фрида.

— А Шоры нет? — тихим голосом спросил Шрайбер.

— Жоры нет, — ответил Ожигалов. — Он вам нужен?

— Он просил у меня пропуск. — Шрайбер говорил шепотом, с трудом подбирая слова.

— Какой пропуск? — Ожигалов повернулся к Фриде.

— Пустяки, — сказала она. — Пропуск в наш магазин.

— Ну и Жорка! — Ожигалов покачал головой. — Нет на него управы.

— Шора хороший, — Шрайбер почувствовал, что Квасова осуждают. — Шора — весело. Другие — скучно... — И, мучаясь оттого, что не может из-за слабости разговаривать, попросил об этом Фриду.

Та снова повторила тревожные новости из Германии, уже громче, чтобы слышал Шрайбер. И, в конце концов, заплакала.

Шрайбер лежал с полузакрытыми глазами. В правой руке он держал пустую трубку из корня вереска, добытого в той самой долине Эльбы, близ Люнебурга, которую всегда расхваливал. Еще бы, в долину цветущего вереска приезжали вдохновляться самые знаменитые поэты. Пальцы Шрайбера, обожженные огнем и кислотой, были расширены в суставах, на левой руке чернел якорек; Шрайбер плавал на подводных лодках в первую

мировую войну. Выше якорька лучилась пятиконечная звездочка — уже тогда он был коммунистом.

— Спасибо, товарищи, — поблагодарил Шрайбер. — Я хочу очень спать... — И, с трудом повернувшись к Ожигалову, сказал. — Вы не пишете фатерланд. Мой жена будет хуже...

Саул и Кучеренко поджидали внизу, в коридоре, у лестницы. Вилли рассказывал им о причине сердечного приступа у Шрайбера, и оба были взволнованны, каждый по-своему.

— Ничего не попишешь, — сказал Ожигалов, выслушав их, — кабы Гитлер был из нашего района, мы бы призвали его к порядку. А теперь что, все будет плыть по волнам истории, ребята.

— Бесчувственный ты человек, — сказал Саул. — Надо собрать митинг протеста, ноту послать, выручить.

Тогда Ожигалов поближе нагнулся к Саулу и шепнул ему:

— А знаешь, о чем просил Шрайбер?

— Не знаю.

— Он просил ничего не писать в фатерланд. Он лучше знает обстановку и своих противников. Сказал: жене будет хуже. А нам нужно поменьше митинговать, получше работать. Не кривись, сам понимаю: приелись эти слова, А ты в смысл вникни. Гитлер не только на Шрайбера — и на нас замахивается. Только нам без камфары придется обходиться, ребята, без сердечных припадков... — И желваки на строгом лице Ожигалова будто окостенели.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ожигалов предложил Фомину отчитаться на бюро в следующий четверг. «Учти: будем гонять за производительность и брак, — сказал Ожигалов. — О настроениях расскажешь и о самодисциплине». — «Ты, я вижу, сплетнями живешь!» — вспыхнул Фомин и тут же осекся. Сегодня он не узнавал добродушного Ваню Ожигалова.

У себя в конторке Фомин грудью навалился на стол: зажав ухо ладонью и шевеля по привычке мясистыми губами, заполнял графы по браку и производительности труда. Он думал о том, что не ложилось на бумагу, не подчинялось счетной машинке. «Какие настроения имеет в виду Ожигалов? И кто донес ему об этой проклятой самодисциплине?» Глубоко презирая ненавистную канцелярщину, Фомин все же верил в ее чудодейственную силу, верил в отточенное оружие цифры — с ним можно идти на любого врага и салютовать всюду, вплоть до самых высоких инстанций. Лишь бы вывести хороший процент!

В конторку, как было заведено, заходили все, кому ни взбредет на ум, — технологи, техники, нормировщики и даже наладчики. Если дела не находилось, устраивали коллективные перекуры.

Беспрерывно звонил телефон. Отовсюду требовали цифры, прежде всего цифры, нажимали, угрожали, и никто не спрашивал о человеке. Никому не было дела до того, что у человека, отвечавшего по телефону, — астма, что у него болит затылок, он задыхается от зловонного дыма плохих папирос и махорки. Титанически возраставшая индустрия руководилась центральным тезисом: «Техника решает все», и человека привешивали к технике, по мнению Муфтиной, с железной волей большевистской целеустремленности. «Пусть люди погибают, — думала Муфтина, — зато в этом гигантском водовороте возникают контуры огромного здания. Те самые флегматичные русаки, над которыми когда-то скулили и заламывали руки либеральные интеллигентишки, сейчас ошеломляли вулканически клокотавшей энергией и кичились полным отрешением от личного благополучия. Домашний уют считался мещанством, забота о деньгах — шкурничеством, желание поесть досыта — обжорством. Почти никто не изъяснялся спокойно; люди разучились выражать свои мысли в стройной, внятной форме и перешли на язык междометий, на жаргон и брань разной тональности, засоряя и уродуя животворное русское слово; а ведь некогда

даже московские просвирни изумляли богатством речи своей Александра Сергеевича Пушкина.

Бог мой, — ужасалась Муфтина, — неужели это та самая матушка Русь?! Неужели эти люди — потомки народа, породившего инока Пересвета, святого Александра Невского, киевского князя Владимира Красное Солнышко, Лермонтова, Тургенева?»

От жестоких раздумий и тягостных сопоставлений Муфтину отрывал невыносимо развязный окрик Фомина, возвращавший ее в неприглядную действительность механического цеха. Лихорадочно работающий мозг Муфтиной и ее арифмометр начинали этого «человека из джунглей» процентами, цифрами, анализами. Их требовала коммунистическая ячейка, всемогущее и всепроникающее бюро, способное даже Фомина, гранитного кумира новой эры, повергнуть ниц. Над Фоминым незримо возвышался некий повелитель с прищуренным подозрительным глазом, в кепке из сукна-дешевки. В хлипком сознании Муфтиной он был беспощадной, исступленной силой, занятой кладкой стены, в которую он замуровывал все, к чему она привыкла с первых дней своего светлого детства. «Конь бледный» и «конь вороной» уже не звенели удилами, и не их понукала Россия...

— Дорогой товарищ! — Фомин легонько прикоснулся к локтю Муфтиной линейкой. — Размечтались?

Муфтина вздрогнула, очнулась.

— Вероятно... Простите... У меня тоже есть право на мечту.

Фомин бесстрастно пропустил ее слова мимо ушей.

— Прошу повернуть еще разочек вот эти цифры на машинке. Арифметика не сходится... — Он ткнул в графу себестоимости. — Дороговато нам обходятся эти муровые винты-шпильки.

Муфтина, скорбно нахмурившись, углубилась в проверку расчетов с присущей ей профессиональной добросовестностью.

— Все правильно, товарищ Фомин.

— Правильно, понимаю... но не в нашу пользу. — Фомин замялся, добавил: — Мне нужно для отчета.

— Истинная картина... — Муфтина решила воспротивиться, хоть на миг выйти из-под непрерывного иссушающего гнета.

— Истина не может существовать без перспективы, — глухо процедил Фомин.

— Что вы рекомендуете? — перехваченным голосом спросила Муфтина.

— Отыщите.

— Кого?

— Некого, а чего — перспективу.

— Хорошо. Я отыщу вам ее, пе-ре-спек-ти-ву. — Искаженное слово Муфтина язвительно повторила по слогам.

На большее ее не хватило. Будто в тумане, возникло в памяти предостережение Коржикова, ее хорошего знакомого: «Опасайтесь их раздражать. При наличии противоестественного симбиоза русской интеллигенции и русских хамов нас может спасти только одно: инстинкт самосохранения».

Подгоняя цифры для искаженной «перспективы», Муфтина испытывала удовлетворение особого рода. Организация, для которой готовился отчет, уже не представлялась ей теперь всезнающей и всемогущей.

В дверях появилась Наташа. Оглядевшись, она с решительным и независимым видом направилась к столу, отведенному для нормировщиков.

Муфтина со сладострастным восторгом следила за поединком между этой молоденькой девушкой и Фоминым. Как экономист и аналитик, она правильно понимала и чисто производственную и нравственную основу этого поединка. Государство налаживало порядок не только лозунгами, но и практическими действиями людей. Директива могла воплотиться в жизнь только в результате непрерывной деятельности миллионов. Не будь этих неутомимых, вечно снующих человеческих существ, самые возвышенные призывы оставались бы мертвой, плоской воциной.

Наташа поправила связанные на затылке косички, громко сообщила:

— Старовойт тоже показал хорошие результаты.

Фомин промолчал, хотя одно упоминание фамилии Старовойта бесило его.

— Бася Штейн провела выборочные анализы по фрезерной группе, — продолжала Наташа. — Можно сделать выводы, что выработка отдельных рабочих значительно повышается.

Фомин, не повернувшись, буркнул в ответ что-то неопределенное, и Наташа имела основание упрекнуть его:

— Мы заняты общим делом. Почему вы... почему всем нам трудно с вами работать? Если мы поступаем не так или мешаем, скажите...

Ее порыва хватило только на эти невнятные фразы. Лицо Фомина стало еще более отчужденным; мгновенно сузившиеся глаза не обещали ничего хорошего.

— Советую одно, — вымолвил он недружелюбно, — не бегать по разным начальникам. Производство — это... комплекс.

— Комплекс чего? — спросила Наташа.

— Комплекс усилий, настроений, дисциплины. — Он старательно выделил последнее слово, ожидая отклика. Но Наташа молчала и тоже ждала. — Я беседовал с вами, — Фомин подчеркнул и это свое обращение на «вы», —зачем мне повторяться? Производство — клавиши. Ударишь не там — нет музыки.

— У вас музыка, а кругом дисгармония.

Наташа демонстративно вышла, уверенная в своей правоте, но это давалось ей нелегко: на глаза навертывались слезы.

— Как вы можете терпеть эту девчонку? — спросила Муфтина с брезгливой гримасой, не упуская в то же время возможности разогреть страсти.

— Почему бы мне ее не терпеть? — сказал Фомин, несколько неосчастливленный этой поддержкой.

— Она так непочтительна с вами.

— Мне почет не нужен. Я не архиерей. А работник она хороший.

— Вы находите?

— Представьте себе... Ну, сладили вы с той страничкой? Давайте-ка сюда, мышка!

— Еще не успела. — Муфтина задохнулась от обиды.

— Нужно было работать, а не развешивать уши. Подсчитать несколько цифр.

— Не подсчитать, а сфабриковать...

Фомин стерпел этот открытый выпад. Муфтина умела поразительно ловко маневрировать любыми цифрами. Благодаря ее комбинациям отчет для бюро в общем обрисовывался не так уж плохо. Механический не подводил, зависящие от него другие цехи справлялись. А ведь заставляют чуть ли не на голове отплясывать. Можно будет не только оправдываться — обрушиться нужно, наступать. Испорченное с утра настроение полегоньку поднималось.

Но предчувствие грядущей беды не давало Фомину покоя даже в самые радужные минуты. Какая-то тяжесть на сердце. Подстерегает что-то. А что?..

Опять заточил внутри червячок. Коммунист и боец боролся с незримым врагом.

Оказывается, легче вести эскадрон по разведанным тропам, нежели продираться в одиночку сквозь цепкие кусты. Вынул бы клинок, прорубился, да руки неменют.

Муфтина верещала арифмометром, пронзительно сверлила его своим

взглядом. Надежды на нее никакой. В случае чего открестится, продаст за два гроша.

В конторку протиснулся пожилой человек с невероятно раздутым портфелем. С любезной улыбкой на круглом жуликоватом лице он представился агентом отдела снабжения и сбыта подмосковного завода, производившего сельскохозяйственные машины. Агент с неделю назад созвонился с Фоминым по телефону насчет заказа на червячные передачи из калиброванной стали — серебрянки, и Фомин обещал принять заказ, надеясь на Квасова, который охотно шел на выгодные аккордные работы.

Сейчас, перед отчетом, сгустились тучи, и появление агента с подозрительно набитым портфелем было совсем некстати.

— Ступайте наверх. — Фомин не поддавался ни на какие уговоры. — Я — слепой исполнитель. Прикажут, спустят — сделаем.

— Спасибо, товарищ Фомин. — Агент быстро, будто из сита, рассеивал свои благодарности. — Мне нужно было только получить ваше согласие. Наверху мы оформим... Если придется вам прихватить сверхурочные или аккордные, мы постоим, у нас фирма солидная, товарищ Фомин. Червяки вас резали и нас режут, — он черкнул себя пальцем по горлу; под гусиной кожей шестидесятилетнего человека вверх и вниз перекатился кадык. — Как вы насчет хромового реглана? Нет, нет, абсолютно будьте спокойны, в твердейших ценах, на полном законе, в порядке взаимного обеспечения строительства социализма...

Фомин с отвращением отстранился от назойливого просителя, хотел было шугануть его и вдруг осекся. С внутренним содроганием он неожиданно уяснил себе свою собственную роль в этой сделке. Он посмотрел на себя глазами этого агента, подкатившего к нему как к сообщнику, и не постеснявшегося при свидетеле предлагать реглан.

Агент это понял. Будучи знатоком психологических нюансов у своих бесчисленных клиентов, он тут же исчез, будто растворился в гуле цеха.

Фомину тоже нужно было в цех, посмотреть, что делают там настырные нормировщицы. В последнее время они больше всего беспокоили Фомина.

— Товарищ Муфтина, вы остаетесь на проводе, — Фомин заправил под картуз волосы, проверил секундомер. — Буду на фрезерной группе.

— Червяки принимаем? Я так понимаю. Но если...

Фомин опалил ее уничтожающим взглядом.

В дверях он столкнулся с Наташей. От прежнего ее задора не осталось и следа. Меловое лицо, скорбно сжатые губы и глаза, будто налитые страданием и безвыходным отчаянием.

Можно было предположить все что угодно — ведь она ходила к Жорке Квасову.

— Что случилось, Наташа? — Фомин схватил ее за руку повыше локтя и почувствовал, как она дрожит.

— Ничего. Пустите... — Страдальческая гримаса на ее лице исчезла, оно выражало ненависть, нет, хуже — презрение.

— Обидели?

— Нет! — Наташа неожиданно окрепла. — Нет! — жестко повторила она, пытаясь уйти.

— Кто?

— Никто! Теперь я поняла вас. Производство там, где вы, действительно стихия... Я ударила не по той клавише...

Фомин выпустил ее руку и, ссутулившись, чувствуя, как напрягается каждый его мускул, вышел из конторки, пошел по пролету между станками.

Он не слышал голоса станков, хотя они жужжали, стонали и, казалось, пытались оторваться от фундаментов, приковавших их к месту. Фомин делал вид, что не слышит подзывавших его людей, он тяжело шел к своей цели.

Фигура Квасова увеличивалась по мере того, как Фомин приближался к ней. Вот он перед ним, выжидающий и напряженный. Зубастая фреза обгладывала металл артиллерийского прибора. Но не станок привлекал Фомина. Девчушка с косичками, облившая его презрением, — вот барьер, который он должен взять!

— Ты? — в упор спросил Фомин.

— Я... — Квасов понуро ждал: сейчас решение принимал не он.

Пальцы Фомина сжались, кулаки набрякли. Багровые пятна расползлись по щекам, лбу, атлетической шее.

Квасов полуоткрытым ртом глотнул воздух. Глаза его стали странно выпуклыми, будто стеклянными. На мокром виске налилась и запульсировала жилка. Будто в тумане, увидел Фомин испуганно застывшую Марфиньку, она ближе всех; все остальное теряется, расплывается, только шумы резко бьют в черепную коробку.

Пауза угрожающе затянулась. Квасов машинально снял отработанную деталь и выключил мотор. Фомин приблизился почти вплотную, но Квасов остался на том же месте, не отступил ни на полшага. Он близко видел изменившееся до неузнаваемости лицо Фомина, чужое лицо с побелевшим шрамом и полуопущенными ресницами, и рот, и челюсть, и глаза, потемневшие от гнева.

— Ударил, негодяй? — еле выдавили губы Фомина.

- Нет!
- Нет?
- Хуже...
- Что хуже?

Никогда еще Квасов не видел Фомина таким. В памяти промелькнул один из эпизодов, рассказанный Фоминым: как он смахнул голову белого хорунжего на волжском пустынном берегу. Хорунжий перед смертью тоже, надо полагать, узрел эти сцепленные челюсти, синие губы и мертвый взгляд и затем — блеск клинка. Нет, не этот сжатый в пружину человек хаживал с Квасовым в роскошные бани, пил перцовку и вылавливал складным ножичком кусочки маринованного судака из жестяной банки.

- Отвечай, что хуже? — прохрипел Фомин.
- Я замахнулся на нее шведкой...
- Шведкой?
- Шведским ключом...
- Шведкой, — повторил Фомин и облизнул губы. — Так... Не ударил?
- Нет! — Квасов совсем растерялся. — Клянусь жизнью, только замахнулся, Фомин! — И быстро поправился:— Товарищ Фомин.
- Пойдем.
- Куда?
- За мной...

Они пошли цехом, и все смотрели на них. Фомин шел впереди, Квасов сзади — шел с потеряннным видом, не оглядываясь по сторонам, не слыша ободряющих реплик своих единомышленников.

В конторку первым вошел Фомин и, задержавшись у двери, пропустил вперед Квасова. Потом он прислонился спиной к двери с намерением никого не пускать. В конторке они были теперь вчетвером. Муфтина сидела на своем месте, ее пальцы словно застыли на черной ручке арифмометра. Наташа поднялась при их появлении, стояла возле стола.

- Извиняйся перед ней, — глухо потребовал Фомин.
- Не могу, — произнес Квасов и упрямо потупился.
- Гордишься?
- Не знаю... Не могу... Лучше сам накажи. Тащи хоть в трибунал.
- Извинись, Квасов. — Фомин медленно направился к Жоре, глаза его помутнели, кулаки снова сжались.
- Как хочешь, не могу... — Квасов грубо выругался. — Я таким... — И опять произнес гнусность.

Наташа закрыла лицо руками. Даже страстно жаждавшая скандала Муфтина вскрикнула от негодования.

— Так... — Фомина передернуло, в голову бросилась темная кровь. — Так... — Фомин медленно, угрожающе сбывчившись, подошел к Квасову, но не вплотную, как опытный боец. Он остановился на расстоянии и, не размахиваясь, а как-то снизу страшно ударил его кулаком в подбородок.

Квасов не успел увернуться. Его отбросило к застекленной стене, зашатавшейся от удара его большого тела. Удержавшись на ногах, он поднес руку к губам и тыльной стороной ладони размазал кровь по правой щеке и уху.

— Иди, сволочь... — прошипел Фомин, дуя на кулак. — Вот тебе мой трибунал... Иди, жалуйся, кричи, зови общественность... призывай к дисциплине...

— Нет, — Квасов провел по лицу теперь уже ладонью, — с гадами иначе не поступают. Спасибо, Фомин...

И крупными шагами, не глядя ни на кого, вышел из конторки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Вечером этого же дня Муфтина, сгорая от нетерпения поделиться новостями, появилась в квартире одной из своих институтских подруг. Эта большая квартира перешла к подруге после смерти ее отца, уважаемого ученого, имевшего персональную броню на жилплощадь.

Коммухоз все не решался провести уплотнение. Пока он раскачивался, институтская подруга, такая же, как Муфтина, перезрелая девица, держала «салон догнивающих настроений». Так окрестил сборища у подруги Павел Иванович Коржиков, или «кузен Серж», как почему-то называли его в этой среде. В тридцатые годы некоторая часть интеллигенции чувствовала, что стоит на зыбкой почве.

Не все примирились с новыми порядками, не всем пришлось по душе демократическое переустройство общества и нигилистическое отношение к прошлому России: в те годы не вспоминали ни Петра, ни Александра Невского или Кутузова. В провинции старая интеллигенция окрепла раньше, она легче преодолевала предрассудки. Там открывалось широкое поле практической деятельности, народ и его деяния были как-то ближе. А в столичных городах еще много оставалось непроветренных уголков. Впрочем, нужно сказать, что подруга Муфтиной была женщина абсолютно аполитичная и, устраивая свои сборища, не преследовала никаких антигосударственных целей. Она жеманно называла себя современной Авдотьей Панаевой, была любезна и предупредительна и даже не очень корыстна.

Если глядеть со стороны, то с гостями в салоне новоявленной Авдотьи Панаевой происходили удивительные метаморфозы, смешившие такого трезвого скептика, как Павел Иванович Коржиков. Рядовые тишайшие совслужащие превращались здесь в стремительных и ядовитых хулителей всего сущего. Деловоды (так называли тогда делопроизводителей), экономисты средних талантов, представители учрежденческой серятинки считали своим долгом заочно просвещать массы и очно друг друга, спорить по важнейшим вопросам политики, не признавать Чичерина или Литвинова, свободно вращать глобус и диктовать свои законы человечеству.

И это было тем более нелепо и убого, тем большую вызывало брезгливость, что люди, собиравшиеся в одном из переулков Арбата, сами-то были совершенно ничтожны как личности. Если они пили водчонку, то в

складчину; в карманах приносили пяточек сосисок или парочку огурцов и при этом всячески подчеркивали свою щедрость; из соображений экономии пили презренный чай, не отваживаясь раскошиться на почти недоступный кофе; в те времена отечество ввозило из-за границы станки и машины и не могло позволить себе роскошь импортировать колониальные товары. На двух ломберных столиках, оставшихся в наследство от умершего ученого, большого любителя карт, играли либо в преферанс, либо в азартную «трынку»; ставки были ничтожные, риск копеечный.

Современные ценности как материального, так и нравственного порядка были им непонятны. Убогость мышления, узкий охват перспективы, в конце концов, им самим не приносили ни пользы, ни морального удовлетворения; все совершалось помимо их воли и вопреки их прогнозам. Их совместные или разрозненные усилия напоминали попытку остановить без помощи рубильника ротор или маховое колесо. Но в этом небольшом салоне, в четырех стенах, при зашторенных окнах, им казалось, что они — сила, что от их чревоуещаний может произойти польза или перемена в самой структуре эпохи.

Среди этих самоопустошаемых людей выгодно выделялся Павел Иванович Коржиков: отнюдь не осанкой (ему ли соперничать с бывшими конногвардейцами, ныне бухгалтерами или архивариусами!), и не бывшими званиями (кроме гражданина, ему нечего было добавить к своей непримечательной фамилии), и не эрудицией (возможно, он скрывал ее, оставаясь молчаливым слушателем при любом столкновении мнений). Но Коржиков был окружен некоей тайной. Он всегда сохранял ровное расположение духа, не открывался собеседникам. И эта загадочность импонировала романтической неудачнице Муфтиной.

«В нем что-то есть, — нашептывала она своей подруге, жившей в более реальном, чувственном мире. — Таким я представляю себе Савинкова. Нет, нет, конечно, не внешне — Савинков напоминал демона, — а внутренне, в его скрытом ореоле. Ты заметила, любознательность Коржикова никогда не переходит в вульгарное любопытство. С ним интересно делиться своими мыслями, он глубокий, умный, сосредоточенный». Подруга отвечала заученно: «Дусенька, я обожаю тебя, ты всегда остаешься сама собой. Как я завидую твоей цельности, дорогая моя Муфточка!» И спешила, она постоянно спешила к своим обязанностям хозяйки дома.

В этот вечер Коржиков явился гораздо позже обычного. Отвесив общий поклон и поцеловав руки дамам, он по возбужденному лицу Муфтиной сразу же догадался, что она чем-то «переполнена». Вытащив из

кармана греческие маслины, завернутые в пергаментную бумагу, он с учтивым поклоном передал их хозяйке, а та, развернув пергамент, закатила глаза в подобострастном восторге.

— Маслины? Неужели? Настоящие греческие? Они пахнут Сицилией!

В Сицилии хозяйка салона никогда не была и, пожалуй, не сумела бы указать на карте Грецию, хотя и воспитывалась в привилегированном учебном заведении.

Коржиков знал все недостатки хозяйки салона, но не показал виду, что знает их, покорно улыбнулся, открыв искусственные, слишком белые и слишком ровные, зубы и сказал:

— Они (имелись в виду маслины) созревали для вас на древних оливах...

Муфтину покорило, когда ее подруга с милой непосредственностью отняла Сицилию у Муссолини и подарила ее Венезилосу, но Коржиков остался верен себе и не обидел замечанием запутавшуюся женщину.

— Вот этим вы еще больше импонируете мне, — сказала Муфтина, когда Коржиков присел возле нее и, вытащив платок, вытер вспотевшую под шляпой макушку.

— Благодарю вас, — ответил Коржиков и зрачок в зрачок, словно граф Калиостро (как подумала Муфтина), посмотрел на нее. — Вы хотели со мной поделиться чем-то важным... — И он назвал ее по имени и отчеству.

— Да. Безусловно, — начала она взволнованно. — Я, Павел Иванович, стала свидетельницей кошмарного случая... Возможно, я нахожусь в плену собственных эмоций, но это симптоматично для них... для тех... Вы понимаете, кого я имею в виду? — Коржиков кивнул головой и подвинулся к ней ближе вместе со стулом; на лице его отразилось сосредоточенное внимание.

Муфтина глубоко вздохнула, поправила кокетливым жестом локон, будто случайно упавший на лоб (она возилась с этим локоном не меньше двух часов, прежде чем добилась, чтобы он случайно падал на лоб), и стала подробно рассказывать о поразившем ее случае. Чувствуя живую заинтересованность Коржикова, она не жалела красок и не замечала, что собеседника трогали не ее эмоции, а голые факты. Интерес Коржикова обострялся тем, что Павел Иванович знал Квасова, хотя избегал встречаться с ним по целому ряду соображений. Но о них он не считал нужным распространяться перед этой экзальтированной особой.

Когда Муфтина закончила и, приложив одну руку к груди, выпила полстакана воды, Коржиков успел принять безразличную позу.

— Вы разрешите курить? — Вытащив портсигар и щелкнув крышкой,

он предложил папиросу своей даме.

— О нет, нет! Не соблазняйте, Павел Иванович. Никогда не курила, хотя иногда так хочется забыться, одурманить себя!

— М-да... — многозначительно протянул Коржиков. — Меня взволновал и озадачил ваш рассказ об этом рабочем. Неужели начальник, коммунист осмелился его ударить?

— Ударил!

— И мастер останется безнаказанным?

— Уж не знаю, Павел Иванович. — Муфтина пожала плечами. — Если Квасов поднимет шум, то, конечно... Но Квасов не поднимет.

— Неужели он такой забитый, невежественный?

— Что вы! Квасов — это сгусток протеста. В нем бурлит возмущение России, скованной, опрокинутой навзничь.

— Но она вывернется?

— Кто?

— Россия, опрокинутая навзничь?

— Если соберется много таких, как Квасов, — да! — Муфтина сама не ожидала от себя столь безапелляционного вывода.

В это время за преферансом обсуждали «падение» Парранского, некогда тоже посещавшего салон. Говорил представительный, властный старик с аккуратно подстриженной седой бородкой и алыми молодыми губами.

— Я с ним учился, если хотите знать, и я уже старец, а он прыгает козликком.

— Почему же? — спрашивал партнер, только что открывший карты и глубокомысленно соображавший, можно ли получить лишнюю взятку на трефового валета. — Может быть, Андрей Ильич прибегает к этому, э-э, как его, китайскому снадобью... женьшеню?

— Нет, он просто подлец! — провозгласил старик. — Подлецы хорошо сохраняются до глубокой старости. Их ничто не волнует. Сегодня они продаются одному, завтра — другому.

— Позвольте мне снять у вас сорок? — Рука партнера умело выписывала цифры на разграфленном листе бумаги. — И не забывайте: Парранский произносится с двумя «эр».

— Он дважды разбойник. Вы его видите здесь? Нет. И не увидите, — басовито произнес бывший кавалергард, ныне работающий в Центросоюзе. — «Другие ему изменили и продали шпагу свою...» — пропел он фальшивым голосом. — Русская интеллигенция, смею вас уверить, всегда была швалью. Нигде с таким успехом не вербовались политические

проститутки... извините, мадам. Но из песни слов не выбросишь. Рабочий стоит на своем, как скала. Крестьянин никогда не отойдет от хвоста своей коровенки. А интеллигент? Квашня — и только!

— Вы бы, Модест Карпович, лучше доложили почтенной публике, как вас, кавалергардов, Семен Михайлович из Ростова выпер, несмотря на явное преимущество ваше перед интеллигентами, — беззлобно, но с ехидцей укорил басовитого кавалергарда бывший судейский чиновник, ныне юрисконсульт одного из учреждений за китайгородской стеной.

Вслушиваясь в перепалку «самоедов», Коржиков улыбнулся чему-то своему и продолжил разговор с Муфтиной; судя по всему, он направлял его к какой-то своей цели.

— Вы меня заинтриговали, — сказал он вежливо, но без слащавости, — и вы меня обяжете, если дополните ваш рассказ кое-какими деталями. Не удивляйтесь. Мне кажется, если говорить откровенно и доверительно, неизбежный в будущем распад обусловят не эти интеллигенты, а Квасовы. Кто заполучит их, тот и одержит победу. Белый генерал всегда будет брэнчать доспехами; типы вроде Савинкова всегда будут начинять бомбы и в одиночку прятаться в подполье; такие вот интеллигенты при любых режимах будут плакаться, бить себя в грудь, играть в карты и рассовывать копеечные выигрыши по карманам. А вот рабочий класс, Квасовы...

Муфтина впервые слышала от Коржикова такие откровенные речи, и они чем-то пугали ее, звали, куда ей вовсе не хотелось идти. У Муфтиной была повышенная мнительность, непреодолимый страх перед грубой и непреклонной силой, правящей Советской страной.

Табачный дым в комнате казался ей пороховым. Форточек обычно не открывали: везде мерещились «уши ОГПУ». Дышать становилось труднее, а врачи подозревали у Муфтиной астму.

Коржиков охотно согласился проводить ее, и они, спустившись по темной лестнице в глухой переулок, пошли по направлению к Собачьей площадке.

— Смертельно устала, — жаловалась Муфтина, крепко опираясь на руку Коржикова. — Я устала от постоянной грубости, от бескультурья, от отсутствия элементарных удобств на работе, от окриков и понукания. За стенами учреждения человеку нужно выбрасывать из головы все, что относится к службе. А я не могу... Вот иду с вами, а мне мерещится Фомин, его наглость, слышится шум станков... Я легла бы под колеса трамвая, если бы знала, что они раздавят меня сразу насмерть. Но я боюсь очутиться в больнице Склифосовского изувеченной и живой...

Она умолкла и, полузакрыв глаза, силилась представить рядом с собой

не этого флегматичного и корректного человечка, неспособного даже на крохотную интрижку, а своего красивого и пылкого ротмистра.

Муфтина говорила почти шепотом, а Коржиков старался увести ее от лирических воспоминаний к реальной действительности. Не ротмистр и не его сувенир в виде подковного гвоздя, а военные приборы, недавно заказанные заводу, интересовали Коржикова. И что ему было до переживаний этой женщины, напуганной формальностями и тонкими анкетными ловушками, которые якобы расставлял спецотдел ОГПУ для людей, допускаемых к секретной переписке и не менее секретным заказам.

— Кстати... — последовали разные витиеватости, — однажды вы упомянули о приборах, которые копируются с иностранных образцов.

— Простите, опять вы о скучных вещах. Не находите ли вы, Павел Иванович, что луна похожа на тамбурин?

— Вот и Собачья площадка, — Коржиков, сняв шляпу, приложился к руке Муфтиной. — Я постою здесь, пока вы не войдете.

— Может быть, заглянете ко мне? У меня есть несколько зерен натурального йеменского кофе.

— Спасибо. Нет, я постою здесь. К вам не хотелось бы...

И Павел Иванович Коржиков вновь обретал свою загадочность. Муфтиной казалось, что он будто застывает, от него веет холодом. С этим ощущением она оставила его в тени балкона, и ей стоило большого труда, чтобы уйти не оглянувшись.

Когда Муфтина скрылась из глаз, Коржиков подождал, пока пройдет компания подгулявших молодых людей, и торопливо пошел к Поварской, надеясь на Кудринской площади отыскать машину. За полчаса шофер довез его до места. Щедро расплатившись, Коржиков постоял у фонаря. Когда машина уехала, он направился в противоположную сторону, прошел не менее двух кварталов, затем свернул в глухой переулок и, посмотрев на часы, пошел быстрее. По-видимому, он считал, что здесь предосторожности излишни.

Коржиков шел к Аделаиде. Ему хотелось сегодня же, не откладывая, пополнить свои сведения о Жоре Квасове. Но встретиться с самим Квасовым он не хотел и потому решил сначала вызвать Аделаиду через знакомых ему квартирантов. Удачное стечение обстоятельств позволило ему осуществить этот план. Квасова дома не было, уже третью ночь он пропал неизвестно где. Правда, свое обещание принести пропуск в Инснаб он выполнил. Но Аделаида не могла воспользоваться пропуском, так как он был выдан на имя мужчины (Шрайбера). Комбинация с пропуском больше всего беспокоила Аделаиду.

— Ты не беспокойся, Ада, — сказал Коржиков, дружески прикоснувшись губами к ее покрасневшей щеке. — Твои заботы — мои заботы. Только нам необходимо условиться: я — твой кузен Серж. Так, не правда ли? Это на тот случай, если мне нужно будет познакомиться с твоим сожителем. — Она равнодушно кивнула, не придавая значения подобным пустякам; главное — не упустить возможность приобрести в Инснабе «потрясающие вещи». — И все-таки, где же твой Квасов?

— Ну не все ли равно? — ответила Аделаида лениво. — Если я не волнуюсь, то тебе что за дело? Если хочешь знать, он, кажется, отыскал себе какую-то девчушку из мастеровых. Ты знаешь, у них это просто. Кто и что она, мне безразлично. Когда же ты уладишь дело с пропуском?

Коржиков пообещал не затягивать, поспешно распрощался и ушел. Было около двух часов ночи, а ведь ему, как и всем, утром бежать на работу в Ветошный ряд, в одно из бесчисленных учреждений, расплодившихся в бывших торговых рядах.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Квасов и в самом деле третьи сутки не появлялся у Аделаиды. И если первые двое суток он провел в безоблачном счастье у Марфиньки, то на третьи, после оскорбления, нанесенного ему Фоминым, вернулся в приветливую комнатку Марфиньки в отчаянном состоянии духа. Марфинька знала обо всем случившемся и не расспрашивала его. Он сам рассказал все. И, что поразило Марфиньку, Жора не сваливал вину на других и в первые минуты даже поплакал злыми слезами. Но вскоре улыбка заиграла на его губах: ему хотелось скрыть свою слабость. Марфинька сумела приспособиться к этой смене настроений и успокоить своего любимого,

— Если Николай постучится, я не убегу теперь. — Жора, по-видимому, со стыдом вспоминал свое позорное бегство через окно.

Марфинька, с ее природным тактом, промолчала, чтобы он не терзался этим воспоминанием. Она способна была и на большее: ни разу не попрекнула его Аделаидой, даже имени ее не произнесла ни разу, будто бы Аделаиды и не существовало на свете. А ведь Жора только последние дни прожил здесь, в ее тесной комнатке. Если бы Марфинька покопалась в себе, она нашла бы немало глубоко запрятанного горя, причиненного Жорой Квасовым. Он слишком бездумно относился к ней, не считался с ее самолюбием, стыдливостью, ее преданной любовью. Если бы Жора знал, на какие жертвы способна эта девушка во имя любви к нему, если бы он сумел переделать самого себя, лучшей подруги, чем Марфинька, ему бы нигде не сыскать. Но Жора оставался прежним, хотя последнее испытание и не прошло для него даром. Свирепое лицо Фомина в его воображении сменялось искаженным болью и презрением лицом Наташи. Хотелось завывать или самому себе залепить в морду похлестче, чем это сделал Фомин. Наташа видела все. Она — настоящий человек. Но свидетелем была и Муфтина...

Квасов лежал на спине и разговаривал будто сам с собой.

— Я же знал, что с Наташей гуляет Колька, зачем же так? Подлый я человек! Меня повесить мало! Чище будет на планете без Жоры Квасова. Эх, был бы жив дедушка, прочитал бы он надо мной своим прекрасным голосом, как его там?.. Псалтырь? Апостола?.. А ты восковую свечу поставила бы мне за упокой...

— Живи, живи, Жора, — мягко успокаивала Марфинька, чуточку отстраняясь, чтобы видеть его лицо. — Все образуется... Коля женится на ней, видно по всему. И выйдет, что ты невольный сват, Жора...

Квасов, независимо от своего желания или воли, подтолкнул, ускорил объяснение между Николаем и Наташей: они не только почувствовали силу взаимной любви (это чувство открылось им раньше), но и необходимостью жить вместе, поддерживать и отвечать друг за друга. Решение их созрело без помощи свах и сватов и было свободно от мелочных, эгоистических расчетов, оскорбляющих чувство любви.

— Я не могу жить без тебя... — сказал Николай строго и не стесняясь столь торжественных слов. — Никого у меня нет, кроме тебя, Наташа.

Она ответила ему такими же словами, не думая о том, как сложится их судьба и что их ждет впереди. Он поцеловал ее, не стесняясь людей, сидевших на скамьях Петровского парка.

Солнце освещало лицо, волосы, шею Наташи. Она не боялась яркого света и не уклонилась от поцелуя Николая.

— Сейчас мне очень хорошо, — сказала она. — Я забыла все дурное, все тяжелое, что было в моей жизни...

От парка ответвлялись так называемые дворцовые аллеи. Домики в этих коротких переулках будто вырезаны были из дерева старинными русскими мастерами. Туманное сияние поднималось над домиками и садами — дышала, испарялась земля. Окрепшие молодые скворцы бегали по коротко стриженной траве, выискивали себе пищу.

— Мы будем жить у меня.

— У тебя? Где же?

— В моей комнате. Сейчас ее занимает сестра. Она перейдет на другую половину. — И, заметив замешательство Николая, заговорила быстрее: — В моей комнатке всего восемь метров. Одно окно. Зато мы будем жить отдельно. Ни от кого не зависеть...

Николай сказал, преодолевая смущение:

— В нашей стране, в далеком будущем, молодоженам будут вручать ключ от квартиры. И тогда исчезнут все помехи. Никто не станет уродовать, обмещанивать жизнь. И старушки не будут встречать тебя исподлобья, словно врага.

— Если ты намекаешь на тетю, то это неправда, — обиделась Наташа. — Она отзывчивая женщина, хотя по виду строгая. Сколько родственников она обласкала! И сейчас из деревни куда? К ней. Живут по неделям, по месяцам. Никого не прогнала.

Она смотрела на него открыто, положила руку на его плечо. На ногтях — свежая краска; от нее знакомый по заводу запах ацетона или цапонлака.

— Тебе известно такое украинское слово — приймак?

— Нет.

— Приймак — это муж, проходящий в дом жены. В селах на приймаков смотрят косо.

— Понимаю...

Серый дрозд повозился в траве возле куста, важно перекочевал дальше. С шоссе доносился треск мотоциклов, слышалось дыхание тяжелых машин.

— Даже само слово «приймак» тебе не подходит, — усмехнулась Наташа. — Я представляю себе приймака плюгавым человечком, опутавшим женщину, чтобы как-нибудь перебиться в жизни. А ты совсем не такой. Ты — хозяин! Давай лучше помечтаем... В нашей комнате устанется кровать. Дальше... — Она загнула мизинец. — Может быть, еще влезет маленький-маленький столик. А если шкаф? Нет.

Шкаф требовал и лишних денег, и места, и, конечно, вещей, для коих он и предназначен. Самая необходимая мебель — это кровать. Как-то, проходя по Петровке, Наташа случайно зашла в магазин и узнала, что кровать с никелированными шарами стоит девяносто рублей. Возле кровати они решили положить коврик — у Наташи был такой на примете. «Представляешь, Коля! Вскакиваешь утром, спускаешь ноги с кровати — и на тебе, коврик!» Поговорили и о тумбочке и о безделушке. Их запросы были скромны, а вкусы определялись средой. О существовании многих красивых и удобных вещей они просто не знали, и не станем упрекать их в бедности воображения. Полюбujemyся на их главное богатство: на молодость — сокровище, которому нет цены, но которое тоже уплывает, и всегда безвозвратно.

Прошло три дня. Во вдовьем доме Лукерьи Панкратьевны горели три электрические лампы — случай уже сам по себе исключительный. Вся семья была в сборе. Настроение — взвинченное. Тетка сидела с опухшими, покрасневшими глазами и строго сжатым ртом, придававшим неприятное выражение всему ее морщинистому лицу. Двоюродные сестры, одна старше Наташи, вторая — пятнадцати лет, тоже плакали, потому что плакала мать, и им было жаль ее, хотя они не видели особой причины для слез. Старший брат служил в армии, и о нем только причитали: «Ах, если бы Миша был дома!» Конечно, ничего не изменилось бы, если б молодой красноармеец с петлицами на шинели (как это было изображено на фотографии, висевшей на видном месте) сидел сейчас в деревянном домике

на московской окраине, а не в кирпичной казарме в далеком сибирском городе. Три крестьянина, дальние родственники Лукерьи Панкратьевны, гостившие по второй неделе и закупавшие в столице для домашнего обихода ситцы и селедку, опустошали медный самовар «Г-ва братьев Баташевых». Судя по медалям на самоваре, их великорусские изделия премировались на международных выставках и поставлялись ко двору его императорского величества.

Когда, зайдя в комнату, старшая сестра Наташи, Анна Петровна, предложила выстегать для молодых одеяло, ее встретили холодно. Тетка мгновенно исчезла в кладовой, а дочери ее отвернулись к окну и принялись мокрыми от слез пальцами лениво рисовать на стекле зайчиков.

— Из-за свадьбы? — догадавшись, спросила Анна Петровна, решительная и здравомыслящая женщина, работавшая на фабрике готовых изделий и знаменитая в семье тем, что вступила в партию по Ленинскому призыву.

Дальний родич отодвинул чашку от краешка стола, вытер ладонь о штаны и подал ей распаренную негнущуюся руку.

— Наташка сообразила замуж, а тетке не нравится, — сказал он без всякого выражения.

Анна Петровна присела на сундук, кивнула остальным и вздохнула.

— Решила — значит, решила. Нечего нюни распускать. Неволить не станешь...

Второй родственник, помоложе, курносый и мускулистый, сказал:

— Ясно, неволить нельзя, а ведь каждому норовится. Когда в Расее отменили крепостное право? Семидесяти пяти лет не прошло.

— Ты к чему это? — думая о другом, спросила Анна Петровна.

— Зараженная кровь в Расее, вот к чему! Каждый норовит либо бунтовать, либо неволить: середины нет...

Мысли его понять было трудно, он произносил невнятно и главным образом из-за хитрости, чтобы в нужную минуту легко откеститься от них; но еще потому, что разговаривал, держа на языке кусочек сахара, шепелявил. Потные его волосы, будто смазанные маслом, были острижены по старинной моде, под горшок; на крутую грудь с панцирными мускулами спускался на медной цепочке новоафонский крестик; косою ворот сатиновой глинистого цвета рубахи был расстегнут и откинут на плечо.

Тетушка закончила возню в кладовой, вышла оттуда спиной и, не глядя на гостью, прошмурыгала в столовую, в ту комнату, где у окна сидели ее дочери.

— Не нравится... — сказал первый крестьянин, наливая чашку из

журчащего краника. — Присаживайся, Анна, вода — вещь не вредная.

Третий крестьянин, с виду хилый старичок, с ушами, заткнутыми ватой, в дешевых портах и сапогах с выпущенными ушками, положил на газету селедку, которую он сосал со спинки беззубым ртом. Вытащив вату из уха, повернутого к Анне Петровне, он спросил, наклонив голову, чтобы лучше слышать:

— Правильно говорят, Анна, что твой Олег получил мандат травить вредителей? Лукерья объяснила позавчера, будто создано таксе общество и твоему мужу вручили мандат, а?

— Тетка наговорит, слушайте ее. Создано общество акционерное по борьбе с вредителями сельского хозяйства. ОБВ называется.

Полностью расслышав сказанное, старик остался доволен, на лице его отразилось желание продолжать беседу.

— Вот-вот! Значит, правильно говорили. Стало быть, тех, кто в колхозы загоняет силком, травить будут? — Он придвинулся вплотную и вынул вату из второго уха. Едкое любопытство, по-видимому, всецело овладело им. — Чем же их будут травить, вредителей крестьянства? Газом, стало быть? Аль сухой химией, порошком?

— Завяжи язык, дед, — опасливо остановил его молодой, остриженный в скобку. — Ты из-за юродивости дуришь, а нас всех — в Бутырки. Анна — партийная, а ты ей что? Ведь она обязана все на нитку низать, докладать кому следует...

Старик отодвинулся, сунул вату в уши и принялся как ни в чем не бывало за ту же селедку, а Анна Петровна поднялась и прошла в третью комнату. Оттуда доносились возбужденные голоса тетушки и Наташи.

Лукерья Панкратьевна не отпускала собравшуюся уходить племянницу и точила ее с унылой стариковской дотошностью. Однотонный плаксивый речитатив и весь вид старой маленькой женщины в затрапезном одеянии убийственно действовали на молодую девушку. Она принарядилась, надела тонкие чулки и замшевые лодочки. Кажется, она готова была на все, на любые уступки, лишь бы поскорее избавиться от этих причитаний и сетований.

— Анечка! — Наташа обрадовалась сестре и бросилась к ней. — Скажи тете сама. Я не понимаю, чем ее разгневала, чем обидела... Аня, скажи ей, ведь рано или поздно...

— Теперь она муженьку понесет получку, — твердила тетка с исступлением. — Учила ее, учила, на ноги поставила, а теперь куда она понесет деньги?

— Убеди ее, Анечка, — умоляла Наташа, стараясь не вникать в

оскорбительный смысл причитаний тетки. — Скажи тете, что я благодарна ей и дяде за все... Но случилось... случилось... Не век же отрабатывать им? Отказаться от своего счастья, от своей семьи? Зачем такая жестокость, за что?..

Анна Петровна приласкала сестру, оглядела ее и осталась довольна. Поправила волосы на шее, ворот платья, хорошо улыбнулась и сразу внесла струю умиротворения.

— Ты, я вижу, спешишь? — спросила она мягко, голосом и глазами подсказывая Наташе, как ей себя вести.

Анна Петровна хорошо действовала на тетушку, и та считалась с ней. Больше того, она ее побаивалась. Анна Петровна могла быть резкой, когда нужно, и неуступчивой там, где нельзя уступить.

— Да. Я спешу, — зашептала Наташа. — Спасибо! Извини меня. Аня. Тетечка, не надо... Ну, не отворачивайтесь, дайте я вас поцелую. Бегу...

— Подожди, а как же насчет одеяла?

— После, после! Спешу...

После ухода Наташи страсти постепенно утихли, снова закипел раздутый сапогом самовар.

— Тебе надо примириться, тетя, — увещевала старушку Анна Петровна. — И эта уйдет, и эта, — указывала она на дочек. — Это закон природы.

Тетка начинала успокаиваться.

— Ты думаешь, я враг ей? Обидно... Только рассчитала свой бюджет, и опять считай. Я же неграмотная, Аня. Я на палочках да на пальцах считаю бюджет.

— Разбогатеешь, купишь себе машинку, которая сама считать умеет.

— Поди ты! Не смейся над старушкой.

Лукерья Панкратьевна повеселела. Жизнь приучила ее сгибаться под ветром. Появление Анны Петровны вначале обеспокоило ее: не пришла ли отбирать свою долю на дом? Ведь Анна отдала свою долю за содержание Наташи: отношения между Анной и теткой не были так уж бескорыстны. По-своему истолковав приход старшей племянницы, тетушка пролила лишнюю слезу и потратила еще малую толику из своего запаса упреков.

Теперь все разъяснилось, и покой вернулся в стены домика, где так тесно переплелись судьбы разных по характеру людей. Вспоминали дядюшку, мужа Лукерьи Панкратьевны.

— Уж то-то, бывало, покричит, а справедливо. — Тетушка скрещивала коричневые, изношенные в непрерывных трудах руки, горестно улыбалась.

Практически обсуждали достоинства и недостатки жениха. Селяне похвалили за смекалку: вовремя удрал из колхоза.

Тетушка считала, что для ученой племянницы нужен человек с «манерами», с тросточкой и в крахмалке; такой однажды приехал в железнодорожные мастерские из Петербурга, инженер; появился он среди дыма и резкого треска чеканки, так непохожий на котельщиков-«глухарей», и сильно поразил ее воображение. Молоденькая неграмотная девчонка застыла со своей тележкой в немом удивлении и восторге, а инженер приподнял шляпу, поздоровался с ней и улыбнулся.

— А Наташкин строг, — жаловалась тетушка. — Все-то наблюдает, примеривается.

— К чему бы ему примериваться? — успокоила ее Анна Петровна, зная подозрительность старушки; она настолько не верила людям, что после гостей пересчитывала ложки и вилки, не унес ли кто.

— Не подняли, стало быть, Наташу до анжинера, не нашлось на всем заводе, — сказала Лукерья Панкратьевна. — А как учили ее, сколько подметок она на танцах истоптала!..

— За подметки зря упрекаешь, — посоветил ее старый крестьянин. — Живой человек. Вот упокойнику — другое дело, ему негде сносить. Анжинер не попался, и хорошо, Лукерья. Анжинеру что: поиграет, потешится, да и был таков!

Деревенский гость, стриженный в скобку, задремавший было под журчанье беседы, тоже вмешался:

— Ежели строг, ничего. Хвоста бабе не крутить — далеко убежить.

Потом тетушка подобрела и принялась хвалить жениха, а то, чего доброго, разнесут деревенские славу по всей Калужской области; как-никак еще двух лет не прошло, а Николай уже поднялся на два разряда, учиться хочет, готовится в институт. Учение осилит, здоровый, года нестарые, если инженером не станет, то на мастера добьется. А если запишется партийным — и директором может...

Двоюродные сестры прислушивались из другой комнаты к разговору; они окончательно успокоились после того, как успокоилась мать. Сестру они любили за отзывчивый характер, за доброту и просто как подругу детства. Возможно, и завидовали ей, но не настолько, чтобы желать ей зла.

Анна Петровна простилась, спустилась во двор и зашла к сестре, в ту квартиру, где приготовили комнату для Наташи. Комната была оклеена обоями, помыта и пока пуста. Муж сестры занимался сборкой радиоприемника и не стал мешать сестрам обсуждать важное событие. С одеялом дело пока не ладилось: не успели достать сатин и вату. Решили

поторопиться и на этом расстались.

Анна Петровна пешком дошла до Петровского парка. Вели проходку шахты для метро открытым способом. Анне Петровне пришлось перебираться через отвалы по дощатым мостикам, скудно освещенным лампами. Дома муж встретил ее с намыленными щеками, обычно он брился на ночь, чтобы утром поваляться лишнюю минутку в кровати.

— Принесли приклад на одеяло, — сказал он. — Вон сверток.

— Кто принес? Николай?

— Нет. Какой-то другой, незнакомый парень. Не назвался...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Николай готовился к переезду. До чего же скромно он выглядел как жених! Все его имущество легко уместилось в одном чемодане. Шинель и непромокаемый серый плащ, купленный по талону, можно перекинуть на руку. С регланом, дарованным Жорой, надо было расстаться, оставить ему также ботинки и зимнюю шапку.

— Зайдет Георгий, пусть заберет, — сказал он Насте, посвященной в его планы.

— Взял бы с собой, — посоветовала она. — Жора за ними не постоит. Да и обидится...

— Нет, Настенька, вы же знаете, как все у нас сложилось... Кроме того, попрошу передать ему деньги. Занимал у него в разное время.

Настенька пересчитала деньги.

— Все едино прогуляет. А тебе в самый бы раз.

— Передайте, Настенька, и скажите ему большое от меня спасибо. Он и плохой и хороший.

Расставаться с общежитием было нелегко. Привык и к дворику с шершавыми стволами лип, и к немцам, к их неслышному кропотливому быту, вежливости и предупредительности. Привык к ребятам, к семье Ожигаловых.

Фрида Майер поздравила Николая, подарила ему саксонскую чашку и шелковый платок для невесты и изъявила желание быть крестной матерью их будущего ребенка.

В цехе тоже узнали о женитьбе; отнеслись запросто: затея нехитрая. Кто-то заранее поздравлял, кто-то подтрунивал, а в общем, каждый был занят своими заботами. Фомин ходил мрачный, и с ним в такие минуты лучше не заговаривать. После случая с Квасовым Фомин изменился даже внешне: стал суше и строже, редко появлялась на его лице улыбка. Ожигалов почему-то откладывал его отчет на бюро, и это тоже нервировал Фомина.

Личные судьбы складывались как-то независимо о воли коллектива и помимо его участия, и даже «красные свадьбы», устраиваемые на таких заводах, как «АМО» и бывший «Дукс», все же только формально выражали заинтересованность коллектива. По-прежнему требовали план, и только план. Призывами пестрели стены. Все внимание было приковано к

общественному труду; и в этом равнодушии общества к личной жизни людей была своя закономерность: техника по-прежнему решала все.

Но были родные в Удолине и Марфинька. Им, конечно, не безразлично. Полагалось бы спросить совета у родителей или хотя бы известить. Николай подумал и отказался от этой мысли. Если они приедут, то не одни, потянутся родственники. Селяне понимают толк в свадьбах, вот тут-то и осрамишься: не только накормить и напоить, посадить их некуда.

Сознавая, что поступает дурно, Николай все же решил ничего не писать родителям. А Марфинька? Третий день сестра на бюллетене: прихватила сверлом мякоть ладони. Рана была несерьезная, и Марфинька радовалась тому, что наконец-то может осмотреть Москву, побывать в парках и в Третьяковке. Там она долго стояла перед «Аленушкой» и «Неравным браком». Они ей понравились куда больше, чем казнь стрельцов и разные сражения и битвы.

Марфиньке хотелось повидать брата, ее тяготило чувство собственной вины перед ним. Сама она так и не сумела определить свою судьбу, плыла, как по течению, зажмурив глаза и стараясь ни о чем не думать, чтобы не было страшно. Встретилась она с братом будто случайно, подгадав час, когда он приходил в столовую пообедать перед ночной сменой. Она знала его любимый столик; за этим столиком она не раз обедала с братом и Жорой.

Николай, посадив возле себя Марфиньку, заказал два обеда по дополнительным, «ударным», талонам. По ним кормили лучше, давали мясо или рыбу.

— Я уже обедала, Коля.

— Еще раз пообедаешь. Ничего. Перебиваешься?

— Лучше стало. — И поспешила добавить: — Мама прислала картошечки. Хочешь, вам отделю?

— Спасибо, Марфинька. Только почему не мне, а вам?

Он с непроницаемым видом ожидал ее ответа. А она, просияв от того, что наконец-то он назвал ее по-прежнему Марфинькой, повторила с улыбкой:

— Вам. Я знаю все, Коля. Желаю вам счастья!..

Она потянулась и неловко поцеловала его в щеку.

— Ты ничего не писала домой? — спросил Николай.

Догадавшись, о чем он спрашивает, Марфинька ответила:

— Ничего.

Официантка сразу принесла щи, рагу и со стуком высыпала на стол алюминиевые ложки и вилки.

— Когда будете уходить, приборы бросьте в ящик.
Марфинька ела с аппетитом, и Николай заподозрил, не голодает ли она.

— Деньги-то есть? — спросил он будто невзначай.

— Немного, — Марфинька смутилась. — Домой часть посылаю... Обещала нашим, когда отпускали.

— На, возьми. — Он сунул ей в руку смятые в кармане рубли.

— Тебе самому надо. — Она отстранилась. — Свадьба.

— Не будет ее, Марфинька.

— Не будет?

— Свадьбы — в твоём представлении. «Журавля» не будем водить.

— А! И верно. Зачем? Лишь бы любовь... — Она не удержалась, уткнулась в забинтованную руку, спина ее вздрогнула.

Николаю до слез стало жаль сестру.

— Не надо, Марфинька... — сказал он, проглатывая комок, внезапно подкативший к горлу.

— Не каждому сразу счастье. — Она подняла свое милое, дорогое с детства лицо, растерянное и обиженное.

Сирена утробно завывала, призывая в цехи. Николай обнял сестру, прикоснулся губами к ее голове.

— Образуется... — Марфинька страдальчески закусила концы платка. — Не волнуйся за меня, Коля. Ты нашел... И я не потеряю... Нет...

Мысли о Марфиньке не оставляли его и по приходе в цех. Его сразу же вызвал сменный начальник цеха молодой инженер Костомаров и, внимательно приглядываясь, будто видел Николая впервые, поручил ему подняться в сборочный цех и выяснить характер предъявляемых претензий.

— Они упрекают нас, будто мы засылаем им некачественные детали и сборщикам приходится доделывать.

Сменный начальник вручил Николаю специальный жетон для допуска в засекреченный цех окончательной сборки. Николаю еще не приходилось бывать там.

Такое поручение было приятно, но вместе с тем он понимал: по-видимому, осторожный молодой инженер не хочет ссориться с Фоминым и посылает его. Фомин иногда сплавлял в цех сборки недостаточно отработанные детали: «А что вы хотите? Станки-то разболтанные. Не в аптеке на весах. А потом, гляди «синьку», видишь, какие допуски и припуски? Из рамок не выхожу». Чертежи предусматривали максимальные возможности для допусков и припусков, но в практике механической обработки рекомендовалось пользоваться минимальными, и тогда приборы

не нуждались в дополнительной пригонке и могли частично идти по самодвижущейся ленте. Но конвейер работал с перебоями по вине механического цеха. Часть этих сведений сообщил Костомаров, основное было известно Николаю и раньше: не раз их упрекали сборщики. В общезнании это наболевший вопрос чуть ли не с криком обсуждался Саулом и Кучеренко, работавшими в сборочном цехе. Недавно назначенный Костомаров не случайно послал Бурлакова: это ему посоветовал Ожигалов.

— Вы только не подумайте, что мы перепроверяем, — почему-то решил предупредить Костомаров уже в последнюю минуту, когда были рассмотрены чертежи, составлен список предъявленных рекламаций и стеснительная девушка в очках, недавняя выпускница московского института, подытожила цифры. — Кстати, вы давно знаете товарища Ожигалова?

Бурлаков резко обернулся, покраснел.

— При чем тут товарищ Ожигалов?

— Нет, нет, в данном случае ни при чем... Но однажды он расспрашивал о вас. И я догадался, что вы с ним близко знакомы. — Костомаров посмотрел на кавалерийские штаны Николая, обшитые кожаными лямками. — Вы не служили вместе с ним в армии?

— В армии? Нет. — И, решив огорошить инженера, сказал: — Я служил в армии с Квасовым. Вероятно, вы знаете его?

— Еще бы... Еще бы!..

Как бы то ни было, а задание необходимо выполнить безукоризненно. И, направляясь в сборочный цех, Николай возвращался мыслями к Марфиньке. Вот ему недосуг толком разобраться в жизни сестры, помочь ей, ему некогда подумать о родителях, вместо писем — куцые строчки на бланке денежного перевода. В последнее время и о переводах забыл... А вот механические существа — приборы — находятся под неусыпным наблюдением тысяч людей. Им отдается львиная доля сил, как физических, так и духовных. Из-за них тянут, закатывают выговоры, ради них произносятся речи, клятвы, обещания, ведется соревнование. И попробуй кто-нибудь забыть об этих всепожирающих чудовищах, казалось бы, бесстрастно мерцающих своими отшлифованными гранями! Ради них добывают золото, выписывают специалистов из-за границы, и те бросают насиженные места, расстаются с привычками, с родственниками и отправляются на чужбину создавать механизмы. Из-за них произошло несчастье со Шрайбером; и еще неизвестно, чем кончится неравный поединок честного старого немца с разразившейся бедой... Сколько событий свершается из-за приборов — это знает, быть может, только

Гамаюн — железная вещая птица...

Ради приборов в сказочно короткие сроки отстроили новый корпус, и завод приобрел классическую форму буквы «П», о чем прежний владелец мог только мечтать. Из-за них на завод наезжают начальники разных ведомств на длинных черных машинах, и гражданские «ромбисты». Сам Тухачевский сопровождает военных приемщиков, и нарком Орджоникидзе, как стало известно из доклада директора, лично интересуется их заводом.

Лифт поднял Бурлакова на третий этаж. Часовой стоявший у окованных дверей, проверил жетон и нанизал его на металлический стержень.

— Разрешение только на линию два. — Он вручил ему другой жетон, с выбитой на нем двойкой, окрашенной голубым, и разрешил войти через небольшую дверь, врезанную в другую, более широкую, сделанную для провоза крупногабаритных грузов.

Слева, как только войдешь в цех, сверкает огнями застекленная конторка, а перед ней — площадка с вымытой до блеска метлахской плиткой. Линии сборки проектировались как конвейер, но пока собирали узлами. Детали перемещались на самодвижущейся резиновой ленте. Сборщики выстроились во всю глубину цеха. Вентиляторы с тонким шелестом нагнетали воздух по желтым трубам. То там, то здесь с привычным мелодичным шумом вступали часовые станочки.

— Ты, парень, к кому? — спросил проезжавший мимо него автокарщик и посмотрел на жетон. — Становись, довезу без билета.

Автокар покатило вдоль сборочных линий, где из груд бесформенного навала рождались точные приборы, матово поблескивающие шлифовкой отделки и фиолетовыми зрачками линз.

Все то, что добывалось в «грубых» цехах, в огне вагранок, в сухом жаре термопечей, под резцами, в грохоте, скрежете, чаде, сходилась сюда, и сотни челночно снующих рук придавали им цельные, изящные, внешне хрупкие формы.

Еще вначале, трогаясь на автокаре с места, Николай увидел за стеклами ярко освещенной изнутри конторки Парранского и Лачугина. Оба жестикулировали, стоя возле начальника сборочного цеха, бывшего мастера завода «Динамо»; не бросая производства, он закончил Высшее техническое училище имени Баумана. Формально ни Парранский, ни Лачугин не обязаны нести ночные вахты на заводе. Однако они тут и не считаются со временем. Если они работают в цехе ночью — значит, жертвуют интересами родных ради общих интересов. Ломакин сутками торчит на производстве или обегает нужные для завода учреждения —

опять-таки за счет украденного у семьи времени. Может быть, в этом корень их кажущегося равнодушия к людям во имя производства?

— Парень, а парень, — окликнул его автокарщик, — вот вторая линия, слезай! А вон и твой мастер, плешивый.

— Не вижу плешивого, — сказал Николай.

— Станет он своей плешью гордиться! — Автокарщик взялся за рычаг. — Кепкой накрыл. Видишь, кепка с пуговкой?

— Вижу. Спасибо.

— Курить угостишь?

— Не курю.

— Зря я тебя подвозил!

Парень тронул тележку и медленно покатил, выискивая глазами, у кого бы разжиться табачком.

Николай не сразу подошел к мастеру. Он знал его в лицо, слышал на собраниях, всегда удивлялся точности его требований и какой-то внутренней ярости при наведении порядка. Фамилия его была Разгуляй. Он был избран в бюро партийной ячейки, и с его справедливыми, хотя и излишне резкими суждениями Ожигалов считался. Разгуляй нетерпимо относился к Фомину с его проделками, не скрывал своего отвращения к нему и уверял, что Фомин плохо кончит.

Это было неприятно. Фомин мог превратно истолковать неожиданное задание, порученное Николаю, — направиться в сборочный цех, и не к кому-нибудь, а именно к Разгуляю. Теперь придется защищать честь своего мундира и не очень-то поддаваться натиску Разгуляя.

Мастер, заметив Николая, издали поклонился ему и продолжал показывать сероглазому пареньку, как лучше контрить деталь узла, не нажимая и не царапая инструментом.

— Ты, Федор, бери ловкостью. Деды твои на медведя ходили, а тебе пришлось вишь с какой стрекозиной дело иметь. Кругом будто крылышки... На сборке ты должен стать индивидом, то есть определить свое лицо. Гляди сюда, вот как надо делать...

Следя за тем, как рабочий усваивает, Разгуляй спросил Николая:

— Почему сам Фомин погнушался? Новичков подсылает.

— Я сумею разобраться в ваших претензиях, — солидно заявил Николай. — Не имеет значения, новичок я или старичок. И не Фомин меня послал, а Костомаров, начальник смены..

— Костомаров? Молодой инженер? — спросил Разгуляй и снова показал пареньку, как надо правильной контрить. — Костомаров — надежная замена Фомину, если встанет такой вопрос.

Бурлаков решил промолчать: из слов мастера можно было понять, что бюро занимается Фоминым серьезно.

Вытерев руки о полу спецовки молодого рабочего, Разгуляй сказал Бурлакову своим сиплым от ранения горла голосом:

— Он уже знает, — имелся в виду паренек. — Ежели Разгуляй вытер ладони о спецовку — значит, все правильно и индивид может самостоятельно продолжать работу.

«Индивид» с улыбкой кивнул головой и таким же кивком простился с Бурлаковым. Мастер под руку увел Николая.

— Я ничего не буду тебе говорить, как тебя... Бурлаков? Ты можешь истолковать мои слова превратно, я фоминых не уважаю принципиально. Тебе, как рабочему, разъяснят сами рабочие...

Разгуляй и Бурлаков прошли почти всю линию, где сборка узлов проводилась возле самоподающей ленты, и остановились возле верстаков. На дубовых столах у обычных тисков слесари в синих спецовках собирали артиллерийские координаторы и бортовые прицелы. Узнав, откуда к ним пожаловал Николай, слесари обрушились на него с упреками:

— Вы переходящие знамена заполучаете, а мы за вас отдувайся!

— Минуточку. — Николай решил быть осторожным и не доверять наскокам в рабочей среде.

Раскрыл чертежи, вынул микрометр и взял в руки поданную ему для подтверждения деталь. Действительно, параллельные линейки координатора были не выдержаны в размерах, с заусеницами и без той чистоты отделки, которая требовалась по технологии.

— Каждое изделие, пойми, приходится собирать с пригонкой. От тисков не отходим, — объяснял один из слесарей, разумный сорокалетний мужчина с рыжими вьющимися волосами.

Николай встречал его в столовой, на общих собраниях; благодаря физической силе слесаря и отличному росту ему поручалось на демонстрациях нести тяжелое бархатное знамя завода.

— У вас там шашлыки на вертеле, а мы дерьмо на палочке получаем! — обозленно сказал другой слесарь, продолжая выколачивать муфточку из слишком тугого зазора.

Николай понимал, что не все обстоит так, как говорят эти люди. Были и независимые обстоятельства, и прежде всего неточность станков и плохие материалы. Контролеры в их цехе действительно давали поблажку и порой принимали изделия, как говорится, с прищуренными глазами. Когда все стекалось сюда, в цех окончательной сборки, погрешности становились видны как на ладони. Сборщики теряли темп, конвейер лихорадило, люди

прорабатывали. А когда задерживалась сборка, то есть выход окончательной продукции, начинали трещать премии, сокращались кредиты, задерживалась зарплата, потому что в банке требовали документы с печатями военной приемки. Это были общие заботы и неприятности, волновавшие администрацию. Но в данном случае деньги у сборщиков отнимал механический цех, а ведь каждый рубль заранее был распределен в семье.

Прошло два часа, и картина полностью прояснилась. С помощью подошедших к Бурлакову Кучеренко и Саула удалось не только уяснить, но и стройно изложить характер претензий.

— Я догадываюсь, что тебе придется нелегко, оказал Саул. — Фомин расстарается, и вам с Костомаровым несдобровать. Поэтому давай-ка потехничней закрепим выводы, Коля.

Да, Саул уже умел технично закреплять выводы, и ему можно было только позавидовать. Он свободно обращался с логарифмической линейкой, быстро решал задачи и, судя по отношению к нему рабочих, был популярен в цехе.

— Это ты покажешь Костомарову. Он поймет... — сказал Саул, заканчивая расчеты. — Я вывел, правда сугубо приблизительно, среднюю наших потерь во времени из-за частичного брака поставляемых из механички деталей. Это отражается на ритме всего выпуска, а следовательно, и на плане завода. Понял теперь, к чему приводит неряшество?

— Видать, понял не больше половины, — сказал Кучеренко и зашагал к своему месту у ленты.

— Вторую половину я ему разъясню, — сказал Разгуляй; он вернулся из конторки, где ему пришлось выдержать атаки Парранского все по тому же поводу — невыполнение плана сборки. — Пойдем к выходу, Бурлаков. Спасибо, Саул! — Разгуляй снова взял Николая под руку и, проходя вместе с ним мимо верстаков и ленты второй линии, говорил ему хриловато, иногда поднося пальцы к горлу: — Ты демонстрировал Первого мая по Красной площади, взывал к пролетарской солидарности против капитала. А в нашей стране, где мы сами взяли за гуж, эта самая солидарность выражается, друг мой сатиновый, в том, чтобы товарищей не подводить. Нельзя, как дурной петух: откукарекал — и ладно, а будет рассветать или нет, это его не касается. Производственный процесс — цепочка, каждый свое колечко шлифует и заклепывает. Не подсовывает корявое, с трещинкой... Если мы сами будем друг другу вредить, ни трест нас не рассудит, ни ВЦИК ничего не решит, Надо хранить в себе рабочую

закваску, Бурлаков. Без нее хлеба не испечешь. Нынче мы повсюду строим заводы. Эшелонами гоним людей в Сибирь, в пустыни, в тайгу. Горы решили скрыть, расплавить в металл, реки перегородить. Все своими руками решили сделать, от булавки до мотора...

— Сделаем? — не удержавшись, спросил Николай.

— А как же иначе? Должны! — И мастер щелчком ударил под козырек кепки так сильно, что она подскочила на голове. — Этак щелкнуть легко. Сделать куда трудней, а должны. — Его голос будто иссяк, дернулись мускулы на нервном, изможденном лице. — Сделаем, и булавки и моторы, если попутно создадим самого строителя. А так вроде бы и человек, а все ж, бывает, с гнильцой. Что же, вечно сухие сучья с него отпиливать, пломбы ему ставить? Вот потому не обожаю я вашего темного начальника Фомина. Гниет, а никто ни одного гнилого сучка отпилить не решается. Иди, грешу я нетерпимостью. От меня собственные дети шарахаются.

И Разгуляй, быстро сунув Николаю руку, направился к конторке, ослепительно сверкавшей своими оранжерейными стеклами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Кассирша небрежно разбросала их деньги по ящичкам, прозвенела своим аппаратом и выбросила чек на стеклянную тарелку окошечка. Ее надтреснутый, поразительно равнодушный голос произнес заученное слово: «Следующий». Но даже угрюмые покупатели, столпившиеся у кассы, не могли омрачить радость Наташи и Николая; кровать отныне принадлежала им и как бы знаменовала начало их совместной жизни. Ему было приятно разыскивать извозчика, рядиться с ним, впервые чувствовать себя хозяином.

Ломовой сразу потребовал задаток. Это был всклокоченный угрюмый старик в резиновом фартуке и солдатских ботинках. Он торопил, ворчал, но вскоре неприкрытое счастье молодых людей заставило его размягчиться. На мокром полке отыскивались рогожи и веревки. Возчик сам помог донести вещи.

Николай шел рядом с лошадыю, стучавшей коваными копытами. До него доносились запахи конского пота и согревшейся шерсти: стоит прижмурить глаза — и сразу встает знойная степь, дурманно пахнувшая чебрецом и полынью, мерный топот сотен копыт, коршуны над сизыми буграми, плоские пади и свинцовое мерцание солончаковых озер, похожих на кратерные отдушины заглохших вулканов.

Крутая улица вывела их на кольцевой бульвар. Лошадь пошла веселей. Театральные афиши напоминали дату: двенадцатое июня. Двенадцатого июня начиналась новая жизнь; пока без регистрации в загсе, так сговорились. В кармане галифе бутылочка портвейна величиной с гильзу малокалиберного снаряда.

За Белорусским вокзалом потянулись липы, воздух посвежел. Возчик вытащил хлеб, поел и закурил.

— Давай сядем, — предложил Николай Наташе. — Ты устала?

— Чуточку. — Она расстегнула пуговку на кофточке.

— Новая? Тебе очень идет.

— Да? — спросила она, довольная тем, что, наконец, он заметил ее обновку.

Они сидели на полке, болтали о пустяках, играли в ладошки. Потом подсчитывали столбы и деревья. «А скажи сразу, только, чур, не гляди, сколько в этом здании этажей?» — «Фабрика «Большевик». — «Ошибся,

ошибся! Хочешь, давай в шалабан?» — «Шалабан? — спрашивал Николай. — Что это?» — «Тоже игра, — отвечала Наташа. — Один что-нибудь загадывает, а если другой не ответил — щелчок. Щелчок и есть шалабан». — «Хорошо, Наташа, — соглашался он, увлеченный ее оживлением. — Только я начинаю. Скажи, когда Ной ходил вверх головой?» Она задумалась: «А кто это Ной, Коля?»

Возчик обернулся, спросил через плечо:

— Дальше ехать? Не заиграли свой дом? Рядились-то до Петровской...

— Примерно до Петровской, — поправлял его Николай. — Я говорил — примерно.

— Примерно может быть в десять верст. — И старик по привычке понукал лошадь.

Под деревом, у самого шоссе, поджидали Квасов и Кучеренко. Они переминались с ноги на ногу, покуривали и говорили друг с другом о футболе, о штрафных ударах, о славных именах Старостиных и Сеглина. Квасов с умыслом затеял разговор о футболе, чтобы удержать возле себя куда-то спешившего Кучеренко. Возле Квасова на траве лежал наспех перевязанный узел с вещами, которые Бурлаков оставил Настеньке.

— Ты только, гляди, ничем их не обижай, — предупредил Кучеренко. — Отдай — и лады. Если не возьмет, не обижай... А то я вступлюсь, Жора. Учти...

Квасов только вздохнул.

— Реглан хороший, двусторонний драп. — Кучеренко нагнулся, пощупал материал. — Люди расходятся, а вещи остаются... Сильное пальто, Жора! Только немцы умеют творить такой драп.

— Перестань ты, Кучеренко, — остановил его Квасов. — Лучше научи, как подойти к ним. Может, ты сам передашь от моего имени?

— Нет уж, извини, Жора. Хватит того, что носили им твой подарок, приклад на одеяло. Возле академии милиционер придрался: думал, я спер где-нибудь. Притащил по адресу, а сестры Наташи дома нет. Вышел ее муж, обратно допрос: от кого и почему?

Квасов заставил его рассказать со всеми подробностями. Трюк с одеялом нравился ему самому; он гордился тонкостью, с какой обстряпал это дело. Ведь не так просто было выведать у Настеньки Ожигаловой, что старшая сестра Наташи собирается выстегать одеяло для молодых. Потом надо было достать сатин, вату, уговорить Кучеренко отнести и сохранить все в тайне. Успех этого предприятия в какой-то мере успокоил Квасова перед предстоящим свиданием.

Но, увидав медленно подъезжавших Николая и Наташу, Квасов

заколебался. Стоило ли навязываться и мешать им? Не лучше ли убраться заблаговременно подобру-поздорову? Твердокаменный Кучеренко каким-то образом подметил колебания Квасова и сказал ему без всякой дипломатии:

— Брось, Жорка! И кой тебе ляд постоянно совать свою спицу в чужое колесо? Гибнешь ты, Жора, от своего характера!..

— А ты знаешь мой характер? — Квасов, нервно докуривая папироску, продолжал следить за приближавшейся подводой.

— Знаю твой характер. Добрый ты...

— Вот и ошибаешься, Кучеренко. Разбойник я в душе. Мне бы при Стеньке Разине жить! Опоздал родиться...

Полок поравнялся с ними. Блеснули в вечернем сумеречном свете никелированные шары кровати и темно-коричневая дубовая отделка стоек. Наташа что-то сказала Николаю: то ли просила его проехать мимо, то ли советовала поговорить с Квасовым. И Квасов решил действовать.

— Николай, разреши тебя на одну минуту?

— Хорошо. — Николай легко спрыгнул с полка, шепнул что-то Наташе и неторопливо подошел, подтянув сползавшие в гармошку голенища.

Ломовик проехал немного вперед и остановился.

Наташа сошла с подводы и смотрела на парней издали.

— Я слушаю, Жора. — Николай поздоровался за руку с Квасовым и с Кучеренко. Он старался держаться как можно безразличней.

— Не дорезывай ты меня, Коля, до становой жилы, — сказал Квасов полушутливо, чтобы побороть в себе робость: он чувствовал, что Наташа смотрит на него неприязненно. — Зачем ты вернул мне реглан и все прочее? Это же мой подарок. И шапка твоя. Ну, ладно, деньги пока оставим, найдем им ход, а это возьми, прошу. — Он поднял узел. — Нынче жарко, лето, а потом зима придет, Коля. В Москве до хурты недалеко...

— У меня шинель есть, ушанку куплю. До хурты еще далеко, еще много будет получек до хурты. — Он повторил это сближающее их слово: в тех местах, где они служили в армии, хуртой называлась метель, вьюга.

— Бери, Колька, — посоветовал Кучеренко, в душе осуждавший мелочные разногласия между друзьями. — Не обижай Жору. Тебе абы покобенишься, а он переживает с мучениями...

Кучеренко смахнул пот с переносицы, криво улыбнулся, блеснув золотым зубом.

— Брошу на полок? — спросил Квасов.

— Бросай. — Николай почувствовал неловкость и раздражение на самого себя; но Наташа глазами одобрила его решение, и ему стало легче. — Ты не думай, Жора... Разве я забуду все твое?.. Много ты для меня

сделал...

— Ладно, Колька, мы ж свои ребята, — растроганно произнес Квасов. — Так или не так, а желаю вам счастья! Падать в ноги не умею, характер не тот, а свою подлость к Наташе сразу осознал. Попроси ее, пусть не сердает на Жору Квасова. — И, глубоко вдохнув в легкие воздух, добавил: — Видать, это и есть то самое мое извинение... которого требовал Митька Фомин.

— Скажу ей... передам. — Николай подошел ближе и, чтобы не слышал Кучеренко, тихо попросил сдавленным голосом: — Марфиньку оставь в покое, Жора. Она же еще девочка... Зачем, Жора?..

Не угроза, а мольба прозвучала в последних словах, и это сильнее бранных слов подействовало на Квасова.

— Обещаю, — так же тихо сказал он. — Запомни одно, Коля: Марфинька мне дорога... Запутался я... как во сне... Тикать надо, а ноги немые...

Он пробормотал что-то еще и долго, стоя к Николаю спиной, умащивал свой узел. Потом, махнув на прощанье рукой и не оглядываясь, пошел и вскоре скрылся за темной листвой деревьев.

— Куда свергать? — спросил извозчик. — Шумлю вам, шумлю... Всего за один раз не переговорите, все впереди.

— Сюда, направо, — сказал Николай. — А что, не поехать ли нам до Ленинграда?

— За пятерик хотите весь свет околесить, — незлобиво бурчал возчик.

Пользуясь тем, что Николай зашагал возле него, он принялся рассказывать о своей свадьбе; на пир сошлись две деревни (невесту брал из соседней), пили и плясали; на третьи сутки подрались кольями, и завершилась свадьба тремя гробами и многими увечьями.

Воспоминания прекратились, когда колеса запрыгали по ссохшейся грязи на глухой улочке. Золотые шары, неприхотливые цветы оживляли своими высокими стеблями и пышными венцами темные стены ветхих домишек.

Лукерья Панкратьевна поджидала у калитки, сложив на груди уставшие руки и обмениваясь своими соображениями с соседкой, когда-то стройной белокурой девушкой, а ныне толстенной женщиной с пронзительным голосом и хитро поджатыми губами.

— Помоги им, Лукерья, — будто причитая, советовала соседка через всю улицу, чтобы соседи оценили ее доброту. — Кровь-то своя...

— Помогу, не оставлю, — так же громко отвечала Лукерья Панкратьевна, окидывая своими дальнзоркими старческими глазами все,

что лежало на ломовом полке.

Когда возчик остановил битюга, она приветливо поздоровалась с молодыми и за руку с возчиком и сделала вид, что помогает развязывать веревки. А самой хотелось одного: пощупать обновы. Ей понравились кровать и два стула. На этажерку она только покосилась, не понимая ее назначения, а вешалку похвалила и сразу определила ей место: нужно прибить к внутренней стороне дверей, на время она заменит «гардероп».

— Комнату еще раз вымыли, — сообщила тетушка, — обои просохли. Потолок оклеили белой бумагой, стекло нашли, вставили. Лучше не надо! Анна одеяло привезла. Пуговицы только не успела пришить к пододеяльнику.

Возчик помог внести и установить кровать. В комнатке сразу стало тесней. Вышедшая на порог вторая сестра, приятная застенчивая женщина, поздравила молодых, всплакнула на плече у Наташи.

— Ничего, это еще ничего. Не каждый так начинает, — сказала она и вытерла глаза.

— А что? — Возчик оглядывал комнату. — По Москве — рай! Считай, одна треть населения копошится в подвалах. Совет, что ли, дал?

— Нет. Собственный дом, — ответила сестра.

— Собственный надежней, только ремонт заест. У меня тоже хорома, полуподвал; сто тысяч каблуков за воскресный день насчитаешь. Будто по голове стучают мимо оконца. На восемь метров — семь душ.

— Спасибо, папаша. — Николай расплатился. — Вы нас выручили здорово. По-честному говорю: спасибо!

— Не пересох бы стаканец, жених. — Возчик смял кредитку в кулаке и с вождением уставился на оттопыренный карман галифе. — Я чую. Налей-ка с устатку.

— Хорошо. — Николай вытащил бутылочку, взболтнул. — Гляди: ни мути, ни хлопьев. Три семерки марка, папаша. Вот чем бы открыть?

— Не старайся, не стану. Портвейн твой только для изжоги. Чудной ты, парень! А я думал... — Старик разочарованно отмахнулся. — По умственной, что ли, зарплате?

— Рабочий.

— Рабочий?.. — Старик удивленно поднял плечи. — Бывает... — И ушел.

Вскоре его лошадь протащила полку мимо раскрытого окна. Донесся разговор между тетушкой и той же толстой соседкой.

— Как Наташкин-то? — громко спрашивала та через улицу.

— Ну што сразу скажешь... — Лукерья Панкратьевна отвечала приглушенным голосом.

- Укоренится, гляди! Пай заберет.
- Поди ты, зачем так? Не знаешь его, а мелешь.
- Сразу не давай постоянную прописку. Не сдури!
- Поди ты!..

От обоев кисло пахло клейстером. Незабудки до самого потолка, дощатая стенка выгородки, обратная сторона русской печи.

Ходики отстукивали первые минуты жизни новой семьи. В сумраке светились шары на кровати, и из квартиры тетушки, куда убежала Наташа, доносились глухие голоса. Николай достал из своего чемодана полотенце, мыло и вышел в кухоньку умываться.

Наташа в белом платье прибежала в комнату, чмокнула его в щеку и раскатала у койки коврик.

— Коля, видишь, я же сказала!.. — Она села на кровать и жадно вдохнула воздух. — Люблю запах новых, вещей. Матрац, а как пахнет! Сосной, стружкой, смолой, свежей материей. Скоро наши приготовят одеяло, подушки. У нас будет хорошо, Коля!..

Она легко спрыгнула с кровати, пересела к нему на колени.

— Я успела вымыться. Самое большое наслаждение — вода, горячая вода! Обожаю! Хочешь тоже? У нас есть такое местечко в сарае, летом мы там купаемся.

В полутемном сарае, куда она его привела, стояли ведра с водой, на мокрых досках — корыто, и на гвоздике висел чистый холщовый рушник.

— Ты можешь запереться. Хотя сюда никто не войдет. — Наташа поцеловала его плечо и, прикрыв дверь, ушла.

В углу сарая захрюкал зарывшийся в солому подсвинок, вылез, посмотрел на незнакомца и опасно, не спеша подошел, понюхал потеки мыльной воды, брезгливо мотнул пяточком. Две связанные за ноги курицы бормотали на птичьем своем языке. У погребницы стоял ящик с картошкой, тут же — грабли и лопаты.

Искупавшись, Николай вышел из сарая. Теплая звездная ночь была совсем такая же, как в деревне. Большая Медведица, казалось, зачерпывала своим глубоким ковшом бледные россыпи звезд; вдалеке лаяла собака. Ветерок отогнал от поселка заводской дым, и в воздухе, очищенном от примесей, плавали запахи политой земли и ночной фиалки.

Упрямо отходил Николай от земли и вот неисповедимой волей вернулся к ней снова.

На ступеньках появилась Наташа, позвала его; и они, обнявшись, прошли в свою комнату, где уже была застлана кровать, взбиты подушки и из стеклянной вазочки поднимались стебельки ночных фиалок; и тут, в их

маленькой комнатке, веяло ароматом земли.

— Смотри, все твои желания исполняются. — Наташа приподняла полог, навешенный на внутреннюю сторону двери. — Славянского шкафа нет, зато есть пролетарский шкаф. Здесь все уместилось, и еще, как видишь, осталось место для новых покупок. Ты переоденься в свой новый костюм, я выгладила тебе рубашку. Галстук? — Она покрутила пальцем у лба. — Нет, без галстука. Он будет стеснять и тебя и меня...

Нелегко поддерживать доброе настроение в такой необычной обстановке. Свадьба в глазах людей всегда окружена ореолом: музыка, огни, подвенечное платье, тосты... Отказаться от свадебного обряда — это значит отказаться от мечты, взлелеянной в тайниках воображения. И все же Наташа нашла в себе силы не только успокоить себя, но и убедить Николая, что они не могут поступить иначе. Важно, что они счастливы. Наташа постаралась ничем не нарушить счастья первого дня, какие бы испытания или разочарования ни ждали их впереди.

— Горько! — крикнул он.

— Ой, как горько!.. — Ее губы тянулись к нему. — Еще, еще... Я люблю тебя! Нет, давай сегодня останемся только вдвоем. Я прошу тебя... Никого не надо звать. Так лучше... — И вдруг выдумала: — Давай поиграем в настоящую великосветскую свадьбу?

— Давай, Наташа! Только сумеем ли? Пожалуй, напутаем так, что сами над собой станем смеяться.

— Нет, нет, мы сумеем! — И она начала: — Званный прием шел к концу. Оставалось проститься с последними гостями, смертельно уставшими от еды, веселья и танцев. Приглашенные разъезжались. Подъезд их замка был ярко освещен... Кстати, сколько в замке подъездов? Бесшумно подкатывали... ландо. Конечно, ландо!

— И кареты...

— Безусловно, и кареты, — продолжала Наташа. — Замшевые лошади, распушив хвосты, уносились в звездную ночь. Лакеи, бесшумные и ловкие...

— Как призраки.

— ...гасили люстры и закрывали двери. И, наконец, замок опустел, и они, облегченные, немного усталые от церемонии, наконец-то остались наедине...

Наташа положила голову на колени Николая и полuzакрyла глаза.

— Этот глупый маркиз был так назойлив...

— Зато он преподнес тебе бриллианты.

— Зачем ты вышвырнул их в мусорный ящик, мой милый виконт?

— Нет, нет, Наташ! Все-таки необходимо проверить, существуют ли в замках мусорные ящики, а если существуют, то полагается ли выбрасывать в них бриллианты?

— Ерунда, давай не проверять! — Наташа притянула его к себе.

Они болтали без умолку. Вино в «орудийной гильзе» не так опьянило их, как первая близость.

Только вдвоем!.. Кто-то шептался за дощатой стеной. Пусть! Какое это теперь имеет значение, когда они вдвоем!.. За другой стеной, у тетки, вопил граммофон. Пластинка осталась еще со времен царского режима. Дребезжащий голос пел о том, что на льду замерзал какой-то ямщик. Несчастный ямщик!

— Тс-с!.. — Наташа приложила палец к губам Николая. — Теперь у нас не может быть тайн. Слушай: коврик — подарок тети. Я обещала ее пригласить...

— Я не против, только... запасы наших погребов истощились.

— Ладно. Обойдемся без тети. Не оставляй эту картофелину. Она твоя.

— Пожалуй, я ее съем...

— На чем же мы остановились? Уста их слились?.. Нет... — Наташа всплеснула руками. — Подумать только, мы забыли оформить наш брак!

— Оформить?

— Не хмурься. Ведь мы же играем, — сказала она. — У меня где-то была бумага... Нет! Все там, у тети.

— Могу предложить карандаш.

Соображали недолго. Проще всего расписаться на стенке, на пучке обойных незабудок. Попробуй разорви такой надежный документ!

Разнеженные и растроганные, они расписались на стене, на том месте, куда опускалась гирька дешевых часов.

— Подписан брачный контракт! — возгласила Наташа. — Нотариус закрепил начало их супружеской жизни. Ему подали карету, лошади цугом. На козлах, на запятках... кто там? Борейторы, фореиторы?..

— Ефрейторы...

Им хотелось «заговорить» самих себя, задавить накипавшую горечь. Все-таки все могло быть по-иному: и, люди, и танцы, и настоящее «горько!»... Их лишили куска шумного счастья, на которое они имели право.

...Можно спать, сколько захочется: воскресенье — отличнейший день, придуманный самим господом богом. Никто и ничто не мешало их первому супружескому утру. Солнце? Оно почти не заглядывало в их окошко, а если и улучало минутку — на пути его вставали ствол и широкие ветви рябины.

...Наташа проснулась первой и сразу же инстинктивно поправила соскользнувшую с плеча бретельку сорочки. Муж (странное, чуждое слово) спал с краю, на правом боку, ладонь подложил под щеку, жаркое одеяло прикрывало ноги повыше колен. Обнаженное плечо бугрилось мускулами, выпуклыми, эластичными под смугловатой кожей. Они чрезмерно развиты, как у всех людей физического труда. Волосы у него — каштановые, так определила Наташа, хотя никогда не видела каштанов. Спереди и выше висков густые волосы Николая свернулись в крупные пушистые кольца.

Повернувшись к простенку, Наташа прочитала их «брачный контракт»: дата и подписи с согнутыми завитками, как росчерки членов правления банка на кредитных бумажках. Ниже еще написано что-то. Приподнявшись на локте, прочитала: «Люблю. Николай». Когда же он успел это написать? Благодарное чувство, тихая радость наполнили все ее существо.

Но невозможно нежиться дольше. Тетя теперь не разожжет самовар, не накроет на стол. Бездумные воскресенья в прошлом. Чайник, по-видимому, уже вскипятила сестра: стучит крышка, и через двери просачивается чад керосинки. Слышен мужской голос: «Стюдень что-то не застыл. Мало положили костей».

За хлебом можно сбегать, булочная недалеко; огурцы и колбаса остались от вчерашнего «пира». Если еще раздобыть у тети яиц — и вообще хорошо. Наташа составила план действий. Первое утро должно быть приятным и легким.

Вначале под «Люблю. Николай» надо приписать «И я очень, очень! Наташа». А потом братья за все остальное. Только бы, вставая, не потревожить его. Нужно упереться вот сюда руками и... прыгнуть на коврик.

Пятки коснулись голого пола. Коврик исчез. Куда? Накинуть что-нибудь на себя дело секунд. Сначала — к сестре.

— Коврик? — Сестра подняла на нее добрые встревоженные глаза. — Тетка зашла к вам в комнату, свернула коврик и унесла. Это ее коврик?

— Ее... — Наташа не скрывала своего отчаяния. — Она же обещала... Хотя бы неделю подождала... Мне так стыдно перед Колей... Коврик — наша мечта. Я обещала...

Она с огорчением повторяла одно и то же. Ей было обидно и горько, хотелось реветь...

Позавтракав, они отправились в садик и сели на дальней скамье возле глухого забора. Николай поцеловал Наташу в ее встревоженные, обиженные глаза, сначала в один, потом в другой. Надо раз и навсегда забыть о коврике.

— Как нехорошо, как гадко!..

— Надо и ее понять, — сказал Николай. — Ты обещала пригласить ее и не пригласила. Она, вероятно, собиралась, ей тоже обидно. Она же воспитывала тебя. Так или иначе, а все же тетка заменила тебе мать... Я не могу ее осуждать. Проклятая бедность, рабство перед вещами! Не с нее началось, Наташа. Я видел, как за цыпленка, подшибленного из рогатки, отец до полусмерти избил ребенка, моего дружка. Свинья заберется в чужой огород — и пошла потасовка между соседями!.. Оглоблями дрались. Черепа проламывали. Обойдемся мы без коврика.

— Ты представить себе не можешь, как мне обидно! — сказала она. — Все равно мне не забыть. Не забыть хотя бы потому, что это мое первое горе после... замужества.

— Разве это горе, Наташа? — успокаивал ее Николай, стараясь проникнуть в душу близкого ему теперь человека.

— В раннем детстве у меня было много горя, — задумчиво сказала Наташа. — И я удивляюсь, почему иногда нас, молодых, обвиняют в черствости, в нежелании понять... эпоху. Мы, мол, старики, кровь проливали, а вы в это время еще в колыбели покачивались. Так, к примеру, упрекает Фомин. Хочешь, я расскажу, какая у меня была колыска? — Он молча взял ее руку и приготовился слушать. Она, поняв его, придвинулась ближе. — После смерти отца сама мама отвезла меня и сестру на Украину, к старшей сестре Серафиме. Ее муж работал на железной дороге, приезжал домой только по субботам, и мы почти не видели его: копался в огороде, чистил коровник, хлев. Мама была очень больна. Утром поднималась с трудом, стонала. Помощь от нее была небольшая, и ей пришлось уехать в Москву, к остальным детям. Мы работали с сестрой в поле. У меня не было башмаков, поэтому я на всю жизнь запомнила колючее жнивье и горячую пыль на дорогах. Ели мы плохо — вернее сказать, голодали. Когда нанимались к чужим, полоть и поливать огороды, тогда ели лучше. Зато какие тяжелые ведра! Нас рано будили. Еще роса, а мы на ногах. Продрожишь, бывало, все утро, а потом солнце пригреет, поработаешь, станет тепло. Мама вернулась — не узнала нас: исхудали мы, обносились, одичали, стали вроде зверушек. Чтобы как-то заработать, мама взялась обрабатывать шерсть, задыхаясь от пыли в жару... Как вспомню ее... Не могу!.. — Наташа проглотила слезы, успокоилась и продолжала с улыбкой: — Однажды решила она нас побаловать. Подгадала, когда сестра ушла на свадьбу, нарезала сала, сварила клецки. Наелась я тогда, казалось мне, на всю жизнь. Приголубились мы к маме, повеселели. Думали: вот и горю конец. Вернулась сестра, раскричалась: «Вы думаете, я жадная? Мне

припасы растянуть надо, чтобы на них хватило, а вы...» Мама решила отправить нас обратно в Москву: дядя, мол, не оставит, а сама решила остаться на Украине, заработать хлеба. Сестра отсыпала нам пшена и муки. Еле втиснули нас в товарный поезд, в теплушку. Помню, как мама обняла меня, провожая, поцеловала: «Наташа, последний раз поживи без меня. Приеду. Навсегда будем вместе». В пути у нас украли и муку и пшено. А мама... Не вернулась она... Не вернулась... умерла на Украине... — Наташа беззвучно плакала. Слезы облегчили ее. — И всегда она меня куда-то отправляла, а сама работала, больная, зарабатывала. Так больше с мамой мы и не повидались, — повторила она с болью. — Я не буду больше рассказывать. Хорошо? — Она попыталась улыбнуться сквозь слезы, вытирала глаза платком, пальцами.

Немного успокоившись, заговорила о дяде, о семье, в которой ей пришлось потом жить. Дядя не позволил отдать ее в детдом: «Сами вырастим».

— Я иногда приносила дяде обед в мастерские, — рассказывала Наташа. — Огонь, раскаленный металл, молоты так стучали, что крика не услышишь. Когда подойду к нему, возьмет узелок, ласково так погладит. Лишних слов не умел говорить. Ел дядя мало, зато любил чай пить. В стакан клал урюк. В стакане урюк разбухал, а мы ждали, когда дядя выпьет чай и поделит ягодки между нами, тремя девочками. Когда он уходил, мы дрались из-за его стула: на нем лежала подушечка, и было мягко и тепло сидеть. В школу мы ходили за два километра. Дядя каждое утро обязательно осматривал наши ботинки; заметит дырку — сам отнесет в ремонт; после работы сам же заходил к сапожнику и приносил починенные башмаки; позовет, ласково побурчит в бороду. Ко мне он относился особенно чутко. Ни разу я не почувствовала, что я сирота и кому-то в тягость. И других приучил ласкать меня. Какая тонкая душа в таком грубом на вид человеке! Тетя тоже... Я не могу ее ни в чем упрекнуть. Позже, после смерти дяди, ей пришлось все заботы принять на себя, а ведь мы тогда еще не окончили школу. Ей, конечно, обидно сейчас: выучила, вывела в люди... Ушла я от нее... — И Наташа повторила слова Николая: — Надо и ее понять.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Не только в цехе назревали события, беспокоившие Дмитрия Фомина. Что-то разлаживалось в душе мастера; многие его представления начинали шататься. Он испытывал не только беспокойство, но и тревогу. Бурлаков, вернувшись из сборочного цеха, доложил обо всем, не робея, не стесняясь в выражениях, резких и требовательных. Молодой начальник смены Костомаров дерзко посмотрел в глаза мастеру и поддержал Бурлакова.

Отчет Фомина на бюро почему-то откладывался; миновал третий четверг, а его не вызывали. Фомин понял, что его перепроверяют; опасность, казалось ему, грозит из каждого угла; он стал зол, придиричив и несправедлив к окружающим. Всюду ему чудились подвохи и подкопы. К Фомину приходили и пожилые и юнцы с обязательствами, которые они брали на себя; ударные бригады создавались снизу, по доброй воле рабочих, а не согласно «директивному энтузиазму». Нужно было возглавить их и самому обязать себя ко многому, а Фомин не мог. А тут возникла еще одна крупная неприятность. Пронырливый снабженец-агент, всучивший ему заказ на червяки, которые в порядке аккордной оплаты успешно нарезывал Квасов, сумел убедить его принять подарок — кожаный реглан из тонкого блестящего хрома. Казалось бы, кто может узнать об этой тайной сделке, совершенной с глазу на глаз? Однако о реглане перешептывались. И Фомин, понимая грозившую ему опасность, попытался найти агента и вернуть ему эту проклятую черную шкуру. Но агент словно сквозь землю провалился. От заказчика приезжал за червяками не агент, а комсомолец абсолютно неподкупного вида, и Фомин не осмелился даже намекнуть ему о реглане.

И еще одна неприятность. В многотиражке появилась карикатура: лебедь держит лист с надписью «Цех окончательной сборки» и рвется в поднебесье; рак набросил на его крылья веревки, зажатые в клещах. Художник сделал рака похожим на Дмитрия Фомина; а на клещах для полного уточнения написал: «Механический цех».

Обычно Фомин мельком пробежал многотиражку, отыскивал заметки о своем преуспевающем цехе. Ему казалось, что газета всегда будет писать о нем как о передовике, и это давало ему основание подшучивать над газетчиками и небрежно подписывать свои выступления для многотиражки, которые за него писали доморощенные журналисты.

Карикатура застала его врасплох. Наблюдавшая за ним Муфтина заметила, как вначале посерело, а потом побагровело лицо начальника цеха. С чувством какого-то сладострастного удовлетворения Муфтина поняла: этого железного человека можно сразить таким пустяковым оружием, как листок газетной бумаги.

Фомин аккуратно сложил газету, неторопливо вышел из конторки. Поднявшись в заводоуправление и кивком головы отвечая на приветствия встречавшихся сотрудников, он перевел дух и рывком распахнул дверь парткома.

Ни слова не говоря, Фомин подрагивающими пальцами развернул перед секретарем газету.

Ожигалов взглянул на карикатуру, обведенную синим карандашом, и, подняв глаза на Фомина, спросил:

— Ну?

— Что ну? — Фомин еле сдерживался. — Бандитизм!

— Почему бандитизм?

— Нападение на честных людей из-за угла, как иначе назовешь?

Ожигалов нахмурил брови. Обычно добродушное лицо его стало неприятным.

— Прежде всего, Фомин, никто на тебя из-за угла не нападает, — жестко выговорил Ожигалов. — О твоей честности или чести поговорим отдельно. Теперь дальше... Это мягкая, беззубая критика, если хочешь знать. Не так тебя нужно шкурить... Садись и приведи свои мысли в порядок. — Ожигалов выдвинул наполовину ящик стола, оперся локтями о его борта и стал читать бумаги, лежавшие в ящике. Фомин решил, что эти бумаги имеют непосредственное отношение к нему.

«Неужто реглан? Что перед этим какая-то незамысловатая и, если на то пошло, безвредная карикатура! Если секретарь заговорит о реглане — пиши пропало! Такого стыда не вынести». Фомин вдруг представил свое будущее в виде линии, бегущей зигзагами, как на ленте кардиограммы; он видел такую линию, когда проверял свое сердце в поликлинике.

Прошло две-три минуты, и он ощутил облегчение. Ожигалов ровным голосом спрашивал о причинах падения сменной производительности труда. Это само падение было козырем в руках Фомина; на его основании он и строил систему атаки. Окончательно овладев собою, Фомин заложил ногу за ногу и заговорил с прежним самомнением:

— Упала, верно. А почему? Потому что легкомысленно вводите новые нормы. Я предупреждал на бюро: не спешите, не порите горячку!

Три папироски искурил Ожигалов, пока Фомин распространялся о

чутком и бережном отношении к массам, о своем недоверии, как он выразился, к «наигранному и безвыходному энтузиазму». Не только палец надо держать на пульсе рабочего, но и вслушиваться в биение его сердца. Ожигалову многое становилось ясным в поведении Фомина. Прикрываясь высокими словами, Фомин подлаживался к самым отсталым и крикливым рабочим, стоял на зыбкой политической почве. Не случайно он выписал именно такие цифры в качестве якобы неопровержимых доказательств. Если поступить так, как советует Фомин, затормозится развитие индустрии. Прокричит Гамаюн погребальным голосом.

А если послушать со стороны, ловко все получается у Фомина! Будто он один-разъединственный и самый верный защитник рабочего класса.

— Ты что же на меня чекистом глядишь? — спросил Фомин, в конце концов запутавшись в своих цифрах.

— Не тот борщ подогреваешь, Дмитрий, — строго сказал Ожигалов. — Не те блюда собрался стряпать для насыщения рабочего класса. Стошнит от твоего меню...

— Не перехлестывай, — нахмурился Фомин. — На меня ярлык тебе не удастся приклеить. Теперь я понимаю, что ты ведешь на подрыв...

— На подрыв? Кого?

Фомин встал, и лицо его, оказавшееся в тени, как бы расплылось и потускнело, только плотнее сжались губы.

— На подрыв моего авторитета, — отдельно произнес он. — А я завоевал его не болтовней, не приседаниями перед начальством... Им что? Лишь бы отрапортовать. Лишь бы Орджоникидзе упомянул к случаю.

Ожигалов тоже поднялся, одернул черную рубаху из матросского сукна и резким взмахом руки остановил разошедшегося Фомина.

— Не трожь Орджоникидзе, Фомин. Если хочешь знать, то подорвать авторитет такого коммуниста, как ты, — это значит смыть пятно с партии. Если ты не прекратишь своей политики, тебя выгонят твои же товарищи.

— Что ты, что ты!.. — забормотал Фомин, чувствуя вдруг охватившую его слабость. Щеки его покрылись синеватыми пятнами, веки задергались.

Ожигалову стало жаль этого когда-то самоуверенного человека.

— Садись. Выпей воды.

Фомин жадно пил воду, стараясь избегать взгляда секретаря ячейки. И снова мерещился ему черный кусок кожи, агент с масляными глазами, подлые движения его загребущих рук.

— Надо выявить воротил, — продолжал Ожигалов, — а ты их знаешь. И выгнать для исправления на стружку.

— На стружку? — Фомин подумал, что ослышался.

— Для тебя это ново? Объясню: так сделали на заводах в Благуше, на Симоновке. Я был там. Помогло. На стружку отправляют закоперщиков, причем сами рабочие это решают на собраниях. Именно так осуществляется роль гегемона, а не махинациями... Волынщики дробят, грузят, пакует стружку. Грубо? Возможно. Зато мгновенно слетает весь апломб. Теперь ты знаешь, что такое стружка?

Фомин раскис, слушал вяло и думал не о закоперщиках, пакующих стружку, а о самом себе.

— Тебе будет кисло, — угадывая его мысли, продолжал Ожигалов. — Ты сам выращивал кадры для стружки. Ничего не попишешь! Да, кстати, хочу с тобой посоветоваться. У Ломакина и Парранского возникла мысль посадить на твердый оклад рабочих-инструкторов. На них будут проверяться нормы...

Сначала Фомин соображал смутно, но постепенно понял, куда Ожигалов клонит дело. Он слушал с подозрительной настороженностью. Еще не так давно Фомин голосовал за Ожигалова на выборах, выступал на бюро за его секретарство, поддерживал рекомендацию райкома. Ожигалов ходил тогда тихий-мирный, шутил, расписывался в билетах, принимал взносы, пристукивал печаткой, не лез на рожон, щадил ветеранов предприятия. А вот поди же, теперь его будто подменили! С ним надо держать ухо востро.. Лучше поддакивать, прикинуться смиренным.

— Так... — выслушав Ожигалова, протянул Фомин. — Насколько я понимаю, вы надумали развязать рабочую инициативу?

— Ерничаеть?..

— Почему? — Фомин не удержался, вспылел. — Если хочешь знать мою точку зрения, скажу. Напоминает мне ваша схема карательную экспедицию.

— Хватит! — Ожигалов резко его прервал. — Не болтай зря! Я сегодня злой и неумолимый. Но скажу откровенно, Митрий, только сегодня я начинаю понимать, почему даже беспартийный дворянин Хитрово жалуется на тебя с позиций строителя социализма.

Упоминание о Хитрово вызвало в Фомине приглушенную ярость. Кому-кому, а этому гнилому обломку он подчиняться не будет. Мерить его, ветерана, аршином Хитрово — значит отступить от прошлого, сдать боевые знамена, опоганить пулеметные гнезда. За что же боролись? За что кровь проливали?

— Не знаю, что в революцию делали вы, братишки в клешах и с фунтами керенок за пазухой, а мы гадов рубали до самого ленчика. Пока!..

Ожигалов загородил ему дорогу.

— Нет! Победителем отсюда не уйдешь. Меня ты не достал клинком до ленчика. Зачем деньги у подчиненных занимаешь?

— Подумаешь, барская косточка! Мастеровой всегда выкручивается перед получкой. Разве запрещено деньги одалживать?

— Разрешено одалживать и отдавать, а ты зажиливаешь! По кабакам мзду с рабочих собираешь. Пьешь, а государство расплачивается. — Ожигалов положил ему на плечо руку. — И по тебе может заплакать стружка... Помню, был у нас в части один тип, звали мы его Мародер-зануда. Этот тип за полфунта керенок плюнул на карточку своей покойной матери... Так вот, ты на него походишь, Фомин... Только наша мать еще не умерла! Не закопаешь ее. Наша мать — революция! — Ожигалов расслабленно отошел в угол, сел на железный ящик. — Кто тебе в душу поганой пакли напихал? Вытащу ее, а то задохнешься. Погибнешь! Меня вон упрекают, что тебе потрафляю, помогаю очки втирать: оба, мол, на гражданской мечены. А я сейчас готов кулаком тебе в переносье сунуть. Вот до чего ты меня озлобил!

Фомин спустился в цех, так до конца и не уяснив себе, что известно о нем секретарю ячейки. Знает ли он о реглане? А деньги придется отдать, особенно ненадежным и трепливым, а то еще по чьему-нибудь наущению поднимут вопрос. И расплатиться нужно как можно быстрее. Рекомендует не пить с рабочими, не ходить с ними в баню, загнать закоперщиков на стружку... Голова разламывалась от всех этих мыслей, и неприятно было ощущать свое полное бессилие. Надо вести себя разумно, не схватываться до поры до времени с Ожигаловым. «Плетью обуха не перешибешь». Надо выждать, присмиреть. Ожигалов наметил его отчет на четверг будущей недели. Просил дополнить и расширить. «Не забыть претензий» и более внятно вскрыть причины падения сменной производительности. Фомин знал: любая директива, спущенная сверху, должна быть выполнена внизу. Так же неуклонно будет выполнена и директива по упорядочению норм, из-за чего и загорелся сыр-бор. «Мародер-зануда...», «Плюнул на портрет матери...» Слова Ожигалова вызванивали в его мозгу, словно колокольцы.

Муфтина и мастер смены подсунули ему на подпись наряды на аккордные работы по кооперации.

— Подождем, надо разобраться, — буркнул Фомин и с отвращением бросил наряды в ящик стола.

Эта распроклятая «черная шкура», все напоминало о ней! А еще недавно он похвалился ею перед соседями по квартире и перед женой, никогда ему не перечившей из-за своего раболепного уважения к нему. «Знала бы ты, Авдотья, изнанку своего благоверного! — думал Фомин. —

Со стыда сгорела бы, добрая женщина...»

Позвонил секретарь директора Стряпухин и своим тоненьким голоском попросил выполнить приказание директора: обеспечить назавтра явку группы рабочих по зачитанному им списку.

— Вы, что же, сами их выбирали? — спросил Фомин, записывая фамилии.

— Согласовано с партийной организацией, — ответил Стряпухин и повесил трубку.

В списке значилось несколько старых, опытных рабочих. Но что странно: были и молодые, такие, как Степанец и Бурлаков. Фамилия Квасова тоже значилась.

— Через вас ничего не проходило, товарищ Муфтина? — спросил Фомин, обдумывая фамилии вызываемых к директору рабочих. В глубине души он опять заподозрил: не по его ли делу подобраны свидетели?

Опасения его отчасти рассеялись, когда он осторожно поговорил с некоторыми из вызванных. Для каждого Фомин постарался найти приятное слово, будто невзначай спрашивал о разряде, о «претензиях».

Позвонил Ожигалову, сказал:

— Все-таки не понимаю, для чего вызывают рабочих.

Ожигалов прокричал так, что задрожала мембрана телефона.

— Я же тебе говорил: создается институт рабочих-инструкторов! Ты тоже приходи, естественно. Без особых приглашений.

К Фомину полностью вернулось душевное равновесие. Подозрения, глодавшие его, отступили на задний план. Можно было вздохнуть полной грудью.

Он отыскал Бурлакова.

— Учти, Николай: я тебя рекомендовал как самого зрелого, — беззастенчиво врал Фомин, стараясь склонить на свою сторону этого неуступчивого парня, близко знакомого Ожигалову; с ним нельзя было не считаться. — Извини, что за сутолокой забыл поздравить тебя с законным браком... — Фомин задержал в своей руке руку Бурлакова. — Поздравляю от всей души. Наташа — достойная девушка, наша, рабочая косточка.

На следующий день к назначенному времени в приемной директора собралось не менее тридцати человек. Предполагаемая реформа коснулась не только механического цеха, были здесь и рабочие из других цехов. Говорить старались тихо, не курили, подчиняясь установленному Стряпухиным порядку.

Директору Алексею Ивановичу Ломакину было немногим больше тридцати. Ему не пришлось по причине своего малолетства участвовать ни

в первой мировой, ни в гражданской войнах; не мог он похвалиться боевым орденом или ранами, зато успел получить «трудолик». Следуя духу того времени, Ломакин носил полувоенный костюм, подчеркивающий стиль военного коммунизма.

Многими машиностроительными предприятиями управляли знаменитые люди — участники революции, гражданской войны. Индустрию вели надежные, волевые капитаны. Инженер-директор был еще редкостью: недостаток технических знаний возмещался революционной закалкой и дисциплинированностью.

Ломакин был деловым человеком, знал производство, прошел весь путь от рабочего до командира производства и потому больше многих понимал психологию выросшего его класса. С рабочими он вел себя просто, но не панибратствовал, как зачастую поступали руководители, вышедшие не из рабочей среды. Волынщиков, горлопанов и тех, кто истерически вопил от имени пролетариата, он терпеть не мог и разгадывал этих пролетариев без микроскопа.

Для того чтобы все детали этого романа были ясны, не мешает напомнить о демократическом характере взаимоотношений, сложившихся в те годы между руководящими звеньями индустрии. Орджоникидзе, а он вел почти всю индустрию и был членом Политбюро, ценил Ломакина за оперативность в освоении серийных выпусков приборов, до зарезу необходимых стране. К Ломакину он относился, как и ко всем, кого любил, с отеческой строгостью; если бранил, то сильнее, чем тех, к кому относился хуже, а если хвалил, то скупно, чтобы «хороший кадр» не слишком задибал нос. Был случай, о котором Ломакин рассказывал с гордостью. Однажды после совещания на площади Ногина, в конференц-зале, нарком пригласил его и еще трех руководителей точной индустрии к себе на обед, в Кремль. Принимала гостей жена Орджоникидзе, Зинаида Гавриловна, женщина приветливая и общительная, из бывших учительниц, с которой Орджоникидзе познакомился в ссылке. Квартира Орджоникидзе находилась в старинном здании бывшего Потешного дворца, примыкавшего к кремлевской стене вблизи Троицкой башни.

Навсегда запомнил Ломакин обед (белый суп с кавказскими травками и цыплята, изжаренные на раскаленных камнях). Столовая была небольшая, с маленькими оконцами, прорезанными в толстых стенах, из окон были видны Верхоспасский собор, собор Двенадцати апостолов, Царь-пушка. О ней говорил Орджоникидзе, приводя пример первоклассного литейщика Ондreja Чохова, сумевшего три с половиной века назад отлить такую штуку в «преименитом и царствующем граде

Москве», где «вы, потомки, никак не освоите ковкий чугун и литье в кокиль».

«Либо быстрее их пробежим, либо погибнем! — Рубящий жест правой руки сопровождал слова наркома. — Народ нам не простит, если загубим революцию. Дратся мы умеем, разрушать старый мир умеем, а вот строить, экономически мыслить — не всегда... Рабочих не забывайте! Нельзя смотреть на них свысока, кичиться перед ними мандатами. Рабочие все смогут. Без них мы — фантазеры. Меряйте себя любовью рабочих, а не благодарностями треста или наркомата!..»

Почти все приглашенные к директору завода были налицо, за исключением двух-трех человек. Еще не появился Квасов. Стряпухин повертел карандашом возле его фамилии, спросил о нем Фомина.

— Предупреждали Квасова дважды, — сказал Фомин, — должен быть. Кстати, Семен Семенович, какая это шишка приехала к нашему директору?

— Шишка? Не знаю, — холодно ответил Стряпухин, поглядывая на часы: минутная стрелка вот-вот должна была подойти к назначенному времени. — В кабинете сидит директор одного из энских уральских заводов, товарищ Серокрыл Степан Петрович.

— Серокрыл? — обрадованно переспросил Фомин. — Комбриг?

— Директор. Я же сказал: директор.

— Это мой комбриг! — воскликнул Фомин. — Три Красных Знамени у него?

— Кажется, три, — Стряпухин поднялся, поправил поясной ремень и одернул с боков саржевую гимнастерку с отложным воротником.

Человек на четыре «С» — секретарь Семен Семенович Стряпухин давно сумел завоевать уважение и доверие всего коллектива.

Люди нашли в нем человека, способного, не перебивая и не понукая, выслушать просьбу и, что особенно поучительно, смелого администратора, готового самолично решать многие вопросы заводской «текучки». В тридцатые годы не сформировался и не окреп тип помощника или секретаря, церберно восседающего у «амвонных врат» и у аппаратов связи; еще не вылупился фельетонный прототип с брезгливо искривленной губой и натренированным позвоночником, умеющим гнуться перед вышестоящими и выпрямляться перед представителями рядового человечества. От последних-то в основном и стал охранять такой секретарь своих важных шефов.

Внешне Семен Семенович ничем не выделялся. Описать его почти невозможно, как, примерно, невозможно описать один за другим грибы опенки. Таких лиц много. Но внутренне Стряпухин, как уже было сказано,

являлся ярко выраженной индивидуальностью и потому запоминался с благодарностью и надолго.

На лысеющем лбу Стряпухина сбежались морщинки, когда он в последний раз взглянул на часы. Затем морщинки так же быстро соскользнули к вискам. Быстрыми шажками он направился к кабинету и, ловко пронеся свое куцее тело через полураскрытые двери, вскоре вернулся и попросил заходить. Сам же он притиснулся спиной к двери с тугой пружиной, чтобы люди могли пройти свободно.

В кабинете кроме самого директора и членов «треугольника» находилось еще несколько человек: Парранский в пепельно-голубом костюме, Лачугин все в той же тубетейке, Хитрово, начальники отделов. Они занимали правую сторону, впереди стендов, демонстрирующих продукцию завода, начиная от простого лабораторного и медицинского оборудования, полностью освоенного, и кончая сложными приборами. Часть заказов постепенно выводилась на другие предприятия объединения, но кое-что сознательно задерживалось на заводе в целях суммарного выполнения плана. Что и говорить, легче мастерить освоенные центрифуги и автоклавы, чем новые, «спотыкающиеся» приборы. И почему бы не сохранить цех термометров, прекрасно налаженный при помощи тюрингского немца Майера и помогающий безотказному кредитованию в банке? Ломакин противился Парранскому, торопившему раз и навсегда распроститься с медицинскими термометрами и с термометрами, измеряющими температуры и качество воздуха, жидкостей, металлов. Ломакин помнил прекрасную пору освоения, когда хрупкий полуфабрикат огненных гутт завода «Дружная горка» превращался в разнообразные изделия, тщательно градуированные, с тончайшими капиллярами, вобравшими в себя спирт, ртуть...

В ювелирных ящичках хранились похожие на драгоценные камни шарики, наполненные особой жидкостью и запаянные без остаточных швов, — стеклянные шарики, добытые в мастерской Шрайбера при помощи бунзеновской горелки, газового горна и несложных приспособлений для вращения и шлифовки. Не случайно конторка Шрайбера сразу же по окончании смены опечатывалась по мастике медным гербом. Без шариков, будем называть их так, невозможно определить точность многих приборов, в том числе и намеченного в опытную серию автопилота.

Парад техники завершался сложными артиллерийскими приборами, уже поступавшими в войска, бортовыми прицелами для самолетов, прицелами для морского торпедирования и недавно присланными из ОКБ

эталоны приборов, стабилизирующих курс быстроходных катеров «москитного флота».

Впервые Николай увидел в сконцентрированном виде то, что производили люди, проходившие утрами по сосновым доскам табельной проходной и устало возвращающиеся по тем же доскам после отбойного воя сирены.

— Заранее прошу прощения за беспокойство, — сказал директор, когда все расселись. — Мы хотели бы с вами посоветоваться.

Серокрыл, крепчайший мужчина с тремя боевыми орденами на крутой груди, повернулся в сторону Фомина и кивнул ему без улыбки, с каким-то сдержанным упреком. Засиявший было Фомин сразу погас и опустил глаза в раскрытый блокнот, лежавший у него на коленях. Эта мимическая переключка была замечена многими. Особенно доволен был Ожигалов, всем видом своим говорящий: «Ну что, Фомин, нашел единомышленника?»

— Мы вас призываем до конца победить все проявления дикости и отсталости. — Ломакин положил на отполированный край стола ладони, как бы собираясь встать. — Я не о той дикости говорю, когда рыбу с ножа едят и чавкают при этом. Я говорю об отсталых настроениях среди... н а ш е г о брата... Мы должны повести борьбу с теми из н а с, кто пытается сорвать, а не заработать, взять побольше, а сделать поменьше. С кого сорвать? Да с нас же самих, с честного рабочего, с работяги крестьянина, чтобы тянуть из него последнюю жилу.

Парранский с удивлением приподнял бровь, потом другую. Тянуть последнюю жилу? Так мог говорить коммунист, выходец из пролетарско-крестьянской среды, а попробовал бы он, Парранский, сказать об этой «последней жиле»? Все сидели тихо в ожидании того главного, из-за чего их пригласили в кабинет с дубовыми панелями и стенами, покрытыми твердым берлинским линкрустом. Только Саул, сидевший возле молодого токаря Степанца, энергично и согласно мотнул головой. Николай заметил это. Саул и сам не раз бранился, говоря о слишком больших тяготах, взваленных на плечи крестьян во имя быстро растущей индустрии.

Ломакин заговорил о довольно прозаических вещах, связанных с удешевлением приборов, с экономией и повышением отдачи. Будто невзначай упомянув о рвачах, он спокойно поиздевался над теми, кто считает нелепостью подсчитывать деньги, перекладываемые из одного кармана в другой. А эти карманы, как считают они, принадлежат одной кассе — Советскому государству. И снова перешел к о т д а ч е.

Слушая достаточно надоевшие истины, Серокрыл наблюдал за сидевшим у окна молодым рабочим в галифе с леями и в затрепанной, с

неоднократно подшитыми манжетами, гимнастерке. Серокрыл не знал Николая Бурлакова. Обратил он на него внимание прежде всего потому, что Николай с внутренним восторгом всматривался в него, Серокрыла, и этот взгляд приводил в смущение даже такого стреляного волка. Серокрыл знал себе цену, еще бы — имя его упоминается в юбилейные дни армии, а художники нет-нет да и намалюют его портреты. Партизан не мог догадаться, конечно, что Бурлаков знал его не по юбилеям, а узнал в нем человека, который подъехал с Фоминым на лихаче к шашлычному подвальчику на Тверской улице; это было в тот памятный день, когда демобилизованный кавалерист впервые бродил по улицам Москвы. Серокрыл залюбовался открытым лицом Бурлакова. Глаза светлые, ясные, кожа чистая, а буйным прядям и расческа, пожалуй, не нужна, пусть себе вьются в беспорядке, падают на лоб.

Серокрыл перевел взгляд на Ломакина. Он тоже по-хорошему завидовал его простецкому, располагающему к себе лицу, его добрым губам и доброму носу, если, конечно, можно так выразиться о носе. И глаза у него теплые; какие бы резкости он ни говорил, злобы не отыскать в этих «зеркала души» при самой дотошливой подозрительности. Серокрыл не любил свою внешность: мрачные черты его лица не смягчала даже улыбка. Да и то сказать, жизнь не легкая. Шахтерщина в Донецком угольном бассейне, солдатчина в германскую войну, гражданская война, потом восстановительный период, Промышленная академия. Голова раскалывалась от перенапряжения. Потом снова заводы, Урал, планы... Некогда вздохнуть.

Корыстных, лживых людей Серокрыл терпеть не мог. Перед этим совещанием Ломакин рассказал ему о поведении Фомина. Бывший комбриг почувствовал недосказанный упрек в этих словах. Правда, как может Серокрыл влиять теперь на своего бывшего комэска Фомина? Живут за тридевять земель друг от друга, видятся в редкие приезды и то лишь на базе кахетинского и шашлыков. И все же старый вояка решил призвать к порядку своего соратника.

— Мы решили организовать и н с т и т у т инструкторов из рабочих. — Ломакин подходил к основному пункту, и заскучавшие было слушатели оживились. — Назначаются инструкторы из рабочих, наиболее опытных и зрелых. Вероятно, они должны быть независимы от цехового начальства. — Он посмотрел на съездившегося Фомина, подчеркнуто выдержал паузу и продолжал: — Переведем их на оклад. И когда нужно проверить нормы выработки, будем обращаться к ним. Они — эталоны! Инструктор становится к станку и с тем же инструментом доказывает на практике. Вы

спросите: для чего мы решили сделать так? Для того чтобы погасить всякие споры, чтобы рабочая самопроверка выбила почву из-под ног закоперщиков, крикунов, стонущих от якобы высоких норм и от несправедливостей нормировщиков. Ну и так далее... Вы сами понимаете это не хуже меня, братцы.

Вызванные рабочие догадались наконец для какой цели затеян этот разговор, но пока никто не решался высказаться. Закончив, директор сел за стол, выпил залпом стакан остывшего чая и потер ладонями щеки.

Серокрыл, повернувшись к Ломакину в своем глубоком кожаном кресле, спросил:

— Если вы решили посадить инструкторов на оклад, то какая же тут самопроверка, Алексей Иванович?

— А как же иначе? Нам же придется отрывать инструктора от станка, выбивать его из ритма...

— Так-то оно так... — Серокрыл нахмурился. — Все равно самопроверка не получается. Вы же его делаете агентом администрации и ничем иным, Ломакин. Если уж идти против дурных настроений... — И он повернулся к Фомину и окинул его неприязненным взглядом.

— Нужно прислушаться, — тихо сказал Парранский.

Ломакин спросил молчавшего Ожигалова:

— Как ты думаешь?

— Мы же предварительно обменивались мнениями, — ответил Ожигалов. — Насчет оплаты нужно посоветоваться с заинтересованной стороной, с товарищами. Для того их и позвали. — И обратился к Серокрылу: — Инструктор — это, ну, как бы младший командир в армии. Красноармеец думает, что такое-то упражнение выполнить невозможно; тогда младший командир показывает сам, доказывает не словами, а делом. Не так ли, товарищ Бурлаков?

Не ожидавший обращения к себе, Бурлаков по армейской привычке встал, невольно вытянул руки по швам; спокойное лицо его сразу напряглось, утерев свежие краски, которыми с завистью только что любовался Серокрыл.

— Правильно, тогда младший командир показывает... — Бурлаков замялся. — Только необходимо учитывать и возможности красноармейца...

— Так, согласен, — вмешался Ломакин. — Потому мы и намечаем в инструкторы разных людей. Не только таких, как, к примеру, Старовойт, — он и блоху подкует. Мы назначаем и тебя, Бурлаков, и вот этого бывшего фабзайца Степанца. Нужно добиться перелома, и сделать это безупречно, руками самих же рабочих, а не агентов администрации.

Серокрыл, покачав головой, сказал:

— А ты не заметил, Алексей Иванович, как рабочий-то твой безупречный дрогнул? А чего он испугался? Того, что ты его от станка оторвешь, переведешь в ранг надсмотрщиков. Как у нас делается? Замысел хороший, а исполнение дурацкое. Испортите вы его на этой должности, дисквалифицируете. Контрагент на первых порах из него, возможно, и вылупится, а дальше? Пройдет время, и он не только других ничему не научит, но и сам азы позабудет.

Николаю понравилась откровенность уральского директора. Мысль Ломакина не встретила в нем сопротивления, поскольку он понял, что задача решалась не только технически. Вот тут-то и нужна тонкость. Вывесить приказ легко, а вот как его истолкуют рабочие? Администрация поддержит, а товарищи не отвернутся ли? Поэтому лучше не переводить инструкторов на оклады. Действительно, примут их как надсмотрщиков. Не лучше ли не назначать, а избирать инструкторов, ну, хотя бы на производственных совещаниях?

Николай, высказав свои соображения, сел как в тумане. Выступавшие стали поддерживать его. В глазах Николая прояснилось. На него по-прежнему с одобрением смотрел Серокрыл, взглядом похвалил Саул, и Парранский, по-видимому, узнал своего случайного вагонного спутника. Главное — сплоченность, создание твердой и надежной коллективной силы, действующей разумно и осторожно. Нельзя обижать рабочих, нельзя нажимать. Самопроверка мыслилась как доброе дело. И не было в учреждении нового института измены товариществу, о чем говорил Ломакин в своем заключении; нужно добиться, чтобы все рабочие чувствовали себя хозяевами полноправными, а не бумажными, и тогда можно горы своротить.

По окончании совещания Николай вышел из кабинета легким шагом, будто после удачно выполненного строевого урока. В приемной его позвал к своему столу Стряпухин, придвинул заполненные бланки.

— Просмотрите и распишитесь, товарищ Бурлаков. Только нужных вам размеров леса не нашлось на складе, даем отличный сосновый швырок, двухметровку. Кровельное железо, извините, черное, но если его проолифить, а потом красочкой, советую суриком, — на десять лет пойдет...

Поймав недоуменное выражение на его лице и будто обрадовавшись, Стряпухин своим мягким тенорком разъяснил:

— Комсомольцы выразили желание коллективно помочь вам пристроить комнату с тамбуром. Есть их ходатайство. Дирекция отпускает

материалы из своего фонда.

Не так давно Саул, встретив Николая, пообещал какой-то «сюрприз». Когда комсомольские вожаки обещают «сюрприз», хорошего не жди; а тут все обернулось светлой стороной. Острое перо разорвало рыхлую голубоватую бумагу, подписи получались неважные.

— Требуется архитектурный проект и другие формальности, — продолжал Стряпухин. — Все сделаем сами. Подошлем плотников. С тетушкой вашей супруги договорился товарищ Гаслов. Она не возражает против пристройки. Выговорила себе краски на крышу.

В приемной, откуда уже все разошлись, появился Квасов.

— А, ты еще здесь, контрагент!

Николай понял, что Квасову все известно.

— Здесь, — сухо ответил он.

— Туда нас вызывают? — Квасов мотнул головой на директорские двери. — Угадал, Семен Семенович?

— Угадали, товарищ Квасов, — ответил Стряпухин. — Правда, с большим запозданием. Но можете зайти.

Квасов по-хозяйски толкнул дверь плечом и прошел, высоко подняв голову, уверенный в себе, веселый, широкий не только в плечах, но и в удачливой жизни.

Вскоре донеслись резкие голоса, вначале Квасова, потом директора; кажется, вмешался Парранский, и тоже на взвинченных нотах. На лице Стряпухина появилось озабоченное выражение, пальцами он оттопырил ушную раковину. Тело его напряглось. Разгневанный Квасов вылетел из кабинета. Масляная пружина с шипением притворила массивную дверь. Голоса за ней погасли.

— И ты согласился, Колька? — с негодованием спросил Квасов.

— Да! — Ответ был похож на вызов.

— Администрация легавых ищет! — Квасов не остыл после стычки в кабинете. — По дешевке их покупает. Слепые вы души! — Квасов с силой отмахнулся. Из кармашка куртки выскочил штангель, стукнулся об пол. Стряпухин нагнулся, поднял штангель.

— Иди-ка одумайся, Квасов, — строго сказал он и с укоризной добавил: — Плохо ты понимаешь рабочий класс. Разве его можно купить?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ломакин явился в цех лишь для того, чтобы заявить:

— Волынщиков отдаем на ваш, рабочий, суд... Сами оценивайте, принимайте меры, наказывайте. Администрация вмешиваться не будет. Если излишне сурово обойдетесь, ну, тогда придется в какой-то мере помиловать.

Ни слова больше не проронил директор на цеховом собрании и ушел. Рабочие по-свойски рассчитались с волынщиками.

Поверженный Квасов остановился возле ворот. Кованых птиц омыл недавний летний дождь; их мудрые глаза строго смотрели на Жору. Хвосты, изогнутые вниз, матово светлели под фонарями.

В небе голубела яркая звезда. Прямо к ней поднимался из кирпичной трубы крученный ствол дыма. Кровавыми бликами играли окна литейки — кипел металл.

Душа Жоры Квасова была до краев переполнена и дурным и хорошим. Его выгнали на стружку — это очень дурно и стыдно. Выгнали сами рабочие — тем хуже! Но, может быть, они слепые и ему одному приходится бороться с хитростью администрации? И это хорошо. Он не предал интересы рабочих, не стал легавым.

Старый друг Колька выступил против него, а злобы на Кольку не было. Его искренность не вызывала сомнений. Если он ошибается невольно, можно простить. Одно некрасиво: слишком складно выражал свои мысли. Людей, ясно мыслящих, точных на слова, правильных до тошноты, Жора не принимал. Они вызывали у него подозрение. Николай рассуждает слишком трезво. Ход рассуждений у него противно прямой, все по шнурку, по отвесу. Если перевести на токарный язык — работает по чертежу в точных пределах узаконенных допусков и припусков.

А Фомин продал! Как еще продал!.. Отрекса, как Петр от бога. Крыса — не человек! Вот так и расшатывается рабочая солидарность!

Жора лениво шел по переулку, не ведая, куда несут его ноги. Самый раз окунуть губы в пивную пену. Пивная закрыта. Щит с засовом. Запахи мочи и прокисшего пива. Подумал: «До чего же отвратно! Некультурные твари. И это в самом центре пролетарской столицы».

По площади тащились грузовики с мокрой землей. С бортов текло. Рыли подземку.

Грузовики шли сплошняком, грязные и неповоротливые. Не переждать. Квасов постоял на площади, покурил, бросил окурочок на сухое дно фонтана и тяжело зашагал вниз, к Красной Пресне.

На Баррикадной есть магазинчик. Знакомый продавец не откажет выручить бутылочкой, завернет огурцов.

А потом с бутылкой в кармане куда? Своя семья не сложилась, у Аделаиды — ни любви, ни уюта, один обман, пудра и мази. Аделаида примется врать или плакать. Нельзя рабочему человеку связываться с дамочкой в шляпке.

Марфинька! Шепнул ей сегодня, чтобы ушла с собрания. Зачем ей видеть его срам?

Квасов испытывал злое отчаяние. Нет, неправильно начата жизнь! Товарищи сегодня крыли его. Но это неважно. От товарищей можно уйти. А куда уйдешь от себя?..

В лавчонке долго объясняться не пришлось. Жора шел, и бутылки приятно охладили тело. Огурцы и шматок ливерной колбасы засунуты в наружный карман куртки. Жора заранее предвкушал наслаждение от стакана водки и хруст на зубах от соленого огурца. Даже челюсти свело.

К Марфуше! Только к ней, ребячливой и милой. Она и целоваться-то совсем не умеет, зато всегда найдет ласковое слово. С ней просто и тепло. Ей так мало надо! Не требует она пропусков в Инснаб, шоколада, маркизетов, гречки и манной крупы.

Чем же живет она, как? Молодостью, верой, безнадежной любовью к нему, подлецу?

Квасов не жалел для себя дурных слов, нисколько себя не щадил. Ему стало легче. Ему нужна была Марфинька. Единственный человек, которому можно открыться. Она не обессудит...

Марфинька сама отворила на стук, провела коридором так, чтобы он ни за что не зацепил. В комнатке освещенной луной, припала к нему всем телом.

...Сколько времени прошло?

На столе — пустая бутылка водки и вторая, початая. Скромная снедь — огурцы и ливер, раскромсанная ножом банка бычков. Жора лежал на диване, положи курчавую черную голову на валик, спустив ноги на пол. Над его забубенной красивой головушкой склонилась Марфинька, любовалась им. Крепкая, смуглая рука Жоры лежала на ее коленях ладонью вверх, и Марфинька нежно гладила эту ладонь, будто подкованную мозолями.

Марфинька была пьяна не от водки. Выпила она только одну рюмку, и

то с отвращением — ради любимого Как отказать? Ее пьянило присутствие Жоры. Значит помнил о ней, если потянуло сюда. Как не отблагодарит лаской! Зачем упрекать, тиранить? Она не жалела красивых слов — только бы оттаяло его сердце.

— Говори, говори, — шепотом просил он. — Она совсем не такая, Марфинька. Я для нее... Собака я для нее. Верти хвостом, тащи добычу в конуру, гни горб для ее прихоти.

Слова вылетали комканые, вялые. Марфинька торжествовала, ловила эти невнятные слова, словно ненароком оброненные в тишине полуосвещенной комнатки, до того крохотной и милой, что в груди щемило.

— Нельзя их любить, Марфа, нельзя. Гады! Азотная кислота... Капнет — и дырка до кости... Думал, подымусь возле нее, интеллигентка, а она во мне всю муть всколыхнула. Душа моя, Марфинька, взболтанная, мутная. Ни разу она меня не похвалила, не удивилась на меня. Она узкая. Драчовая пила. Если поставить ребром. А я просторный. Ты же знаешь меня, Марфа!

— Просторный ты мой, просторненький!.. Заблудиться в тебе можно, Жорочка, — отвечала Марфинька и, не осмеливаясь поцеловать в губы, осторожно прикасалась губами то к его лбу, то к волосам.

Запах табака и водки дурманил ее. Страшное для любви и дум время — полночь... Московская, улица не шумела вдаль; ночной воздух, еще не остывший от дневного тепла мостовых и крыш, втекал через окно. Завтра вставать раньше света. Ничего! Не привыкать.

— Как она может тебя не понять! Мертвая она, значит, до любви. Спроси любую мою подружку, они скажут, какой ты красивый, Жора! Наташа и то... Теперь она с Николаем, а раньше...

При упоминании этих имен голова Жоры приподнялась с подушки, локоть уперся в колено, огонек вспыхнул в уголке глазного яблока.

— Наташа? Что раньше?.. Говори, прошу...

— Сам знаешь, сам...

Марфиньке не хотелось продолжать. Интерес Жоры к Наташе не случайный, она знает. Когда Жора замахнулся на нее разводным ключом, а Наташа не выдала его, немало пошумели в цехе, строили разные догадки. Потом все оказалось пустое, она вышла за Николая — и делу конец. Квасов ждал ответа, и небрежная улыбка появилась на его губах.

— Ты поругался с Николаем? — спросила Марфинька.

Квасов стиснул зубы, лицо его набрякло. Вот-вот он опять станет чужим, некрасивым.

— Наши мужские дела при нас, Марфуша, — с мрачной усмешкой

процедил он. — Мы сами как-нибудь разберемся...

— Брат же он мне...

— Мало ли чего! Ты разрешишь еще?

Чтобы угодить любимому, Марфинька налила ему водки. Граненый стакан подрагивал в ее руке. Жора не сразу взял его, какими-то новыми глазами он смотрел на ее рабочую руку с неумело накрашенными ногтями, с заусеницами и несмываемыми следами тавота.

И неожиданно Жора потянулся к этой руке и, не беря стакана, прикоснулся к ней губами. Марфинька обмерла от страха. Стакан упал на пол. Она прижалась грудью к его плечу и безудержно разрыдалась.

— Чего ты, дурная?.. — ласково и как бы проснувшись от забытья, спросил Квасов и погладил голову Марфиньки. — Какие все нервные стали...

Поцеловал ее в шею. В лицо пахло запахом не то курного угля, не то еще какой-то въедливой гари. Завод пропитал кожу Марфиньки. Невыносимо близка она ему сейчас. Жора запрокинул ее голову, жарко поцеловал в губы.

— Трудно мне, Жора, — сказала Марфинька, когда их порыв угас. — Я же тебя никак не неволила. Уступчивая я...

— Уступчивая, — согласился Квасов, пытаясь угадать, к чему она клонит.

Порыв уступает место осторожности. С этим вертким бабьем всегда нужно быть начеку. Чуть что — и промазал.

Марфинька продолжала:

— Как закрутила тебя эта, я стиснула сердце, сломила гордость. Ладно, решила, лишь бы тебе было хорошо... Чистенькая она, вертлявая, кольца у ней... Кофточка меняет. Одну, другую. Куда мне, Жора! А потом заметила: тяжело тебе с ней. Плохо. Со мной лучше. Как-нибудь дошли бы мы до разных кофточек, до... комфорта...

Чуждое слово резнуло Жору. Кто-то подкинул это слово, как камешек под ноги. Упало оно и будто покатилося, стукнуло в мягкую фанерную стенку.

— Ну? — попросил Квасов, поежившись и пощупав кадык.

— Со мной лучше бы тебе было, Жора. Мне — не знаю, а тебе — да...

— Мучительная гримаса передернула ее лицо. — Зачем я такая уступчивая?!

— Что же теперь нам делать?

— Переходи ко мне, Жора!.. Я тебя...

Вылетело слово — и не поймаешь. Марфинька запнулась, судорожно

сжала пальцы. Но что ж теперь будет? Она все стерпит, не обидится, раз уж это слово вырвалось.

Квасов не сразу ответил. Привстал с дивана, глубоко вздохнул и, промычав что-то неопределенное, поднялся в полный рост, загородив своим телом светлое пятно узкого окна.

Вместе с заслоненным лунным лучом погасла и вспыхнувшая надежда в сердце Марфиньки.

— Все вы одинаковые, — после тягостной паузы вымолвил Квасов. — Чуть что — «переходи ко мне!». А перейду, что будет?

— Ну, не уходи от нее, если нельзя. Вырвалось у меня!

— Вырвалось? — повторил он с пренебрежением. — Не могу уйти от нее, Марфа. Ждем мы, кажись, потомка. Сглупа... А потомок не завком, от него членскими взносами не отделаешься...

Рука Жоры потянулась к гвоздю, он нащупал кепку, смял ее в кулаке; хрустнул козырек.

— Все вы, девочки, добрые, ласковые, услужливые. До поры до времени... А разомлешь возле вас, окрутишься — слякоть одна: ревность, горшки, утюги, подгорелые пышки. Улыбка и та другой становится — кислая, прически будто хромоникелевая стружка, глаза не блестят, а мигают. Получку до копыа вытряхнете из всех карманов...

— Не хочу я ничего от тебя, Жора, — остановила его Марфинька и приникла к нему всем своим податливым, телом. — Только счастья тебе желаю...

Но он стал уже прежним Жорой Квасовым, любимцем и баловнем, которому все трын-трава, властным «вожаком пережитков», как назвал его однажды на собрании шибко грамотный председатель завкома.

Марфушка что? Ребенок. Ее и любишь и жалеешь. Доверчивая, чистая... Не нужен ей такой, как Жора Квасов. Ишь, сболтнула о счастье... Где оно? Куда его запрятали, в какую лузу загнали?..

Квасов протянул на прощанье руку.

— Счастья у меня не будет, Марфуша. Не для меня его золотая индюшка высиживает. Чувствую: чужой я всем человек. Все меня пытаются обломать... А я-то давным-давно обломанный, Марфинька. Я в армии с «губы» не выходил, спроси Николая, подтвердит. Вместе с ним полковую школу отъездили на венгерских полукровках. А подошел ко мне однажды комдив, простой человек, руку подал, глянул в глаза — и спекся Жора Квасов, как пирожок. Меня нельзя на корде гонять, Марфуша. — И, усмехнувшись, продолжал: — После мне комполка призовые часы вручил. Служили у нас в школе чеченцы, казаки, осетины, я их обскакал. Это

потому, что комдив по-человечески пожал мне руку и не упрекнул дисциплиной... Не подумай, что я дисциплине враг. Я хитрованов не люблю, Марфинька. Скажите прямо, ребята: хотим то-то и то-то во имя потомков. Подумаю, обмозгую, приму. А то следят за мной, как за жуликом, хронометрами щелкают, карандашами исподтишка скрипят, фотографируют мои усилия. А потом — нате, норму повысили. Размахнулся на свиную отбивную, а схватил бублик... — Поняв, что Марфинька ему по-рабочему сочувствует, остановился, шутливо взял ее за нос. — Только меня не копируй. Живи тише... У тебя жизненные запросы ограничены. Небось, родителям посылаешь?

— А как же...

— Хочешь, добавлю? — Жора пошарил в карманах штанов и пиджака.

— Не надо. Ни за что не возьму! — Марфинька повисла у него на руке.

— Ладно. Все понимаю. Я без намеков. Я могу тебе пальто купить, туфли... Просто так... Я в тебе вижу друга, Марфинька. Обижать не собираюсь. А кто посмеет тебя обидеть, селезенку вытряхну! Свели меня с той Аделаидой зря, оболестили, попался, как плотва на красного червячка. Ну и прыгаю на сковородке... Ухожу я. Пока! Не знаю, вернусь ли к тебе...

Марфинька знала: перечить ему нельзя. Отпустила без слез и упреков, благодарная за последние откровенные слова. Их еще надо продумать, разобраться. Квасов поцеловал ее в неотвечившие губы, нагнулся в дверях и ушел. С улицы слышно: пошел в сторону Грузинской, домой.

Оставшись одна, Марфинька не спеша умылась, вытерлась вафельным полотенцем, аккуратно повесила его над тумбочкой и, не закрывая окна, легла на диван, еще хранивший теплоту его тела. Вспомнила: завтра рано вставать, первая смена. Потянулась оголенной рукой за будильником, завела его на шесть и свернулась по детской привычке — колени почти у подбородка.

Свидание оставило горечь... А все-таки пришел! Вспомнил. Открылся душой. Не всегда можно добиться откровенных разговоров от Жоры.

Заснула Марфинька спокойно и во сне улыбалась, чему — неизвестно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Квасов сосредоточенно шагал по опустевшей улице, опустив голову и следя за тем, как то правый, то левый носок выкидывается вперед него. Словно чужие ноги идут. Булыжники блестели: рельсы трамвая светились на крутом подъеме, как клинки. Сверху с дребезжанием катился пустой запоздавший вагон.

Жоре было не то что стыдно, а как-то не по себе. Жалел ли он Марфушу? Пожалуй, жалел. Наболтал спьяну всякого вздору и наверняка обидел. Остаться бы надо, а нельзя. Ему представилась Аделаида в халате, с папильотками в волосах. Не спит, поджидает. Скандал обеспечен. Стоит только скрипнуть дверью — и начнет рубить, как лозу. И откуда у нее берется столько слов?! От шума завозятся соседи в своих гнездах, а их в квартире, как шмелей в дупле.

Размышляя над этими невеселыми проблемами и юмористически относясь к ним, Жора Квасов не заметил неотступно следовавшего за ним человека. Зоопарк. Всхлипнула на озере неизвестная птица. Будто в ответ ей прогоготал гусак. Дальше аптека. В жизни ни разу не прибегал он к этим стеклянным шкафам, утонувшим в тусклом освещении аптеки. Скорее бы проскочить мимо всего, что напоминает о болезни и смерти!

Человек обогнал Квасова и, приостановившись, взгляделся в его лицо.

«Алкоголик... дошел, — беззлобно подумал Жора. — Событьиальников выискивает на ночной выпивон».

Незнакомец пропустил его мимо себя, а потом снова обогнал и опять взгляделся, приподняв на носках свое тощенькое тельце. Нет, он был трезв.

Квасов остановился и, зная тактику самозащиты, вынудил его идти впереди. В этих глуховатых местах иногда пошаливали. Только вряд ли незнакомец рассчитывает сменить свой приличный костюмчик и кепку с большим козырьком на молескиновую куртку Жоры да вдобавок поплатиться полдюжиной собственных зубов.

Происшествие начинало забавлять подвыпившего Жору.

Прохожий свернул в ту же улицу, что и Жора, и на несколько минут пропал в темноте. Коммухоз не расщедрился тут ни на один фонарь: никто из важных лиц не проживал в этом глухом переулке, застроенном темными домишками.

Возле двухэтажного дома Аделаиды, покосившегося, как и все его

одноэтажные собратья, Жора снова увидел незнакомца, явно поджидавшего его.

— Извините, товарищ Квасов. — Незнакомец приподнял кепку. — Чтобы избежать недоразумений, разрешите представиться. Я родственник Аделаиды... Двоюродный брат. Кузен, так сказать...

Жора остановился на дистанции кулачного удара, собрал свое тело, толком не понимая, чего ради этот кузен выбирает для первого знакомства столь неподходящее время и место.

Будто разгадав его мысли, незнакомец разъяснил:

— Моя фамилия Коржиков. Аделаида, к сожалению, узнала, куда вы пошли... Она была вне себя. Зайдя к ней и застав ее в таком состоянии, я вынужден был...

— Так. Вынуждены были шпионить за мной?

— Нет. Извините. Все получилось случайно.

Коржиков приблизился, и Квасов, наконец, рассмотрел его. Немолод, худ и, по всему видно, хитер, сволота! В нем обнаруживалось то, что больше всего ненавидел в людях прямой Жора Квасов, — неискренность, тонко покрашенная, подленькая, и неуважение к нему, Жоре, простому рабочему парню. Руки не подал, за кепочку. Какой же ты двоюродный брат, если брезгуешь родственничком? И, несмотря на свою проницательность, Жора на какие-то минуты подчинился этому типу.

Как это получилось, он и сам не мог понять. Коржиков повел его за собой по гнилому двору, в одном месте даже за руку поддержал, хотя хмель из головы Жоры давно выветрился и парень мог рассуждать вполне здраво.

Ключом открыв дверь, Коржиков пропустил Жору вперед и шепнул за его спиной дерзко и по-хозяйски:

— Если она заснула, рекомендую не будить.

В коридоре коммунальной квартиры сам черт впотьмах сломает ноги, но не Коржиков. Он на цыпочках, не дыша, ни разу не задев за сундуки, корыта и велосипеды, развешанные на стенах, провел Жору в комнату. Там на оттоманке, лицом к стене, накрывшись кофточкой, спала или притворялась спящей дражайшая супруга. В другой комнатке — «будуаре», как жеманно называла ее Аделаида, — Коржиков перевел дух. Легким нажатием он включил ночник-собачку.

Следующим движением пальцев он вытащил из брючного кармашка часы, хлопнул крышкой; в кулаке погас тусклый золотой зайчик.

— Вы спешите? — грубовато спросил Жора, расслабляя пояс.

— Представьте себе, вы угадали. Мне крайне необходимо выбраться от вас до рассвета. Не хотелось, чтобы в вашей квартире и на вашей улице

кто-нибудь увидел меня...

— Что, что? — Жора потер глаза.

Сумрачный туман, разлитый дурацкой фаянсовой собачкой с лохматыми ушами, мешал ему смотреть. В нем проснулась рабочая прозорливость.

— Вы что-то начинаете путать, гражданин Коржиков. Не знаю, брат вы или сват, вижу вас впервой, и я не любитель викторин... Документики, гражданин Коржиков! В Москве на вольном положении можно жить двадцать четыре часа, а потом пожалуйста документики на прописку. Ну?..

Решительный тон Квасова и угрожающе протянутая рука не произвели никакого впечатления на этого, по-видимому, тертого калача. Язвительная улыбка, полуобнажившая зубы, тронула его тонкие губы. Он не сделал ни одного движения, не удивился, не возмутился. Это каменное спокойствие было странно видеть в таком хилом существе — ведь о колено его можно переломить, плюгавого.

— У меня постоянная столичная прописка. Я москвич.

— Москвич? А почему раньше я вас здесь не видел?

— Москва велика, Георгий Иванович, и не всегда найдешь время на родственные визиты... Вы меня извините, конечно. Пожалуйста, вот вид на жительство. — Какая-то бумага появилась в его руках. — Все же мне кажется, что наши родственные взаимоотношения приобретают далеко не лучший характер. А ведь нам нужно смотреть в будущее...

Не совсем внятно, но солидно. Квасов великодушно отклонил протянутую ему бумагу. Ведь не с улицы же пустила его Аделаида. Сама путаная, и родичи ей под стать. Сколько еще странных личностей путаются под ногами, верещат, толкаются локтями! Жора однажды заглянул через стекло в кафе «Националь» — танцуют в обнимку, пируют за столиками, рюмки высокие, скатерти белоснежные, салфетки конусом.

С показным безразличием Жора устроился поудобнее в низком кресле, жалко застонавшем под ним, и вытянул ноги. Он успокоился. Нельзя ставить себя в глупое положение перед всяким бобиком. Однако натянутость не исчезла. Настораживали вкрадчивые и в то же время властные манеры «кузена».

Коржиков отцепил часы, положил перед собой (деловитый, подлец! Не иначе, грызет бумажки в каком-нибудь тресте!) и уставился на Квасова пронзительными глазами.

«Откуда столько гонора в таком плевом человечке? Гипнотизируй, хрен с тобой, кузен! Сейчас постелю кровать, стащу сапоги, кулаком по подушке — и задам храпака!»

Действительно, одолевала усталость. После напряженной смены, когда пришлось, как никогда, ловчить во имя рабочего братства, — рядовое собрание, и на нем персональный вопрос о Жоре, как кирпичом по башке.

Воспоминание об этой общественной казни, слегка приглушенной свиданием с Марфинькой, мучило, как неослабная зубная боль. Лукавый бес Коржиков, торчавший перед ним, не рассыпался, не расплывался подобно ядовитому туману, его не вытягивало в форточку. Некто Коржиков был физически ощутим, и глухой страх постепенно овладевал Квасовым. Тайное предчувствие беды угнетало и расслабляло его.

Часы громко тикали. Молчанка и взаимное, исподтишка, изучение друг друга тяготили Жору. Его широкая натура не принимала никакого двурушничества.

В коридоре зашмурыгали шлепанцы. За полгода совместного житья Жора превосходно изучил все повадки и привычки жильцов и угадывал каждого. Шмурыгает жилец из четвертой комнаты, глухой старик, промышляющий набивкой гильз. Он продает штучные самодельные папироски на улице Баррикад, на шумном стыке. Здесь люди текут по бульжной теснине Красной Пресни, толпятся у входа в Зоопарк и кинотеатр и поднимаются по крутому подъему на площадь с фонтаном — крылатым мальчиком.

«О чем же ты думаешь, мой новоявленный братец?» — подбадривал себя Квасов.

Жена по-прежнему не подавала никаких признаков жизни. Через полуоткрытую дверь не доносилось даже ее дыхания, хотя в квартире было тихо до звона в ушах.

Что же думал Коржиков? Предварительные сведения о Квасове, как о забулдыге и о к о н ч а т е л ь н о разложившемся существе, не подтверждались. В этом опытный Коржиков уже смог убедиться. Такие люди не чета инфантильным интеллигентам, мгновенно размякающим, как только почувствуют опасность. С такими, как Квасов, нужно держаться до крайности осторожно и поменять тактику. Им все нипочем. На таких субъектов с нетронутой, до отвращения здоровой психикой не действуют ни хитрые словесные ловушки, ни психологические тонкости.

Проникнуть за железные ворота завода не так-то просто... Неужели столь тщательно высмотренный Квасов подведет и придется искать другого? Коржиков спрятал часы, наклонился и деликатно прикоснулся к его плечу.

— Вы хороший парень, Жора. Аделаида, как и все женщины, — раба собственных эмоций. Она недооценила вас. Признаться, я тоже думал: «Вот

наделил меня господь родственником!..» А вы чудесный, Жора...

Жора презирал красивенькие словесные кружева, которыми люди пытаются прикрыть свои гадкие замыслы. Слово «эмоции» больней всего кольнуло его. Коржиков сопровождал его смешком и каким-то противным прихмыкиванием.

— Почему же я пришелся вам по вкусу? — Квасов снова взял себя в руки. — Вы же меня не знаете. А супруга, как видно, наболтала обо мне всякой дряни...

— Вы пленили меня внешностью, Жора. Импозантностью! (Ишь завернул, подлый прыщ!) Ведь вы созданы для скульптуры. Вас лепить надо! Вами любоваться надо! Вы самородок... — Коржиков открыл в улыбке подозрительно ровные зубы. (Видать, вставил, собачий глаз!) — Ну, сходили к своей прежней зазнобушке. Кто из нас без греха? Сразу связь не порвешь... Это требует времени и ловкости. — Фарфоровая улыбка по-прежнему играла на губах Коржикова, а голос его помягчел. — Ваше дело, Жора, интимное...

«Что ему нужно? — окончательно сбитый с толку, соображал Квасов. — А может, он просто чокнутый? Пока, вижу, производит разметку по чертежу, а вот как сверлить начнет?..»

Вероятно, и в самом деле у Коржикова было мало времени. Часы тикали теперь в его кармане. Придвинувшись вместе со стулом к Жоре, Коржиков внезапно перешел к новой тактике — внезапному нападению. Квасов оторопел. Незнакомец, назвавшийся родственником Аделаиды, без всяких обиняков потребовал от него сведений о новом производстве, о чем было приказано держать язык за зубами.

Как угодно можно было расценивать поведение Квасова на производстве этих новых приборов, умных, точных и загадочных. Но каждым таким прибором гордился Жора и перед собой и на людях, несмотря на все свое ёрничество.

Ему нет жизни без завода. Хлеб его предки не косили, сено не ворошили, работали тут, на заводе. И это «тут-тут» стучало в возмущенном сердце Квасова, пока Коржиков, уже не таясь, в открытую, с наглым цинизмом ставил условия, определял размер оплаты, спешил...

Впервые Квасов понял все значение выдержки, так возмущавшей его в Николае. Тот редко вспылит, не поддастся случайным настроениям, сначала продумает, сцепит челюсти, уйдет, а потом принесет такое литое решение — ахнешь! Выдержка-то, выходит, — святое дело. Дал бы этому хлюсту сразу — и амба! Умылся бы хлюст своей жидкой кровью, утерся бы носовым платочком. Не зря предупреждали Квасова о бдительности.

Действительно, Советский Союз — социалистическая крепость, а они, рабочий класс, — его верный гарнизон. Ишь ты, прав секретарь партячейки: ему, фронтовику, принадлежат эти слова о крепости и гарнизоне. Чего же над ним подсмеивались? Вот тебе и Ваня Ожигалов!

Хозяин, изгнанный революцией, вставал из-за спины Коржикова. Вот в каком виде объявился вымазанный мазутом и обвалянный в перьях буржуй! На фронте не вышло, тут выйдет! Выкатили его в тачке, а он завопил с броненосцев Антанты. Оттуда не удалось, подговорил вот эту суку со стеклянными зубами. Выкаблучивается! Торжествует! Купил Квасова, теперь остается только завернуть. Что? Бумажку вынимает из кармана? Заранее заготовленную? Только подписать? И ручку из кармана вынул. Ни разу не видел такой ручки, надо повертеть: тоже, может, научимся делать. Держит, бестия, наготове и чернильницу и перо!..

Бумажка подлая. Буквы прыгают, будто дробь по тарелке. Заранее вписана фамилия — Квасов. «До чего же мудрые!..»

Бумажка жгла пальцы. Страшная мысль всверлилась в мозг: как же, в самом деле, представляется постороннему зрителю квалифицированный рабочий Георгий Квасов, если к нему запросто, как к пивному киоску, подходят вот такие субъекты? Порядочной, должно быть, сволочью выглядит он со стороны. Именно к нему ввалился ночью Коржиков. Небось к Николаю не осмелился бы. За три версты обошел бы. А к нему запросто: налей кружку пивка, браток! Подписку сует? Часами хлопает. Сразу вlepить ему в морду?.. Или сразу нельзя? Коля, друг, помоги! Держусь за тебя, Колька!..

«Как же я опростоволосился! Нес кувшин и так легко разбил. Теперь не склеишь, черепки разлетелись в разные стороны».

— Просите-то вы, Коржиков, о сущих пустяках, а платите слишком роскошно, — голосом, перехваченным от гнева, проговорил Жора. — Плохо что-то отхронометрировали сдельщину..

— Считаете, что мало? Мы не постоим за ценой. Есть люди, товарищ Квасов, которые понимают душу русского рабочего. Сочувствуют ему...

— И социализму? — Жора с трудом выдавил это ярко засиявшее перед ним слово.

— Социализму правильный учет не вредит. Учет двигает социализм. Забота о рабочем — это и есть подлинный социализм. Работодатель неправильно понимает роль гегемона...

— То есть наше государство? — потребовал уточнения Жора, уясняя в ночном разговоре многое из того, мимо чего обычно проходил со скукой.

— Государство — фикция. — Коржиков охотно шел на разъяснения. —

Государство от имени Маркса присваивает бóльшую часть вашего труда. Та же беспощадная эксплуатация.

— Так... А я кто?

Коржиков рассмеялся очень противно:

— Вы Людовик ...надцатый, Жора.

— Кто?

— Французский император, возгласивший: «Государство — это я!» Вот и вас привенчали к Людовику. Императорами стали. Сами вершите дела, сами устанавливаете цену, сами получаете...

Коржиков бил по самому больному месту, по тем самым ранам, которые Жора Квасов нанес себе сам и которые растревлял Фомин. Нормы, расценки. Ему и во сне снились эти распроклятые штуки, ползли, будто одушевленные существа, с щупальцами, с клешнями и усиками.

Нормировщица Наташа, приятная, миленькая девушка, — все бы отдал за нее! — вооружаясь своим хронометрирующим инструментом и задачами, продиктованными ТНБ, превращалась во врага, злого, неугомонного, жестокого. Она могла совершенно спокойно лишить его гулянки в «Веревочке», цыганской песни в «Праге», облюбованного костюма. Расчет ведешь так, а она повернет иначе. Снова приспособляйся, затрачивай силы, волюнь и «темни»! Недаром Наташка чуть не получила от него «награду»... Зато Наташка стала женой Николая, лишила друга, натравила на него же, «отсталого», «вожака пережитков». И еще как!..

Выходит, нормы и расценки и есть капкан. Сюда пожаловал охотничек до шкуры Жоры Квасова. Людовик ...надцатый? Мало того, что покупают, еще и обзывают как хотят.

— Людовик ...надцатый, — бормотнул Жора, приподнимаясь в низком креслице, от которого пахло пудрой, помадами и чем-то кислым, вроде овечьей шерсти. — А вот меня учат, обещают квартиру, красноармейцев на границе держат, чтобы я спокоен был, в Крым меня посылали, за обед копейки берут, по болезни страхуют! Как Людовика ...надцатого, а?

Жора говорил тихо, с придыханием, пытаясь себя сдерживать. Это плохо удавалось ему, и Коржиков забеспокоился: не следовало бы открывать эту ненужную дискуссию, проще, проще...

С опаской глянув на чугунные кулаки Жоры, Коржиков принялся петлять и обочиной добираться до цели.

— Я обратился к вам не случайно. Как к сознательному рабочему. Адель ценит ваше разумное отношение к советской действительности. Строй ваших мыслей логичен и благороден...

Стыдно, до тошноты стыдно Жоре Квасову! Слова. Коржикова словно били его по темени.

Да, конечно, что отрицать, — бахвалился, куролесил, болтал, кому-то грозил. Отказался от девчонки, поверившей ему, и окрутился с разведенной дамочкой... Колька ляпнул однажды после разговора о Марфиньке: «Привыкнешь обманывать любовь — и Родину обманешь». Сыграл Колька в благородство, из книжечки лозунг вычитал — ан, оказалось, попал в самое яблочко.

Ладно, случалось, куролесил Жора Квасов. Так неужто этим самым откромсал себя от рабочего класса, и всякий обормот может называть его... ..н а д ц а т ы м? Кому принадлежат сведения, которые надеются получить с него под расписку? Ему, Жоре Квасову? А не всему ли государству, в том числе не его ли товарищам по заводу за коваными воротами?

Квасов будто очнулся от глубокого сна. Ни один учебник политграмоты (их он пренебрежительно отбрасывал) не мог объяснить многое из того, что вдруг открылось ему в ночной беседе с «двоюродным братцем» благоверной супруги.

— Документики, товарищ... Коржиков!

Бумага Коржикова смята в кулаке Жоры. Правая рука потянулась за другими.

— Какие документики, товарищ Квасов? А ту бумажку не мните. Она доверительная...

— Доверительная?.. — угрожающе переспросил Жора. — Во-первых, я тебе не товарищ... А во-вторых, если мигом не подтвердишь свою личность советским документом или вздумаешь удрать... — голос Жоры поднялся, окреп, — я тебя так хвачу по виску, что ты... ты!..

В дверях появилась Аделаида с предостерегающе поднятыми руками.

— Тише, Жорж! Соседи...

Прижатый к стене могучим телом Квасова Коржиков взмолился:

— Адель, да что же это такое?!

Квасов обернулся, в его глазах помутнело. Она, она была заодно с этим жалким червяком! Сомнений не оставалось. Слишком красноречив был ее взгляд, ее угроза, презрение. Куда делась ее привлекательность, ее женское обаяние?

Только сейчас Жора увидел Аделаиду такой, какой она была, когда не притворялась. Коржиков, вынырнувший из-под его локтя, уже не занимал Жору; перед ним как бы раскрылась страница книги с неожиданной и скверной концовкой.

Коржиков что-то шептал у самого уха Аделаиды. Она была с ним. Не с

Квасовым, которому лживо клялась в любви и благодарила за «неземное счастье». И что еще кошмарней, она была и не с Коржиковым, а с какой-то гнусной третьей силой, следившей за Квасовым и выжидавшей момента схватить его сзади за локти, связать и подчинить своей воле. Кровь прилила к голове Жоры, сердце застучало быстрее. Закусив губу, прижмурившись, чтобы вернее нацелиться, он ринулся вперед и с огромной силой нанес удар Коржикову. Тот исчез, сгинул, может быть, сломался.

Кулак Жоры онемел, мышцы расслабли.

Аделаида бросилась к Коржикову, вскрикнула, стараясь приглушить голос (не услышали бы соседи!). И тогда желание вышвырнуть мерзавца за порог овладело Жорой. «Двоюродный брат» сразу почувствовал новую опасность и ринулся к двери.

Глухой старик папиросник, выползший, наконец, из своей берлоги с кипой старых журналов под мышкой, был свидетелем этой картины. На следующий день он мог бы поклясться на Евангелии, что из квартиры вынеслись с быстротой молнии два разъяренных дьявола, лишенных плоти. Так они были бесшумны и быстры. Перекрестившись, старик предпочел скрыться в своем надежном убежище и дожидаться утра, чтобы рассказать о ночном происшествии компании падких до подобных лакомств ветхозаветных шептунов — квартирантов.

Квасов вернулся в комнату, зажимая руку повыше локтя. Пиджак был вспорот ножом, темное пятно крови расползлось по ткани и окрасило пальцы. Аделаида с приглушенным криком бросилась к нему. Жора оттолкнул ее, не дав к себе прикоснуться.

— Гадина! Какая ты гадина!..

Она пыталась оправдываться, жалко бормотала что-то, не жалея ни слез, ни всхлипываний. Ей и в самом деле было тяжело. Ночью опасность казалась грозной, воображение Аделаиды распалялось. Гнев сожителя, казалось, не имел границ. Только подумать: драка, рана, кровь!..

— Успокойся, Жора. Ты его не понял...

— Уйди!.. — Жора снял пиджак, осмотрел рану. «Чепуховина, даже пырнуть как следует не сумел, слизняк!»

— Разреши мне перевязать, Жора! Позволь мне...

— Уйди... Ненавижу!.. — бормотал Квасов, обматывая руку бинтом.

— Жорж, пойми меня. Ведь я буду матерью твоего ребенка...

— Все врешь... Все!.. И насчет ребенка брешешь. Не будет у тебя ребенка.

Он высвободился от нее, как от паутины, брезгливо, с каменным лицом. Движения его были уверены, как у человека, полностью

определившего все свои дальнейшие поступки.

Доносить в милицию, рассказывать, заполнять бланки, отвечать на ушлые вопросы?.. Нет! Через сутки начнется такой трезвон, хоть уши затыкай! Пойди объясни им всю историю. Другому бы поверили, но не ему, Квасову. Подкуют, а потом доказывай, что ты заяц, а не верблюд! И так недобрая слава тянется за ним, как едкая гарь.

Квасов ушел из дому, повинуюсь только одному чувству: гадливости. Не мог он оставаться под одной крышей с подленькой тварью, так легко надсмевшейся над ним. Ей ничего это не стоило. Такие они все, негодяйки в шляпках, с тонкими пальчиками и розовыми ноготками. Звери... звери!..

Машинально он добрел до домика Марфиньки. Из зоопарка опять доносился ему вслед крик птиц, и тускнели на углу прозрачные стойки аптеки. Рану жгло. А может быть, только казалось от мнительности. Двухзначная цифра, плёвенькая лампочка номерного фонаря, длинный список жильцов на черной железке. Марфуша. Хорошая ты, правильная, неудачница! Повернуться и уйти? Что он может дать ей, кроме горя? Не срамиться же перед ней! А куда идти? Николай, конечно, поймет. Но добираться до него ой как далеко!.. Транспорта нет. На своих на двоих будешь топтать часа два, а это только до Петровского парка, а там?..

Марфинька! Во всем мире только она одна сможет понять, не осудит, не закидает вопросами. Примет его таким, каков он есть, хоть с рогами до крыши. Верит ему... И такое счастье по оглашенной дурости он сам отверг! Та, А д е л ь, — длинные пальцы, холеная рука, а задушит, как воробья, — и не пикнешь.

Твердыми шагами Жора прошел через двор, поднялся по лесенке и постучал тихо. Услышав ответный шепот Марфиньки, прильнул к двери спиной. Во всем теле, даже на сердце, был у него удивительный покой. Шорох за дверью, легкие шаги... Чем он оплатит ей, Марфиньке, сверловщице с «Рабомы»? Есть ли такие сокровища в мире?

Через минуту Жора держал почти на весу ее теплое со сна тело, словно свалившееся ему на руки из коридорной аспидной теми.

— Вернулся, вернулся!.. — шептала Марфинька. — Проходи, проходи...

Здесь, только здесь он найдет опору, соберется с силами и сумеет шагнуть дальше, пойдет уверенно, не отступаясь. Она не даст, деревенская девочка Марфинька!

Она открыла дверь в свою комнатку.

Жора нагнулся и во второй раз за эти несчастные сутки прикоснулся губами к шершавой руке Марфиньки.

Она не отдернула руки, не удивилась — вероятно, так было нужно ему.
А что он, то и она...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Никуда не тянуло Квасова после завершающего воя сирены. Только к Ожигалову. Где беспартийный может получить ясный совет и встретить понимание? В партийной ячейке.

Туда изредка поманивало Квасова. Он был любопытен к людям и всегда ждал от них чего-нибудь необычного. Секретарем же был интересный человек. В библиотеке записывались на очередь за его книжкой «На фронт и на фронте». Книжку эту Квасов не читал. Ваня Ожигалов не чурался рабочей братии, любопытно рассказывал о гражданской войне и еще более красиво — про нынешнюю бескровную войну с мировым капитализмом, войну за экономическую независимость. По его словам, их завод при наличии хороших ребят мог сыграть не меньшую роль в этом сражении, чем конница Буденного под Касторной или полки Фрунзе на Сиваше. Красивые картины рисовал Ожигалов перед своими собеседниками — заслушаешься! А на собраниях говорил плохо, нудно, часто сбивался, глядел в бумажку и невыносимо страдал в подобных случаях.

Ожигалов только что отпустил начальника снабжения Стебловского. Когда Жора постучался в филенку, секретарь еще не остыл от забот — получался прорыв с материалами, необходимыми для важных серийных заказов.

Но не только черный прокат и цветные металлы волновали Ожигалова. Только сейчас, почти документально, Стебловский изложил пункт за пунктом историю окончательного падения Фомина. Стебловскому бюро поручило выяснить, есть ли доказательства взятки, и начальник снабжения добыл неопровержимые улики. Действительно, реглан был вручен Фомину дарственно, точно так же, к слову говоря, как сам Стебловский одаривал папиросами, водчонкой и небольшими подачками тех или иных д а т е л е й дефицитных материалов, даже по плановым нарядам добываемым с превеликим трудом.

Положение с Фоминым осложнялось еще и потому, что он был членом бюро, коммунистом с большим стажем, не говоря уже о боевом ордене и ветеранстве. Наказывать Фомина придется со всей строгостью — возможно, вплоть до исключения из партии. А дальше, что будет дальше, даже для самого Ожигалова было полной неизвестностью. Надо знать

самоуверенного. Фомина, чтобы предвидеть неизбежность серьезных последствий. Ломакин в пылу откровенности поделился с Серокрылом о своих подозрениях. Бывший комбриг с яростью встретил эту новость. «Если вы ничего не докажете, хлопцы, и зря черните Дмитрия — берегитесь!.. — почти пригрозил Серокрыл. — А если факт подтвердится, то отдайте мне его, подлеца, я сам побеспокоюсь о его драгоценном здоровье...»

В момент этого острого разговора и вошел Квасов к секретарю партячейки. Ожигалов нашел в себе силу, чтобы не наброситься сразу на соучастника Фомина.

— Садись, цыган. — Ожигалов указал на сундук для хранения документов.

Ожигалов сидел за столом в затасканной кепке и просторной суконной рубаше морского покроя. Папироска с разжеванным мундштуком перекатывалась из одного угла рта в другой, виски не подстрижены, борода не побрита.

«Свой в досочку, Ваня, — подумал Квасов. — Такой же, как и мы, грешные, забулдыги. На руках наколки. Глаза хитрющие. Все понимает, ожги его душу!»

— Говори, Жора.

— А может, не буду?

— Врешь, будешь! Иначе бы тебя сюда на буксирном тросе не затащить...

— Ты, видать, все знаешь?

— Знаю.

— Откуда? Инструкции читаешь?

— Редко. Просматриваю. — Ожигалов прихлопнул его по коленке. — Там тоже попадают интересные штуки.

— Интересные? Для кого?

— Для меня... Да и для таких, как ты, гавриков.

— Гавриков? — Жора кисло улыбнулся. — Если меня послали на стружку, так я уже и гаврик, по-твоему?

— В инструкции о тебе ни слова, Жора.

— Не достоин?

— Вероятно. — Ожигалов подсунул ему мятую-премятую пачку папирос. — Куришь такие? Или только «Бальные»?

Квасов принялся разглядывать папироску, тонкую, как гвоздик; и со стороны могло показаться, что его, случайного посетителя, больше всего интересуется, какими папиросами разрушает свои легкие секретарь ячейки.

— Ну, рассказывай. — Ожигалов добродушно взгляделся в Квасова. — Где поцарапали?

— Поцарапали? — Жора машинально пощупал руку повыше локтя, почувствовал легкую боль в забинтованной ране и поразился наблюдательности партийного секретаря. — Ты будто рентген, Ваня...

— Какой тут рентген? На, погляди! — Ожигалов вытащил из заднего брючного кармана зеркальце в форме ромба, протер его о рукав.

«Черт возьми! Действительно...» Жора заметил на своей щеке царапины. На них даже Марфинька не обратила внимания, а этот желтоглазый крючок сразу зацепил и занес в дефектную ведомость.

При солнечном свете, падавшем пучками через окно, выходившее на неоштукатуренную стену нового корпуса, события нынешней ночи представлялись сном. И значение их сейчас, при солнечном свете, не казалось уже таким опасным.

Пока все царапины души и тела принадлежали ему, и только ему одному. А раз так, то можно по-прежнему распоряжаться собой, как хочешь, и принимать меры по собственному усмотрению. Дай же всему огласку — зашевелиятся, будто тараканы, бросятся, как на сахарный песок, и не найти тогда против них никакой самозащиты.

С женушкой и с ее «кузеном» можно не спеша справиться, а вот с такими, как Ваня Ожигалов, только свяжись... Для них нет ничего тайного, все немедленно вытащут на трибуну, в стенновки...

— Опять неурядицы с сожительницей? — Глаза секретаря утерли доброту. Цвет их изменился.

Ожигалов отодвинул ногой стул, встал, короткий, широкий, как палаш, ссутулился и сжал кулаки — рабочие кулаки, ничего не скажешь. Не всегда учил уму-разуму других и не всю жизнь воевал, когда-то и «вкалывал» в цехе.

— Какая ты отвратительная личность, Квасов, — надсадно выдавил Ожигалов.

— Что? — Квасов медленно приподнялся. — Как ты смеешь?...

— Смею!

— Ты со своими так разговаривай! С теми, с кого взносы получаешь. А я тебя не содержу. У меня другое начальство...

Ожигалов прищурился так, что глаза скрылись в припухлых веках и морщинах, и стегнул, как арапником:

— Партия — руководящая сила, Квасов. С и л а... Партия — цвет Отечества. А с тобой я от имени твоего честно умершего отца говорю. От имени рабочей матери, рано сгоревшей в непосильных трудах. Ты дрянной

человек, потому что пытался запакостить души твоих товарищей по заводу. Хотел столкнуть в ту же яму Николая. Но мы ему трап спустили в яму. Выбрался... Мы тебе нападение на Наташу простили. Она простила. А ты? Поганый ты, потому что тратишь себя понапрасну. Все тебе родители дали: физическую силу, красивое лицо, золотые руки. Не только хлеб жевать научили тебя. Ты в армию пошел профессиональным рабочим. Чудесные вещи ты мог делать своими руками, Жора! Но кто-то лишил тебя гордости.

— На гордость не знаю расценок, — пробормотал Квасов, в котором снова проснулся гонор.

— Расценки на все ищешь? Знаешь, видел я в музее деревянную дверь, на которой искусно были вырезаны всякие сюжеты. Мне сказали: мастер трудился над нею сорок лет и получил за это от барина пять гривен... Барина мы того не знаем, а мастера запомнили. Имя его занесено в историю наряду с фельдмаршалами и царями. Что нес в своем сердце тот мастер, русский простолюдин? Бога нес в своем сердце мастер! Не того, с иконы, с бородой клином, с хилыми ручками, а бога творчества, могучую силу народа. На удивление всем совершил мастер свое чудо. Не думал о пяти гривнах, Георгий Квасов, этот русский человек. И ты должен быть горд! Тебе, как и миллионам рабочих, поручили сразиться в бою с капитализмом. Мы обязаны развить бешеную энергию и сделать с в о и точные приборы, без них нет индустрии. Если бы мы не сделали с а м и приборов, которые испытывают металл на удар, на разрыв, на упругость, мы не смогли бы строить машин. Разве я должен объяснять тебе это, Квасов? Но нам нужно, чтобы наши самолеты чувствовали себя в воздухе, как в родной стихии, чтобы наши корабли хорошо управлялись, чтобы наши пушки безупречно стреляли. Где же твоя гордость? Что же, ты хочешь, чтобы мы всегда расплачивались с капиталистами за приборы нашими ценностями — вроде той самой резной двери, о которой я тебе говорил? Да, мы платим им нашими ценностями, а они хохочут над нами и надеются, что мы обанкротимся. Мы им бриллианты отдаем, которые гранили наши предки. Они предлагали купить у нас шапку Мономаха. Слышал про такой царский головной убор? Исаакиевский собор не прочь разъять на части и увезти из Ленинграда на своих кораблях. А Жора Квасов бузит, требует легких денег на шашлык, на «Веревочку». Капиталистов ты и в глаза никогда не видел, к тебе они в квартиру не приходили (Жора вздрогнул), а ты с ними вроде заодно. Потому что ты постепенно превращаешься в... протоплазму.

Квасов с содроганием слушал этого взбалмошного человека в неизменной кепке и заношенной рубашке. Что для него «мелочи жизни»!

Ему наплевать на то, что Жору Квасова унизили на цеховом собрании.

Ну, перевели на стружку — и перевели! Утвердит директор — и придется ворочать вилами. Квасов — пылинка. Дунули — и улетела. Никто не остановится, не поглядит вслед: шут с ней, с пылинкой! Все шагают дальше. Что-де этому, стойкому человеку до Квасова? А ведь вместе жили, хлеб-соль делили, иногда и рюмочку. В калошах ходит к умывальнику, иногда сам веник берет, тряпку, ведро и моет полы... Может ли его понять баловень судьбы Жора Квасов? Цыганки и те готовы распластаться перед ним, величают его — струны гудят, гитары стонут: «Ты ушла, и твои плечики сгнули в ночную тьму...» Ничем таким не может похвалиться этот небритый человечек в кепке. А вот подкашивает его под корень и вскрикнуть не дает от боли. Давит, гнетет. Не сбросить. П р а в д а кипит в нем, как в паровом котле. Какая силища!.. Бросил на лопатки и топчется на тебе, а ты лежишь, как в парной в бане. Невмоготу, а чувство такое, что стало легче, выходит из тебя какая-то дурь.

И вдруг вцепилось, как клещ, это самое слово... как его?.. протоплазма.

Нет, не клещ. Что-то липкое, скользкое, бесцветное. Вроде медузы. Протоплазма... Выроет же, чертов сын, такое словечко! Хорош, значит, ты, Жорик, красавчик.

Квасова раздирали противоречивые чувства. Он и себе был гадок, и Ожигалов раздражал его. Раздражал потому, что, казалось Жоре, именно такие люди лишают его права на самостоятельную мысль, мешают жить собственным умом, все время водят его на поводу, а сами ходят на ходулях. Квасов не желал быть шурупом или шестеренкой пусть даже безукоризненно работающей машины. Опека раздражала. Хотелось идти наперекор, пусть из озорства, из-за нежелания быть одинаковым со всеми.

Что он там говорил еще? Шапка Мономаха, которую хотят увезти за океан буржуи? Тут уж ничего не скажешь: шапку отдавать нельзя. О ней Жора знал по школе, учитель истории умел пробуждать восхищение и уважение к далекой старине. Исаакиевский собор не так волновал. Мало ли изуродовали церквей в Москве, сшибли кресты и купола, устроили в них овощехранилища, склады «Центроспирта», а в церкви, где, слышал Жора, венчался Пушкин, открыли ремонт мотоциклов. Правда, это творили свои же руки, а теперь тянутся иностранцы со своими долларами. И вообще непорядок, если буржуи растащат наследие русского народа, как картошку с Тишинского рынка.

Ладно, может быть, Ваня Ожигалов и прав, есть и Жорина вина в том, что приходится отдавать иностранцам наши ценности. А вот о том, почему и зачем охотятся на Жору Квасова некие коржиковы, об этом сказать? Нет!

А может быть, то был не Коржиков с его подлыми предложениями, а всего-навсего какой-нибудь старый хахаль Аделаиды, разыгравший комедию, чтобы отвести его от своей любовницы? Поднимешь полк по тревоге, а врага нет. Одни насмешки и оскорбление личности.

Так и ушел Жора от Ожигалова, не сказав ему главного.

Встретился Николай, веселый и красивый. Поздоровался издали и, подхватив под руку выбежавшую Наташку, пошел с ней к трамвайной остановке.

Черт побери этого Кольку! И на заводе держится, как отделком заводской, устав знает назубок. Везет же обтекаемым людям! Заглянут в клеенчатую тетрадку с наставлениями, пошепчут про себя — и урок готов!

Рассуждая так, Квасов сдал в проходной табельный жетон и, предъявив пропуск вахтеру, ушлому службисту с наганом на животе, направился вверх по улочке, поднимавшейся к площади, где неутомимо звонили трамваи, катились машины и фаэтоны, похожие на скрипки.

Мимо него проехал в машине Парранский — развалился на заднем сиденье с сознанием хорошо выполненного долга. Парранский, как только выходил за ворота завода, сразу же начинал отдыхать: у него была способность выключать себя из заводских интересов вплоть до завтрашнего гудка.

«Живут же люди! — со злостью подумал Квасов, провожая глазами автомобиль. — Знает он в тысячу раз больше меня. Почему же к нему не шляется гражданин Коржиков?»

Куда идти? Домой? Нет. К Марфиньке? Жалость, ласка, восхищения. К Николаю с повинной? Вот это можно. Не выгонит и не станет лезть с нравоучениями. Только сначала необходимо поднять градус собственной души.

В пивнушке дымно до щипоты в глазах и душно, как в паровозной трубе. Запахи пива, кислой капусты и сосисок мешались с запахом рабочей одежды.

Толстые, будто отлитые в опоках, кружки ходили по рукам; к ним прикасались благоговейно и умело, насыпали соли на ободок и поцелуйно приникали губами к пенно-миражному счастью, к блаженству, доступному каждому, кто швырнет монетки на мокрый поднос.

Пиво развязывало языки даже молчаливым мастерам, державшимся особняком, чтобы никто не заподозрил их в панибратстве или темных сделках. Фомин потягивал жидкость, шевелил разрубленной в атаке губой и разговаривал не столько языком, сколько глазами с нынешним «королем»

литейки, усатым Гасловым. Казалось, они полностью отрешались от разноголосой компании своих соратников по производству, уже добрый час сидевших в этом подвальном храме полупьяных душевных излияний. Квасов знал, до чего несхожи эти два мастера по характеру и по отношению к жизни. Если один — огонь, то второй — вода. Никогда им не сговориться, выпей они хоть бочку жигулевского.

— Кружку пива и туда полтораста! — приказал Жора, облокотившись на стойку и не обращая никакого внимания на пышнобедрую шинкарку, которая при появлении Квасова облизнула свои яркие, не знающие помады губы.

— Может быть, не туда? — игриво спросила шинкарка.

— Туда... — повторил Жора, полузакрытыми глазами наблюдая за тем, чтобы его не обманули ни на одно деление градуированной мензурки. Знаем мы эти замашки толстой дуры! Жора ценит честность и ненавидит обман.

— Я вам прибавлю, Жора. Хотите?

— От нищих не принимаю. — Улыбка скользнула по его лицу и мгновенно превратилась в гримасу, внутри него вдруг все оборвалось: рядом, почти прикасаясь к нему, стоял Коржиков...

«Кузен» на виду у всей братии протягивал ему руку и щерил свои фарфоровые зубы. Никто не обращал внимания на этого незнакомца. Коржиков ничем не отличался от посетителей пивной. Молескиновая куртка, из кармашка торчит штангель, руки неотмытые, даже заусеницы у ногтей, дьявол его дери!

Он явно разыскивал его, Квасова, держа тот же нож за пазухой и те же подлые замыслы в голове.

Жора будто проглотил кусок льда, такой он почувствовал озноб.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Физиономия Коржикова с плоскими щеками казалась вырезанной из картона. Его глаза ехидно бегали, словно две змейки. Был он какой-то ненастоящий. Только дунь — и обратится в дым.

— Я так и рассчитывал, Георгий Иванович... — Глаза-змейки судорожно прищурились: вероятно, «кузен» пытался сдержать смех. — Если вы никому не пожаловались после первой нашей встречи, то, значит, провели день в добрых размышлениях... Разрешите вашу кружку?

Оборотень поворачивался. Видно было, как двигаются под курткой худые лопатки. Во рту, в глубине, блеснул золотой зуб, показались бледные десны.

— Это мой сообщник... — многозначительно бросил он шинкарке, пододвигая по мокрому прилавку стеклянные кружки. — Сообщник по пивному делу. У моего сообщника самый большой мочевого пузыря. Десять кружек ему нипочем...

— Что? — Квасов навалился на стойку локтями; весь он отяжелел. — Сообщник?..

— Мы ничего опасного для вас не потребуем. — Зуб блеснул, потухал, слова трещали, как морзянка. — Вы сделаете нам услугу, подпишете письмо, назовем его статейкой. Вернее, вы ее завизируете. Некто перестал нам верить, требует формальностей. Вы, как я убежден, недовольны навязанным России строем. Вы — русский рабочий, и вам хотелось бы такого строя, при котором вы почувствовали бы себя хозяином жизни...

— Какого строя?

— Не будем заранее предугадывать, Жора. Вам нравится жигулевское? Еще кружку, дамочка! Детали оформят без нас... Рассчитываю, что вы окончательно решились. На стружке приварок плохой. Вот первый гонорар.

Кажется, его рука нырнула к Жоре в карман? Коржиков смаковал пиво, опускал в него губы, вдыхал ноздрями бражные ароматы — словом, вел себя, как и полагается в пивной.

Водка ударила Жоре в голову.

На прощанье Коржиков уже не совал ему свою хлипкую руку. Подняв заново наполненную кружку, он сказал, как показалось ошеломленному Квасову, мертвым голосом: «Свяжитесь со Шрайбером...» — и исчез, рассосался в табачном дыму, будто его и не было. А может быть, и в самом

деле все померещилось? Квасов протер глаза и увидел шинкарку, перегнувшуюся к нему через стойку. Грудь ее при наклоне полуобнажилась, белый желобок между ними был потный, и в глубине его открылась красивая родинка.

— Жора, почему ваш товарищ так скоро ушел? Ему у нас не понравилось? И почему вы меня ни разу не пригласите куда-нибудь? У вас, говорят, такие интересные знакомые...

Не слушая ее, Квасов опустил руку в карман — под пальцами хрустнули плотные бумажки. Все произошло наяву...

Жора почувствовал, как вспотела спина. Колено его дрожало. Эту мерзкую дрожь никак не унять. Он хватил стакан водки и будто протрезвел. Гудение голосов в пивной, похожее на тугий гул басовой гитарной струны, распалось на отдельные пучки звуков, отчетливых до самых тонких модуляций.

Прежде всего: не обратил ли кто-нибудь внимания на Коржикова? Судя по всему, нет. Никто и не пытался присоединиться к тороватому Квасову, как это случалось раньше.

Шинкарка бросила в клетку конопляное семя. Канарейки жадно набросились на него.

Несколько студентов, зашедших промочить горло, завели спор о вреде политических дискуссий, размагничивающих массы. Потом они стали решать какую-то формулу, придуманную древним греческим математиком.

— Хотите, я вас угощу, Жора? — предлагала шинкарка, по-прежнему пытаясь заигрывать с ним. — Как ваше семейное счастье?

Квасов молча выпил еще стакан, кулаком вытер губы, расплатился и ушел.

В полной душевной растерянности шел он по улицам. За каждым окном горел огонь, везде в тесных комнатах и в квартирах жили люди.

Как он завидовал им!.. Все просто и честно. Тарелки, кастрюля с супом. Дети встречают: «Здравствуй, папочка!» Жена идет навстречу, вытирает о фартук мокрые руки, подставляет щеку. Что есть на столе или в шкафу, то и ладно. Выгадают на кино — тоже неплохо, маленькая радость. В получку жена приветит пол-литром — одно наслаждение! А если поругаются, то и то по-хорошему, без задних мыслей, без коржиковых...

Незаметно он очутился возле своего дома, постоял с минуту, нащупал папироску в кармане, сунул ее в рот и, не прикуривая, поднялся по лестнице. Только возле двери чиркнул спичкой, осветил: туда ли попал? Открыл дверь плоским ключом и тесным коридором пробрался к себе. Аделаида заканчивала прическу возле ярко освещенного зеркала. Кто-то из

знакомых сказал, что ей идет пучок, и поэтому она носила пучок. По-видимому, она куда-то собиралась. В ручное зеркало с длинной ручкой она осматривала затылок, лениво и томно поворачивая красивую голову.

— Посмотри, хорошо у меня получилось?

«Ах ты, отравка! — не отвечая ей, негодовал Квасов. — Ей все нипочем! Загнала меня в бутылку и кривляется перед двумя зеркалами».

— Жора, — сказала Аделаида, — я не понимаю твоего поведения...

— Моего? — Жора насторожился.

— Кузен обижен на тебя. Ты, оказывается, первый хотел ударить его ножом.

Квасов будто завяз в глубоком кресле, в этом омерзительном кресле, куда проваливаешься почти до полу, мгновенно превращаясь в глупого и беспомощного пижона.

Чтобы не заорать, а того хуже, не бросить в Аделаиду чем-нибудь тяжелым, нужно стиснуть зубы. К безрассудному Квасову пришла хитрость.

— Ты хотел бы встретиться с ним? — Аделаида не ждала ответа: все сработано чисто, и можно не беспокоиться. — Встретиться нужно, Жорочка. И если тебя не затруднит, попроси у Шрайбера пропуск в Инснаб. Там, говорят, появились потрясающие штучки.

— У Шрайбера? — переспросил Жора, еле шевеля губами.

— Ну да... Ты чем-то взволнован?

Он ответил с трудом:

— У меня нет денег. Я еще не получил зарплату.

— Да?.. — протянула она весело. — Разве? А аванс?

Такой беззастенчиво прямой намек? Деньги оттягивали карман. Краска бросилась Жоре в лицо. К счастью, Аделаида ушла, бесшумно проскользнув мимо него.

Самые сложные положения разрешаются порой внезапно. В сердце Квасова уже не оставалось места для сожалений или страха. Надо бежать, и как можно скорей! Каждую минуту может появиться Коржиков, пусть тогда пеняет на себя. Пусть потом разбираются легаша, потеют судьи и прокуроры...

В коридоре стукнуло. Возможно, дверь. Послышались шаги. Берегись, Коржиков!.. Предвкушая скорую расплату, Квасов напихал в немецкий чемодан свои вещички, которые подвернулись под руку, щелкнул латунными замочками и натянул на лоб кепку.

Шаги затихли возле двери.

Конечно, это Коржиков. Сводница ускользнула, а он прибыл для

дальнейших указаний. Ладно! Не на того напали! Вы еще не знаете Жорика Квасова!..

Макинтош на вешалке. Вряд ли стоит жертвовать таким макинтошем. Да и пригодится в случае драки. Жора со всей силой ударил ногой в дверь и выскочил в коридор. Послышался вялый крик, падение тела и грохот слетевшего с гвоздя корыта. Только бы не упустить момент! Враг изворотлив и коварен. Жора бросился на сшибленного дверью человека, навалился на него и принялся скручивать ему руки.

— Георгий Иванович, простите... умоляю богом... больше не буду...

Старческий голос, дрожащий от смертельного испуга, сразу отрезвил разъяренного Квасова. Его пальцы разжались. Мускулы мгновенно ослабли. Перед ним чуть ли не при последнем издыхании, по-тараканьи подняв все четыре конечности, лежал старикашка папиросник в кальсонах и халате, распаханном на тощей груди.

Квасов поднялся, провел ладонью по глазам, словно сгоняя одурь. Только на один миг свело судорогой его губы. Он перебросил макинтош на левую руку, взял чемодан и медленно, тяжелыми шагами вышел на лестничную площадку.

Постоял там, отдышался. Через окно, зарешеченное, как в тюрьме, с вышибленными стеклами, пахнуло уличным ветром. Черное небо открыло перед ним свои ювелирно отработанные сокровища. «Эх вы, звездочки!.. — ласково подумал Жора. — Что-то давненько вы мне не подмигивали...»

На улице нетрудно сойти за приезжего, мало ли честного пролетарско-крестьянского люда ныне валом валит в Белокаменную?

Прикинувшись простачком, Квасов легко покорила сердце таксомоторщика.

— Счетчик скинем, — сказал шофер, когда последние фонари остались позади и машина окунулась в первобытный мрак шоссе.

Проносились темные махровые деревья, овеивавшие запахом листвы. Квасов с благодарностью принял эту ласку забытой им в городской сутолоке природы.

Все острее воспринимал он события последних дней. Был Квасов себялюб, но обладал редкой способностью трезво себя оценивать. Ничто, даже отсылка на стружку, не может перекрыть кошмарного Коржикова. Его иудины деньги прожигают карман пиджака. Жора снова ощутил противный чесоточный зуд во всем теле. Утробный голос санитарной машины, обогнавшей их, заставил его вздрогнуть. Зловещие, красные, как у рыщущего хищника, фонарики не скоро потерялись в далеком темном пространстве.

Шофер, остролицый и остроносый, похожий на птицу, пустил машину быстрее на безлюдном шоссе. Мелькали черные стволы деревьев и белые стволы фонарей. Шофер принялся читать стихи, незнакомые Квасову:

Скажите,
 правда ль,
 что вы
 для себя
авто
 купили в Париже?
.....
Купил,
 и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
 дохл
 да тих,
на разных
 кобылах-выдрах.
Теперь
 забензинено
 шесть лошади́х
в моих
 четырех цилиндрах.

— Что это? — без интереса спросил Жора. — Шоферский гимн?
— Маяковский. Знаешь?
— Знать не знаю, а слышал. Выходит, у него была своя машина?
— Была!
— Свои разве есть машины? Разрешены?
— Кое-кому — да. Ему разрешили...
— А дальше как? — спросил Квасов. — Знаешь?
— А то не знаю! — Шофер засмеялся и, быстро обойдя конный обоз, продолжал читать в том же темпе:

Напрасно завистники злятся,

Но если
 объявят опасность
 и если
бой
 и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
 кобылиц подам
товарищу комиссару, —
чтоб мчаться
 навстречу
 жданым годам
в последнюю
 грозную свару.

Последние строчки вошли в мозг, словно разряды электрического тока.
И вдруг шофер спросил, полуобернувшись к Жоре:

— Будет война, пролетариат?
— Откуда знаешь? Может, я деревня?
— Запах не тот. Металлист?
— Металлист.
— Машины строишь?
— Иди ты!.. — Квасов во всем видел подвох. — Какое твое собачье дело?

— Не сердись. Будет война или нет?
— Будет!
Водитель даже притормозил.
— Почему так решил?
— Если вот такими останемся... будет! — Квасов выругался, не пощадив и самого себя. — Куда ты? Заверни возле дворца. Влево, потом прямо.

Обостренная подозрительность заставила Квасова остановить машину не возле общежития, а не доезжая его, напротив деревянного продмага с тускло освещенными витринами, украшенными пыльным фанерным окороком и фальшивой колбасой.

Щедрые чаевые заставили встrepенуться лирически настроенного водителя.

— Разрешите, помогу?

— Сам донесу. Езжай!

Квасов не тронулся с места, пока шофер разворачивался, подавал назад и почему-то медлил. Кто-то уверял: каждый таксомоторщик — агент. Нелепые рассказы ожили в Квасове. Конечно, дома иностранных специалистов не могут оставаться без присмотра. Шрайбер и Коржиков — все слилось в мутном сознании Жоры, раздвоилось, как в неверном фокусе фотоаппарата...

Кирпичные столбы отбрасывали на неровный тротуар тяжелые тени. Четыре липы под фасадными окнами глухо переговаривались своими верхушками. В палисаднике, несмотря на поздний час, еще возились дети. Жора узнал ожигаловских и немецких детей. Немецких было трое, таких же неугомонных и крикливых, как и русские их товарищи по играм и проказам. «Вот эти уже не должны воевать между собой», — подумал Жора, лаская бросившихся к нему детей и тщетно выискивая в своих карманах какую-нибудь завалявшуюся конфетку.

Конфетки не было, а раньше ведь он никогда не забывал святого правила — одаривать детишек лакомством. Пришлось позволить им проехаться по своей спине, скатиться, как с горки, строго соблюдая очередь. Поиграв с детишками, Жора прошел в свое бывшее холостяцкое жилище, с которым были связаны самые лучшие воспоминания. Квасову казалось, что Коржиков отшвырнул его куда-то далеко назад, как сазана, выхваченного крючком из воды и брошенного на горячий песок; только жабрами хлопал — и о наживке забыл...

Чемодан и макинтош не произвели никакого впечатления на Саула, зудевшего, как шмель, над какими-то брошюрами.

— Неудача? Снова возврат в родные пенаты? — просто спросил Саул и шутливо козырнул: — Поздравляю!

— Поздравляешь с неудачей? — Жора хмуро опустил на койку и удивился: — Новая койка? Пикейное одеяло? Ишь вы!

— Твоя неудача — признак протрезвления мысли, — сказал Саул.

— Из этой серой падалицы выудил? — Квасов ткнул в брошюры, от одного внешнего вида которых веяло скукой.

— А ты незрелый плод? Не падаешь? Безобидный вопрос, заданный в обычной для них полемической форме, заставил Квасова вздрогнуть.

— Иди ты, Саул!.. Можно мне к вам на привал?

— Не прогоним. Только на кухню не заглядывайся. Целиком и полностью передана Настеньке.

Проходя по улице, он заметил, что у Шрайбера горел свет. А может быть, там оборотень? Сидит в уголке, подхихикивает, приготовил «вечное

перышко».

— У Насти родился, — сообщил Саул. — Мы окружили ее товарищеским вниманием. Если заметил — койки новые.

Саул отбросил обеими руками густые волосы со лба и, прищурившись, улыбнулся. Его вибрирующий на низких нотах голос был спокоен. Перед такими, как Саул, открыты все горизонты.

— О чем ты думаешь, Саул? — спросил Жора.

— О главном спрашиваешь? Так, что ли?

— Такие, как ты, всегда думают только о главном.

— Скажу... — Саул опустил плечи, и глаза его стали строгими. — Я думаю о немецком фашизме. Германии плохо.

— Кому?

— Германии плохо, — думая свое, ответил Саул.

— Бьют евреев?

Саул вскинул глаза. Вокруг его резко очерченных губ обозначились складки.

— С евреев начинали. А потом... Евреи — пристрелочная цель для удара по демократии. Погром цивилизации начинается с погрома евреев... Ты знаешь Мартина. Это полностью неандертальский человек. Вчера он наговорил мне гадостей. Лишь потому, что я — еврей Саул.

— Мартин? На тебя, нашего хлопца? — Жора накалился. — Заявился, гад, к нам, в Россию, и...

Саул горько улыбнулся.

— Вероятно, он считает меня недостойным России.

— Я ему печень вырву!.. — погрозился Жора. Он ценил и уважал Саула со всей искренностью своей широкой натуры.

— Нельзя. — Саул благодарно притронулся к его руке. — Пока они передают нам свой опыт, свои знания, их волей-неволей приходится терпеть.

— Терпеть таких?!

— Представь себе, надо их терпеть. Александр Невский, являясь на поклон к татарскому хану, прыгал через костры. А потом? Махнул направо, махнул налево — и покатился хан под откос! Иногда приходится и нам прыгать через костры.

— Ты прыгай, а я не стану!

Квасов встал. Он был исполнен решимости. Мартин возник перед его глазами во всем своем отвратительном естестве, и Жора не находил для него снисхождения. Шрайбер — тот манил своей загадочностью, и смутное чувство возможной ошибки раздваивало Жору. Не мог он примириться с

тем, что Шрайбер предатель. Это никак не укладывалось в его сознании. Он выбежал из комнаты. Квасов слышал, как стучит его сердце. И виной тому не крутая лестница, по которой он взлетел одним духом.

На площадке остановился, прислонился к перилам. К Майерам сначала или к Шрайберу? Надо подумать. У Майеров его ждали харч и внимание, у Шрайбера — неизвестность. Выбор был сделан. Квасов толкнул дверь в квартиру Шрайбера и сразу увидел его в самой мирной позе, за пальцами. На фоне золотисто-голубоватого неба цвел вереск в долине. Купами стояли низкие хвойные деревья, похожие на тую. Домик под черепицей. Тропа к реке.

— Шора, это-не вышивка, это мои стихи. Долина Люнебурга. За пальцами я, как Гейне! Это Эльба! Мой фатерланд.

Растроганный Шрайбер никак не похож на предателя. Может ли тайный враг носить такие невоинственные подтяжки, пришлепывать губами в расстройстве чувств и утирать слезинки, проступающие в уголках его добрых глаз, всегда красных от огня газовой горелки!

Неужели вот такие обыватели режут евреев, бьют в барабаны, топчут мостовые коваными сапожищами и упиваются кровью коммунистов?

— Жить (он выговаривал: «ш и т ь») далеко от родин тяшело, Шора. Когда помнишь о ней, сердцу не так тяшело...

Шрайбер рукой притронулся к груди. Кто-то говорил, что у него больное сердце, кажется — завмедпунктом, словоохотливая и добрая врачиха Розалия Самойловна, недавно добившаяся открытия однодневного профилактория для рабочих.

Если верить слухам, Шрайбер, так же как и Майер, — коммунист. Возможно ли, чтобы Шрайбер был заодно с коржиковыми?

— Вы можете одолжить мне свой пропуск, Шрайбер? Купить кое-что нужно.

— Возьми, Шора. Меня спрашивают: «Шрайбер, почему имеешь много пустых талонов?» А зачем мне вещи? Нитки прислали из дойчланд, мыло — тоже дойчланд. — Он показал куски фигурного мыла, такие же цветастые, как вышивальные нитки. — Рубашка крахмал сам работал. Тру немношка картошка...

На столе в чашках из белой обожженной глины появился кофе, приготовленный на спиртовке самим хозяином. Запахи кофе и табака так шли к этому незатейливому старикану в подтяжках, с вислым брюшком, которого он совсем не стеснялся.

Жора спрятал пропуск в карман, но «драгоценной жenuшке» не видать его как собственных ушей. «Куплю-ка я чего-нибудь Кольке на новоселье

или Наташе. И Марфиньку не забуду... Последний раз перед стружкой пошικую — и баста! А старика проверю еще раз, зайду-ка с черного хода».

— Коржиков просил меня передать вам долг, геноссе Шрайбер, — проговорил Жора, нащупывая в кармане и вынимая кредитки.

— Коршиков? — Шрайбер приподнял плечи, наморщил лоб. — Нет. Ошибка. Может, Мартин или Майер?

Пришлось все перевести на шутку, спрятать деньги.

Радужный хозяин проводил Жору до лестницы, долго жал ему руки, посмеивался добродушным смешком.

Все еще терзаясь сомнениями, Жора направился к Майерам. Хозяин встретил его тоже в подтяжках и ночных туфлях, обшитых кроличьим мехом. Вид у него был унылый, щеки ввалились. Квасова заставили съесть котлеты с толченым картофелем. За едой он узнал, что по всей Германии шли аресты. Не только Шрайбер попал в черные списки. Возможно, Гитлер прикажет всем специалистам вернуться в «третий райх». Будущее беспокоило Майеров.

Выйдя на лестницу, Квасов встретил пьяного Мартина.

Навалившись на Жору, он стал брызгать слюной и изуверски вращать белками.

— Не слышал? Слушай! «Хорст Вессель».

Кто такой Хорст Вессель, Квасов не знал. Раньше они нередко обменивались мнениями, сходясь друг с другом. Мартин издевался над темным бескультурьем России, и Квасов находил известное удовольствие слушать эти речи: бытовых недостатков у нас в самом деле не занимать.

А сейчас — другое дело. Теперь Жора знал, что перед ним распоясывался враг, и прежде чем взять его на мушку, нужно приглядеться к нему, изучить его повадку, чтобы потом прицелить наверняка.

Пьяный Мартин, навалясь на него всем своим мясистым телом, бормотал о том, что ему удалось заманить к себе трех девушек. Он искал себе сотоварища.

— Помоги, Шора. Бери меня на буксир. — Мартин совал в лицо Квасову три пальца. — Айн, цвай, драй фройлейн! Айн фройлейн сказал: «Тебя не хватайт на айн, цвай, драй фройлейн, давай друга». Пойдем, Шора...

Ишь ты, приглашает на гнусность! Заволок голодных девчонок и еще куражится. А ведь и они тоже отдают тебе, собака, свои пайки! Ты же ешь их хлеб и сало, носишь их ботинки и одежду. Ишь ты, зараза! Ну подожди, паразит!..

Жора без стеснения по-рабочему схватил пьяного немца «за манишку»

и притиснул его к стенке.

— Ах ты, гад! Наших девчат калечишь? Меня на непотребство ждешь? Молчи, паразит!.. Мы церемониться не будем, когда... — И в запале Жора забыл о границах «государственной этики». — Айн! — Жора ударил его затылком о стенку. — Цвай! — вlepил ему в ухо. — Драй! — сунул кулаком в лицо.

Отряхнувшись, он пошел вниз, тяжело ступая по скрипевшим ступеням.

За его спиной, подняв руки, кричал рыжий Мартин — полузадушенный и смертельно напуганный.

Жора не слышал. Поиски его подходили к концу, и только это его сейчас занимало.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В среду, накануне заседания партийного бюро, где должен был стоять вопрос о положении в механическом цехе, Серокрыл вызвал к себе своего бывшего комэска Фомина. Приняв его при всех регалиях, Серокрыл попросил обождать, пока поговорит по телефону «по общему нашему неотложному делу». Остановился Серокрыл в Уланском переулке, в гостинице для приезжающих в столицу работников Наркомзема. Здесь он останавливался в каждый свой наезд по рекомендации одного из своих друзей, тоже бывшего партизанского командира, работавшего в Наркомате земледелия по коневодству.

Прием, оказанный Фомину, сильно отличался от прежних их встреч. Обычно они в открытую радовались друг другу и, как старые соратники, долго тискали друг друга в могучих объятиях. Фомин хорошо изучил своего комбрига, и не за какой-нибудь бутылкой кахетинского, а в самых крайних и страшных испытаниях воли и духа: бригада, а позже дивизия Серокрыла состояла из самых отчаянных бойцов, стекавшихся к железному комбригу со всех сторон, лишь бы стать под его штандарт. И снова дивизия гремела по всей армии. Знаменитый прорыв Чонгарского «моста» был проведен также и Серокрылом, влетевшим в Крым на плечах противника.

Вот в те дни и досталось корпусу генерала Барбовича от клинков красной конницы. Стоит вспомнить, как после разгрома Врангеля Серокрыл уезжал на побывку. Десяток тачанок, накрытых татарскими коврами, личная охрана из кубанцев и ставропольцев, увешанных оружием по самое горло, новенькие пулеметы из трофейных складов и, конечно, сотня всадников, гарцующих на аргамаках с тонкими ногами — вот-вот переломятся! — и такими горячими храпами, что хоть спички о них зажигай. Серокрыл был ранен в бедро осколком снаряда и сидел, вытянув одну ногу на специальную подставку, чтобы не сломать гипса. Усиленный конвой нужен был ему не для форса: по Украине бродили банды, и от них приходилось отбиваться по всем правилам степного боя; да и на Кубани было беспокойно...

Сейчас Фомин смотрел на сумрачного своего командира с затаенной надеждой, что не он виной его дурного настроения. Вот-вот закончит он свои хлопоты и, отослав «адъютанта», расцветет улыбкой, обнимет его, охватит накрест своими ручищами, дохнет ему в лицо своим чистым

дыханием (комбриг не курил).

Но этого не случилось.

Серокрыл звонил не в свой наркомат и не к знакомым, как это водилось раньше, когда он собирал компанию на безобидную пирушку, а в заводскую партийную ячейку.

И это насторожило и встревожило Фомина.

Серокрыл попросил Ожигалова отложить рассмотрение вопроса на бюро до возвращения «товарища Фомина» из недельного, скажем, отпуска. И словом не перемолвился Серокрыл с Фоминым ни о бюро, ни об отпуске. Он принимал решение сам, будто его, Фомина, не существовало, будто его мнение, согласие или несогласие не имели никакого значения. Ожигалов внял просьбе и снова отложил отчет цеха, а об отпуске Серокрыл договорился с Ломакиным, который по стечению обстоятельств оказался в тот момент в кабинете секретаря ячейки. Серокрыл мотивировал свою необычную просьбу желанием «проветриться на Каме-реке».

Этот разговор, по-видимому, был ему в тягость, так как перед Ломакиным пришлось отшучиваться. Закончив разговор, Серокрыл медленно опустил трубку на рычаг; его огромная, будто вылепленная скульптором рука еще продолжала сжимать трубку, как эфес боевого клинка.

— Слышал, Фомин? — спросил он очень хмуро.

— Слышал, — голос плохо подчинялся Фомину. — Только... я ничего не понимаю.

— После поймешь, — отрезал Серокрыл, разжал пальцы и помахал занемевшей кистью руки, разгоня кровь. — Поезд сегодня отправляется с Ярославского, дальневосточный. Найдешь меня на перроне. — Подумал, глянул на гостя пронизательно и добавил: — На Урале уже подхоложивает, захвати с собой что-нибудь... Ну, кожанку, что ли... Как ее теперь называют? Реглан?

Реглан... Перед глазами Фомина возник реглан. Он видел его синеватый отлив, и фланель подкладки, и широкий пояс, пахнувший седлом и сумами. Реглан... Фомин не мог выдержать свинцового взгляда комбрига, как-то весь опустился и ничего не мог ответить. Встал, не зная еще, держат ли его ноги, пошатнулся, но быстро оправился.

— Спасибо за приглашение, — сказал он с легкой ухмылкой. — Раз начальство дает команду, надо выполнять под козырек.

Серокрылу не понравился наигранный тон и дерзкие слова его бывшего соратника. Поэтому он не стал объясняться с ним, замкнулся в себе и сказал коротко:

— Другого тебе ничего не остается. Я говорю: ступай собирайся!

Выйдя на Уланский переулок и ощутив, что ноги его уже твердо ступают по асфальту, Фомин несколько успокоился. И все же, несмотря на усилия, он не мог окончательно сбросить навалившуюся на него тяжесть даже среди шума толпы и звона трамваев. Властная воля комбрига давила на него, вызывая болезненные ощущения в сердце.

Фомин пытался убедить себя в нелепости положения; если хорошенько разобраться, то какое дело Серокрылу до него? Почему он берет на себя роль судьи? Но этих рассуждений хватило ненадолго. Если не уехать, то завтра состоится бюро; его липовый отчет тщательно проверен и разоблачен, недаром тянули вопрос. Если кто-нибудь, а такой всегда найдется, заговорит о реглане, тогда можно ждать только одного — исключения. Быть изгнанным из партии равносильно смерти. Все внутри его холодело, когда он представлял себе эту картину: сначала бюро, потом партийное собрание. И он в таком виде должен появиться перед всеми.

И только один человек может спасти его от позора или хотя бы дать отсрочку — Серокрыл. Не зря же он взялся за дело, не зря! Скучный проблеск надежды будто осветил зловещую темноту, сгустившуюся над Фоминым, и помог ему взять себя в руки.

Дома Фомин хладнокровно и с шуточками объявил жене о неожиданной поездке на Урал, о разрешенном ему отпуске. Жена молча приняла его объяснения, молча собрала в дорогу и согласилась не провожать на вокзал.

Фомин позвонил Костомарову. «На недельку, — ровным голосом сказал он, — останешься за меня. Нет, нет, дирекция в курсе, никаких рапортов». Он отдал распоряжения по цеху, попрощался. Этот разговор взбудрил его, помог найти душевное равновесие, и ему легче было держаться так, чтобы жена не волновалась и не догадалась о дурном. Впрочем, он никогда не считался с женой, никуда с ней не ходил и давно перестал делиться приятными или неприятными событиями на службе.

— Жди меня скоро, недели не пробуду. — Думая о себе, а не о ней, Фомин холодно прикоснулся губами к щеке жены. — Что тебе привезти с Урала? Приказывай, старуха.

Жене не было и сорока, а он по глупой привычке на называл ее старухой. Раньше, будучи еще молодой и свежей, она со смехом отзывалась на это обращение, теперь же годы и бездетная семейная жизнь иссушили, состарили ее, и слово «старуха» звучало не смешно, а грустно. Она положила ему руки на грудь, посмотрела в нехорошие глаза и скорбно сказала:

— Не нужно мне никакого подарка. Поскорее возвращайся, Митя. Были бы дети — им и подарки, а мне...

— Опять за свое!.. — На лице Фомина возле шрама дернулся мускул, он готов был сказать грубость.

Но покорность в глазах жены, даже в движении остановила его. Он расстался с женой, унося в себе чувство раскаяния и стыда.

Да, были бы дети!.. Бездетность была несчастьем их супружеской жизни. Всю дорогу до Ярославского вокзала Фомина не покидали эти мысли. «Были бы ребятишки, и ты был бы другим, Митя Фомин, — думал он сокрушенно. — Спешил бы домой повозиться с карапузами, не тянуло бы тебя в пивную или шашлычную, не подсекала бы погоня за нечистой деньгой. Дети приучают жить аккуратно, и только уроды тяготятся ими...»

Так размышляя, добрался он до вокзала и, как это часто бывает с грубыми, черствыми людьми в минуты раскаяний, даже растрогался своими мыслями и с кроткой улыбкой предстал перед поджидавшим его на перроне комбригом. Серокрыла провожало несколько человек. Шла беседа накоротке о каких-то срочных грузах, накладных; люди и тут не давали ему покоя. Серокрыл не познакомил Фомина с ними, только кивнул ему и продолжал вести деловой разговор.

В вагоне, стащив с себя рубаху и повесив ее на крюк, Серокрыл вздохнул с облегчением, чуточку приоткрыл окошко и, глотая прохладный вечерний воздух, глазами провожал огоньки Москвы.

В пути Серокрыл убийственно молчал. Фомин страшился сам начать разговор и оттягивал его, насколько возможно, чувствуя, что нервы вот-вот сдадут, и тогда все покатится под откос.

Когда Серокрыл лег на нижнем диване и приглушенный свет ночника разлился по их двухместному купе, Фомин догадался, что комбриг притворяется спящим и ему это дается нелегко.

— Не мешает все же нам кое-что уточнить, — не выдержал Фомин и приподнялся на локте. С верхней полки он видел лицо и грудь Серокрыла.

— Уточнять будем завтра, — отозвался Серокрыл, не поднимая век и не изменяя позы: он лежал на спине, с закинутыми за голову руками. — И не тревожь меня. Я устал и боюсь показаться несправедливым. Завтра...

З а в т р а ш н и й день принес дождь и дурное настроение. Серокрыл изучал документы производства, ими был заполнен весь его портфель. Часть этих бумаг, уходя из купе, он будто нечаянно оставил на столике. Мельком взглянув на них, Фомин понял: маневр был придуман опять-таки неспроста. Вновь поднималась в стране кампания за сокращение затрат, за режим экономии, за бережливое обращение с каждой копеечкой.

Государству было нелегко, финансовое бремя затрудняло движение, требовались жертвы и усилия миллионов.

Вернувшись с двумя стаканами крепкого чая, Серокрыл сказал:

— Сам заварил, пей. — Отхлебнул с удовольствием и посмотрел в окошко. Там простирался суровый пейзаж новостройки: котлованы, залитые дождями; тонкие металлические фермы; и на них, словно муравьи, скрюченные фигурки электросварщиков.

— Смотри, Фомин, — вырвалось у Серокрыла будто из самой глубины души, — черные люди ползут к небесам со своими яркими факелами. Думаешь, их тут золотом осыпали, великомучеников?

— Не думаю, — буркнул Фомин, поняв, к чему идет речь.

— А почему же они не гасят свои факелы? — Вопрос был поставлен в упор, и Фомин не видел никакой лазейки уйти от ответа. — Молчишь?

Пейзаж ушел за хвост изогнувшегося на повороте поезда, возникла новая стройка. Судя по крупному монтажу котлов, воздвигали теплоэлектрическую станцию, а поселок угадывался за склоном, откуда торчали кирпичные круглые трубы и что-то похожее на рудничный копер.

Серокрыл продолжал:

— Я многое покажу тебе, Фомин. Ты закис, обветшал на своей фабричонке и считаешь себя пупом всей планеты. Ты ошибаешься, Фомин. Те люди, которых ты решил испоганить в наше священное время, скоро затопчут даже память о тебе. Вместо того чтобы скакать впереди, ты окопался в обозе. Стал мародером. Молчишь? Пожалуй, лучше не молчать. Нет у тебя слов, да и не поверю я им, Фомин. Вот тут, — он шлепнул массивной ладонью по портфелю, — есть документ. Лучше бы сгорела та бумага, Фомин! Ты в той бумаге изображен в голом виде, во всем своем паскудстве...

...И вот третьи сутки непрерывной суеты. Исступленно мотался, буквально мотался по самому пеклу индустрии Серокрыл, и с ним его бывший комэск. Они смотрели, как топорами и пилами валили тайгу, выдирали огромные корчи и вгрызались в девственные недра земли; как отливали в лежащих опоках бетонные формы и как сотни людей с хрипением и натугой поднимали их; как ставили печи для выплавки стали и чугуна; как со скрежетом перетирали в стальных барабанах доменные шлаки, чтобы приготовить к зиме не застывающий на морозе цемент; как женщины стояли за несчастным пайком, не выпуская детей из онемевших рук, — и позже те же женщины крючьями таскали огненные ленты металла и утоляли жажду теплой водой из жестяных карцов.

— Хватит, довольно!.. — взмолился Фомин.

— Ты видел хотя бы на одном из них черный реглан?

— Не надо, прошу!..

Фомин сильно изменился. Мучительное отчаяние светилось в его глазах, а бывшему комбригу не жаль его.

— Хватит — значит, хватит! — наконец согласился он. — Хорошо, если до тебя дошло. Значит, нутро твое не успело зарости шерстью. Достучалась до тебя наша партийная правда. Изумляться нами будут потомки, восторгаться, ценить наши муки и кровь. И не только те муки и ту кровь, что пролили мы в боях с белыми гадами. Там не только из кремней высекали мы искры, там глина обращалась в кремни. Ты пойми трудовой подвиг этих людей, и тогда под тобой не запляшет жеребец, занузванный в какой-то чужой конюшне. — Серокрыл закончил зловещим предупреждением: — А не поймешь — изгонят тебя из рядов коммунистов в такое время!

— Зачем ты меня мучаешь?! — взмолился Фомин.

— Я мучаю не только тебя. Вот ходил за тобой и проверял самого себя. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, выросла стена между ними и нами? Может быть, нас втихую зовут дармоедами? Я ел ту же пищу, стоял за супом в длинном ряду, а получил стакан клюквы. Но я нигде ничего не крал, не брал взятку даже от тех подхалимов, что всучают ее незаметно, под видом услуг, под видом дарового обеда и якобы от души предложенной чарки. Завтра кончается твоя неделя. Завтра ты должен решить...

Заводской моторный катер в пять часов вечера отошел от причала и устремился вверх по реке, мимо крутых обрывов левобережья, мимо пристани, старых и новых пакгаузов и амбаров. Когда кончилось пристанское хозяйство и берег зазял глубоким оврагом, будто рассеченный единым взмахом гигантской сабли, потянулась территория завода, издавна поставлявшего пушки, «пороховое зелье» я другой огнестрельный припас... На заводе плавил сталь, это было видно по застекленным верхам и заревам, полыхающим под крышами. В других корпусах ковали и вытягивали слитки, и грохот паровых молотов доносился до реки, словно утробный голос разгневанных великанов. Откованные стволы закаливали, потом обдирали, сверлили внутри, пристреливали...

Фомин стоял на катере, облокотившись на поручни и глядя в мутную, испещренную фиолетовыми разводами воду, думал об артиллерийском координаторе, о червяках из серебрянки. Выходит, они обернулись для него могильными червями. Мысль о смерти, о могильных червях вызвала в нем нервическую дрожь. Река несла свои просторные, глубокие воды к Волге. А

там, далеко-далеко — пустынные степи, полыни на всю Калмытчину, где нет ни одного бугра, который мог бы задержать лучи заходящего солнца. Черный яр — и смертельная схватка, сабельный удар грудь в грудь — и соленая собственная кровь, хлынувшая потоком на грудь через распахнутый ворот гимнастерки. Эти воды несутся туда, к Черному яру, к светлому, омытому кровью прошлому, к временам, когда Митя Фомин мог честно и прямо глядеть в глаза не только своим однополчанам, но и всей армии.

Катер давно миновал пушечный завод и шел по стремнине. Слева поднимались островерхие хвойные леса, справа — тоже леса и бугры, поселки, стройки; от них никуда не уйти.

Уже несколько минут за Фоминым наблюдал Серокрыл, стоявший у другого, правого борта, а рядом с ним — товарищ из обкома, молодой и почему-то уже нервный человек. С такими товарищами из партийных органов редко приходится встречаться в обыденной приятельской обстановке. При деловых встречах они больше молчат, прислушиваются и каждое слово наматывают на ус либо играют в глубокомыслие.

Серокрыл в душе журил себя за то, что пригласил обкомовского работника.

— Ушица будет, товарищ Серокрыл? — уже второй раз допытывался работник обкома, согласившийся на прогулку не ради красот природы и величавой русской реки, а ради уха, — в ней он понимал толк и заранее ощущал ее вкус во рту.

— Будет уха, — успокаивал его Серокрыл, не терпевший легкости в людях, отвечающих за трудные участки руководства.

Серокрыл думал не об ухе, а о решительном разговоре с Фоминым. Если раньше, дней пять назад, Серокрыл мог бы спокойно протянуть ему свой пистолет с полной обоймой, то после этих пяти дней у него появилось другое, более мягкое чувство к своему бывшему соратнику, опозорившему высокое звание ветерана.

Его никто не сумеет отстоять, сколько бы он ни каялся и как бы ни бил себя в грудь. Да и не станет каяться Фомин. Его можно сломать, но не согнуть. Посаженный за решетку агент снабжения и сбыта выдал Фомина полностью. Фомина кроме исключения грозило следствие, предваряющее, как правило, скамью подсудимых. Думая о Фомине, Серокрыл не мог не оглянуться вокруг себя и кое-что сопоставить. Вот подле него стоит обычный, ничем не примечательный молодой и честный партийный работник и ждет бесплатной ухи со спиртным в придачу. Приходя на завод, он, быстро справившись с делом, садится за стол, ни копейки не платит,

даже к карману не потянется. И, насытившись, уходит с невинными глазами. Так он поступает всюду, куда приезжает контролировать, указывать, покрикивать на людей и разносить их за каждый выброшенный целковый. Некоторые из начальников тоже не всегда потянутся за своим кошельком, а «ничтоже сумняшеся» попьют, поедят и с неколебимым достоинством уезжают, как будто бы все так и нужно. И у них и мысли не промелькнет о том, что фактически они совершают-то преступление. Ведь нет же такого порядка, борются с этим, а делают так, черт возьми... Много, ой как много кожаных черных регланов расходуется на дармовщину!..

Рассуждая так и мысленно выкапывая всю подноготную, старый комбриг старался отыскать хоть какое-то оправдание тяжелому преступлению, совершенному человеком, близким ему по духу и биографии. Если Фомин очистился от скверны, не будет упорствовать по гордости, его нужно спасти, взять на Урал, под свое крыло, и вновь разбудить в нем человека. Жестокий к врагам и неумолимый в своем справедливом гневе, вожак не был лишен сердца и способности трезво оценивать людей, если его глаз не ослепляла ненависть к пороку.

Еще три человека кроме команды присутствовали на борту. Три человека для побегушек, для изготовления ухи, для откупорки бутылок и расстилания скатертей. О них можно не думать — настолько безлики эти никчемные и ни на что, кроме лакейства, неспособные люди с квадратными челюстями, сильными затылками и жирными торсами.

— Я спустился вниз, — потирая руки, докладывал товарищ из обкома. — Прекрасно! Не только стерлядок, и окуньков прихватили, и красноперка. Это, что же, для сладости, что ли?

— Обычное дело, — буркнул Серокрыл. — Мои проворотчики знают, что к чему. Не один казан ухи поставили на службу отчизне. Как говорили славяне: «Животов своих за матушку Русь не пожалеют, требуху покладут на алтарь»... — И, остановившись вовремя, чтобы не перехлестнуть и не попасть на заметку, добавил более снисходительно: — Обмозгуйте вопрос с ущицей в одиночестве, а меня прошу извинить. Отвлекусь на короткую беседу вон с тем молодцом.

Фомин услышал тяжелые шаги за спиной. Не обернувшись и не выдавая ни одним движением своего гнетущего страха перед неизбежным, он чуточку отодвинулся вправо, когда подошедший Серокрыл облокотился рядом с ним на поручни.

— Любуешься рекой, Дмитрий?

— Да... — Фомин скосил глаза и увидел могучий загривок и крутые плечи. — Пришел, наконец, завершать?

— А ты как думаешь?

— Думаю, что пора.

— Надо кончать, Фомин. Довольно играть в прятки. Завтра утром ты должен отправляться в Москву.

Фомин выпрямился, и его потускневшие глаза, казалось, не выразили никакого интереса.

«Неужто прогорел дотла?» — подумал Серокрыл.

Старательно избегая собственных оценок и оскорбительных выражений, он изложил Фомину «формально запротоколированную суть дела». Тихим голосом, чтобы не привлечь внимания посторонних, он под коней высказал свои предположения о том, какие неприятности ждут Фомина по возвращении в столицу.

— Спасибо, — проговорил Фомин. — Петелька, как говорится, затянулась...

— Если спросят меня, — сказал Серокрыл, — я выскажусь против... тебя. Ты не опровергаешь улики? — Фомин кивнул головой. — Уличенный Дмитрий Фомин мне и даром не нужен.

— Не нужен? — Фомин вздрогнул всем телом.

— Уличенный Фомин, — повторил Серокрыл и, сняв руки с поручней, встал лицом к воде, летевшей им навстречу.

Приближалось устье реки, впадавшей в Каму, и рулевой принялся круто давать влево, чтобы не бороться с бурным потоком и не натолкнуться на бревна молевого сплава.

— Такой мне не нужен. — Серокрыл, поежившись, засунул кисти рук в косые карманы тужурки. — Его испохабили без моего участия. Кто испохабил, не хочу уточнять. Потом, понимаешь, п о т о м я возьму Фомина и сделаю его таким, каким он всегда был мне любезен, каким я помню его командиром моего эскадрона. Ну?..

— Подумаю. — Фомин понуро кивнул головой и переступил с ноги на ногу.

Он смотрел теперь только на воду, почерневшую вместе с наступлением ночи. В темной гибкой струе, не уставая, бежал красный опознавательный огонек левого борта. Этот огонек кувыркался, исчезал и снова возникал, будто звезда. Кругом было неуютно и серо, темнота еще больше сгустилась; и ничего не слышно, кроме неумолчного шума мотора, и никаких не уловить запахов, кроме запаха отработанного топлива. Так пахнет в механическом цехе. Так пахло от Жоры Квасова, когда смело и упрямо он дышал ему в лицо и ждал любого удара: в переносицу, в челюсть, в глаз. Смелый, упрямый парень Квасов, вот у кого занять бы

мужества в час расплаты! И на стружку отправился, как солдат, не проронив ни слова; повернулся через левое плечо и пошел строевым шагом, размеренно стуча каблуками. Его пришлось постыдно предать, чтобы спасти свою шкуру. А на что теперь годна его шкура? Разве что на огородное чучело. Придется юлить, вымалывать прощение, ловить настроения вышестоящих, ушицу варить, торчать на глазах будущих поручителей.

Фомин улыбнулся напряженной полумертвой улыбкой, будто судорогой исказившей его лицо.

Руки его еще крепче сжали белые скользкие прутки поручней. Будто черная кровь залила глаза и лишила его зрения. Ничего нет во всей широкой вселенной, кроме этой воды и красного зрачка фонарика. Потомки! Это слово несколько раз прозвучало в его ушах в ритм мотору, снова пахло родным, и не страшна была вода, которая бежала к Волге и дальше, к Черному яру.

Фомин не сделал ни одного лишнего усилия, он был напряжен и собран в своем тугом отчаянии. Одно мгновение — и тело, легко отделившись от шаткой палубы, ринулось в черную воду, к красному огоньку. Плюхнулось — и сразу пропало. Может быть, оно вынырнуло где-то в пенном буруне за винтом. А красный зрачок по-прежнему бежал по левому борту, будто ничего и не случилось.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Весть о загадочной гибели Фомина быстро облетела завод и породила много толков. Как и всегда, обсуждали чрезвычайное происшествие в задумчивых беседах, когда люди не опасаются лишнего слова и не приравнивают его к воробью. Дирекция послала на Урал начальника техотдела. Он улетел с попутным военным самолетом. На экстренном бюро говорили трезво и коротко, пожурили секретаря и директора, давших согласие на неожиданный отпуск, нигде не оформленный, «без заявления», как будто теперь выяснение этих причин имело какой-нибудь смысл.

Никто не задумывался о подлинных причинах гибели Фомина, старались не закапываться в глубину, чтобы самим не растеряться и не попасть в положение виноватых. Костомаров из временного начальника цеха превратился, согласно приказу, в постоянного и сразу приобрел начальственную осанку и изменил звонкий тембр голоса на более густой. В цехе стало скучно.

Как и всякий новый начальник, Костомаров с пылом взялся переделывать заведенный порядок, вводить новые отчетности, превращать «пятиминутку» в «часовики», как иронически говорили о них в цехе. Муфтина растерялась, потускнела, перестала следить за собой: новый молодой начальник совершенно не обращал внимания ни на ее характер, ни на внешность и даже открыто пообещал заменить «это ветхое дерево».

И как всегда это бывает, смена начальников, уход одного и приход другого, не отразилась на работе тех, кто занимался непосредственным делом: точил, строгал, фрезеровал. Поэтому, несмотря на нововведения, на другую форму отчетностей и изменение одноцветного наряда на трехцветный, по сменам, план выполнялся; по-прежнему занимались штурмовщиной в последнюю декаду, и после двадцатого числа цехи наполнялись посторонними людьми, толкавшимися и мешавшими рабочим, штурмующим план.

Если говорить об отдельных впечатлениях — вернее о впечатлениях отдельных лиц, то надо остановиться на Марфиньке. Не удивительно, что она близко к сердцу приняла трагическое известие о Фомине — ведь он тесно связан был с Жорой Квасовым, и при разматывании клубка могли захлестнуть и любимого ею человека. Жора, последнее время живший у Марфиньки, — правда, он снимал отдельный угол в большой комнате

хозяйки, — с болью говорил о Фомине и чего-то ждал, не объясняя причин своих тревог и опасений. Марфинька, нашедшая свое счастье, с упорством, свойственным любящим женщинам, докапывалась до источников Жориных бед. Она пришла к убеждению, что разгадку нужно искать у бывшей сожительницы Квасова, Аделаиды.

— Почему он так неожиданно бросил ее? — вышептывала Марфинька брату, у которого искала помощи. — Что-то случилось, Коля, а он молчит и молчит... Он всегда беспокойный, запирает окна, осматривает дверные замки, вскакивает, если где стукнут или позвонят. Товарищ Фомин... Я боюсь за Жору. Помоги!

— Что же я могу сделать, Марфинька? — спрашивал Николай, не на шутку взволнованный не столько поведением Жоры, сколько нервным возбуждением и страхами сестры.

— Сходи к ней, Коля. — Она крепко сжала его руки и умоляюще смотрела ему в глаза. — Я знаю: тебе нелегко к ней идти. Наташе пока не говори, потом расскажешь. Сходи проверь. Сделай это, если не для Жоры, то для меня.

Николай обещал и решил не откладывать обещанного. Посланный на Урал начальник спецотдела привез дурное известие: Фомин сам покончил с собой, бросившись в реку. Его труп нашли через три дня ниже по течению. Его прибило к правобережью, а сначала искали на левом берегу. Обнаружили труп рабочие оружейного завода возле своего полигона. Узнали Фомина по ордену. Не у каждого утопленника орден Красного Знамени.

Дело могло плохо обернуться. Неожиданно заявившийся в гости Кешка Мозговой, будто радуясь происшествию, подробно интересовался Квасовым. Возможно, у Кешки не было никакой задней мысли, а все же его расспросы оставили нехороший осадок.

Вечером Николай рассказал Наташе о просьбе сестры. Наташа выслушала молча и только пожала плечами. Уже лежа в кровати, он возобновил разговор. Приближалась осень — время вступительных экзаменов в Высшем техническом. Они вдвоем дважды побывали там, под прохладными парусными сводами, как в старинных соборах. Гуляли возле железной ограды, где росли толстые шершавые липы. Сюда съезжалось много молодых людей; кое-кто с мешками за спиной, набитыми сухарями, кусками сала, чистым бельишком. Подъезжали сюда и московские юнцы, нередко в очках — пробивные ребята, умевшие ловко обходиться с секретаршами приемных комиссий; знавшие назубок все премудрости программы. Наташа по-прежнему настаивала на том, чтобы Николай

явился на экзамен в длинной армейской шинели и побольше напирал на свой рабочий стаж.

Дома у них уже появилась пристройка. Плотники, будто играя своими сверкающими топорами и пилами, возвели стены из двухметрового швырка и протянули стропила; дважды веселая гурьба комсомольцев справила субботник. Теперь можно было веселее смотреть на жизнь. Поработав после смены фуганком, приятно было склониться возле Наташи над тетрадкой и книгой, следить за движениями ее полных милых губ, за ее пальцами.

Все складывалось хорошо. Если замкнуться в своем тесном мирке, то лучшего не надо. Но со всех сторон вторгалась жизнь, и нельзя было уйти в свою скорлупу. Если тебе помогают, ты должен помочь другим. Ночной же разговор приобретал характер новых алгебраических формул. Но не везде стояла постоянная величина, в жизни было больше углов, и ее задачи не могли уместиться и в тысячах книг.

Николай сначала позвонил Аделаиде. Услышав ее полузабытый голос, он словно вернулся в далекое, очень далекое прошлое.

— Ну, говорите же, я вас не слышу... Вы по-прежнему такой же застенчивый?.. Что ж, приходите. Любопытно на вас посмотреть.

У входа та же черная кнопка, так же надлежало звонить два раза, дубовые перила так же лоснятся, под ногами те же стертые ступени. Но Аделаида уже не та. Вероятно, она не замечает в себе этой перемены. Николай почувствовал к ней жалость. Почему так быстро и горько изменяется женщина? Казалось, та же ленивая, покачивающаяся походка, те же жесты, только чуточку длиннее острижены ногти, и немного изменен цвет лака на них. Но кожа не так чиста, как прежде, и ей не помогают ни пудра, ни тонкий слой румян, наспех и неровно нанесенный на щеки и мочки ушей. И губы будто привяли, и волосы потеряли свой цвет овсяной соломы, их вытравил краска и сгубил постоянный уход. Ведь Аделаиде около тридцати или чуть-чуть меньше. Не такой уж безнадежный возраст.

— Не смотрите на меня так... — попросила она Николая и усадила его возле столика, инкрустированного белым и черным. — Я не совсем здорова. К тому же у меня отвратительное настроение. А вы почти не изменились, Коля, — равнодушно произнесла она и чиркнула спичкой. Табачный дым окутал ее. Она курила, оттопырив нижнюю губу, и пускала дым через нос. — Вы, несомненно, знаете от вашего друга, что мы с ним расстались. Я вынуждена была сделать аборт. Детей не люблю и не хочу, чтобы они впоследствии спрашивали меня: «А кто мой папа?» — И она бесцеремонно спросила: — По этому вопросу вас и подослал ваш друг?

— Нет, — ответил Николай, победив свое смущение, которое овладело им на пороге этой квартиры.

— Нет?.. — удивленно переспросила Аделаида. — Странно!.. Тогда какие же соображения побудили вас прийти ко мне?

Николай решил действовать обдуманно. Теперь уже не Аделаида командовала им, он чувствовал себя гораздо уверенней. Его не могли обмануть даже «светские» обороты речи: «побудили вас». Он заметил, что обстановка комнаты изменилась. Исчезли предметы восточного обихода, которые так волновали Сержа Коржикова: не было мусульманского светильника, кальяна, узкогорлых кумганов и бамбуковых палок. На стенах опять висели портреты лошадей и жокеев, из-под козырька ипподромной шапочки строго смотрел папа; вместо туркменского толстого ковра на полу лежал армянский тонкий палас, купленный Квасовым в магазине Инснаба.

— Когда ушел Серж, пришлось изменить обстановку, — объяснила Аделаида. — Жора — кавалерист, лошади ему ближе всех сокровищ Востока. Ну, уж если мы коснулись Жоры, мне хочется поблагодарить вас. Задним числом.

— За что?

— Вы, как я убедилась, приличный человек — не насплетничали вашему другу о Серже. — Она настороженно взглянула на Николая, по-прежнему невозмутимого, и добавила: — Впрочем, мне все же пришлось познакомить их... — И вдруг лицо ее изменилось, она спросила беспокойно: — Вы пришли по поводу Сержа?

— Нет.

— Почему вы такой чопорный? — спросила Аделаида, нервно посмеиваясь. — Почему люди с годами становятся хуже, теряют непосредственность, черствеют, замыкаются в себе, глядят исподлобья? Почему так происходит, скажите мне!

— Я думаю, вы встречаетесь не с теми людьми... — начал Николай издали.

— Ах, оставьте! — Она закрыла уши. — Не продолжайте. Раз вы начали с этого «я думаю»... Вы неискренни. Не нужно, я уже насмотрелась всякого притворства. Сыта по горло!..

Аделаида вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, от нее исходил запах очень тонких духов.

— Вы, я слышала, женились? — спросила она.

— Да.

— И, конечно, счастливы, любите друг друга, воркуете, клянетесь вечно не разлучаться? — Аделаида деланно засмеялась и снова закурила.

— Не возмущайтесь моим цинизмом и не уверяйте в обратном. Все пройдет, Коля, все!.. — Она приблизилась вплотную, пытливо, с болью всмотрелась в лицо Николая и, зарыв пальцы в его волосы, провела ими от лба к затылку. — Я постарела, Коля. Слышали песню: «Я девчонка совсем молодая, а душе моей — тысяча лет»? Уходите! Я знаю, зачем вы пришли. Я не стану переманивать его от вашей милой простушки — сестры. Я и ревновать-то к ней не могу по-настоящему. Разве можно ревновать к полевому маку или к василькам? — Глаза ее загорелись как-то по-новому. Оставив наигранный тон, она отбросила в угол непогашенную папироску и взяла Николая за руку. — Я не отниму его у вашей сестры. Но Серж... или, как его?.. Павел Иванович — он может отнять его у вашей сестры навсегда. Бойтесь его... А меня не опасайтесь. Я безвольная, опустошенная и несчастная женщина. У меня тут нет ничего. — Она сжала обе руки на груди. — Поймите: ничего!.. И уходите. Этот дом не для вас...

Она почти вытолкала Николая на лестницу и что-то еще шептала в темноте. Спускаясь к освещенному фонарем пролету выходной двери, он еще долго видел ее белую фигуру, склоненную над перилами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Квасов угрюмо трудился на черном дворе. Фомин не выходил у него из головы. Работая четырехрожковыми вилами в фиолетово-синеватых холмах стружки, сбрасываемой сюда медленно ползущим транспортером, прессуя ее в пакеты на специальной машине, Квасов непрестанно вспоминал мастера: его улыбку, шрам на его лице, орден с буквами «РСФСР» под красной полуотбитой эмалью знамени на золотом древке. Он не мог представить себе Дмитрия Фомина препарированным трупом. Ожигалов показал Жоре медицинский анализ, изложенный на двух страницах.

Иногда Квасов напрашивался в грузчики и, устроившись на пакетах шихты, ехал через весь город к заводу «Серп и молот». Наблюдая с высоты кропотливую суету города, он снова представлял себе Фомина: будто идет он рядом, засунув руки в траченную годами кожанку-доколенку, с шарфом на шее. Узнал Жора и о злополучном реглане и удивился скаредности Дмитрия Фомина, польстившегося на такую дешевку. Моргни он Жоре — из-под земли выкопал бы ему самый распрекрасный реглан! На стружку было противно глядеть. Часть ее вышла из-под фрезы, точившей эти распроклятые червяки. Сколько из-за них пришлось претерпеть!..

Люди, наблюдаемые им с высоты грузовика, рыли подземные тоннели метро, рушили одну сторону Тверской, вплоть до кавказской шашлычной, перетаскивали здания на катках, варили асфальт, натягивали медный провод на свежие столбы, строили заводы или перестраивали их по формуле: «Пришивай пальто к пуговице». Но над всем этим огромно возникала фигура Фомина, достававшего головой до куцых облаков, сиротски бегущих по блеклому московскому небу.

«Или в самом деле он сумел меня пронзить до самого сердца, — думал Жора, стараясь отрешиться от назойливого видения, — или Кама-река не смыла мою кровь с его кулака».

Фомин на время вытеснил из его сознания фигуру Коржикова. И только когда видение Дмитрия Фомина скрывалось из глаз и грузовик нырял в паутину улочек, появлялся образ «кузена Сержа». Если бы не пачка кредиток (вероятно, гад, и номера переписал), то серая фигурка так бы и смеркла в этих тусклых кварталах, рассосалась бы, как гнилой туман. Но деньги жгли. Иногда, закатывая рукав, Квасов рассматривал на своей руке неглубокий, но отчетливый шрам. Еще одно вещественное напоминание о

далеко не бесплотном духе Коржикова.

Однажды Квасову показалось, что Коржиков проскользнул в узкую щель раскрытых дверей некоего континентального посольства с черным орлом на эмалированном щите; к этому зданию Жора не раз сопровождал то одного, то другого немца из числа своих заводских подопечных. Жора выждал около получаса. Наконец из подъезда выскользнул человек. Жора поспешил ему вдогонку, быстро обошел, оглянулся: нет, не «кузен Серж». Вот оборотень!

Квасов с обостренной внимательностью наблюдал кипучую жизнь города, людей, плечом к плечу идущих к одной цели, и ненависть к самому себе все глубже проникала в поры его души. Как это случилось, что он «живет против»? Против вон тех комсомолок, только что выскочивших из-под земли и сразу же кокетливо сменивших мокрые шахтерские шляпы на косынки; против вон тех работяг у окрашенных огнем окон мартеновской сталеплавильни; против всего люда, работавшего на умножение отцовского и дедовского скудного наследства. И он, Жора Квасов, невольно поднял на них свою руку. Что же делать? Неужто таким же манером, как Митя Фомин, — головой в омут? Нет! А как? Пока ничего не мог решить Жора Квасов, от размышлений голова разламывалась на куски. И Марфинька вправе была спрашивать с женским участием: «Жора, да что с тобой стало?»

Однажды, когда он работал над своей распроклятой стружкой, его навестила Муфтина.

— Я горжусь вами, — сказала она. — Вы — настоящий человек! Вы сгусток...

Правильно сработал ее куриный мозг. Жора пробормотал себе под нос: «Значит, падаль, коли на меня летит такая могильная муха». Слово с г у с т о к вызвало в воображении какую-то ядовитую, тошнотворную массу, вроде ожигаловской п р о т о п л а з м ы.

Угнетенное состояние Квасова по-своему объясняли на черном дворе.

— Валяй-ка в контору, к самому, — советовал ему старшой, добродушный и неглупый рабочий. — Ломакин отменит стружку, и вернешься в исходное положение.

— Не пойду!

— Строптивый?

— Человек образцовой дисциплины.

— Неужели? — спросил другой, по повадкам деревенский кулак, сбежавший от пролетарского гнева. — А ежели тебя к стенке? Как тогда дисциплина?..

— Стану к стенке, — твердо отвечал Жора.

- Ой-ой! И не зажмуришься?
- Зачем же? Я любопытный.
- Узнать, хорошо ли целятся?
- Тоже интерес...

Разговоры подобного рода ни к чему не обязывали и затевались от лени мысли в минуты перекуров. К Жоре постепенно привыкли, перестали ему удивляться, перестали расспрашивать и советовать. Даже о неожиданной смерти Фомина говорили только в первые дни. Работали молча и не очень спешили, чтобы аккуратно распределить силы на весь день. Иногда приходилось разгружать материалы: прутковый металл, слитки, станки. Тяжелая работа давалась Жоре легко. Трудней было думать.

— Смотрите, какого активиста к нам прислали! — однажды взмолился тот самый кулачок из деревни. — Уморит нас, братцы!

— Фундамент социализма хочет пошвыдче заложить на стружке, — поддакивал кто-нибудь из разнорабочей текучки.

Последнее время Жора не переносил никаких издевательских словечек и сомнений в правильности большого, но кое-кому непонятного общего дела.

В этой укоренившейся в нем вере в общее дело Жоре помогала Марфинька. И не рассуждениями своими или нравоучениями — от них у него была оскомина, — а лаской, вниманием к нему и любовью к исполняемой ею работе, от которой она получала удовольствие. Марфинька была для него единственным утешением, так как все отстранились от него и никто не старался проникнуть в строй его переживаний. Предполагалось, что такой занозистый парень не способен на переживания. Можно думать о Марфиньке так и сяк, и все равно мысли будут светлыми. Таинственная добрая сила сосредоточилась в этой девчонке, и Жора с радостью подчинялся этой силе.

С Марфинькой будет хорошо, если уладится все остальное, если он сумеет подчиниться общему движению и не будет ставить себя выше людей.

Любовь?.. Раньше Квасов представлял ее себе, как физическое наслаждение, и до женщины и до ее переживаний ему не было дела. На это ему было наплевать. Он принципиально не произносил слово «люблю», считая его фальшивым и сочиненным для тех увальней, которые иначе не могли подластиться к девчонке. Теперь, сближаясь с Марфинькой не только физически, а и чем-то другим, пока неясным, он не мог «раздетализировать», как механизм, эту нравственную основу любви, — он жил сейчас больше сердцем и разумом и старался отблагодарить

Марфиньку своим бережным отношением к ней. Раньше он никогда не поджидал ее у заводских ворот и отпраивлялся домой один, хотел — заходил в пивную, вел себя вольным казаком. Теперь он терпеливо ждал Марфиньку во дворе, открыто шел с ней в толпе, чувствуя ее плечо, локоть, иногда брал под руку, а раньше смеялся над теми, кто ходит «под ручку».

Однажды завком решил закрыть проходную, чтобы собрать на литературный вечер в душном зале столовой как можно больше читателей. С территории завода выпустили только начальство, кормящих матерей и тех, кто успел улизнуть, прежде чем в завкоме родилась мудрая мысль задвинуть засовы. Вначале читатели пошумели по поводу такого к себе отношения, потом столпились в столовке, заменявшей им клуб, и успокоились. По ходу вечера они поняли, что принуждали их не зря.

Жора сидел рядом с Марфинькой у задней стены и держал ее руку в своих ладонях. На помосте первой выступила перед публикой некрасивая быстроглазая женщина — критик. Потупив глаза, она говорила о значении литературы в деле воспитания широких масс. Эти массы отрезаны от литературы не то царем, не то буржуями, не то международным капиталом; правда, ни царя, ни буржуев давно не было, их пустили на расструг, а международный капитал и носа не мог сунуть в запертую на семь замков Советскую страну. Но женщина говорила так, будто ничего в стране не изменилось.

За нею на трибуну поднялся курчавый поэт с томными глазами, в расстегнутой рубахе: поэт считал, что у него красивая шея и ее надо показывать. Нараспев, немного гнусавя, он читал стихи о пятилетке, о рабочих, с которыми ему хотелось бы слиться. Своими стихами и якобы выраженным в них энтузиазмом, как заранее объявила женщина-критик, социалистическим энтузиазмом, поэт безуспешно пытался заразить уставших, густо скученных людей, которые все-таки были обижены «мероприятием» завкома. Несмотря на то что поэт попытался исправить свой провал оглашением лирического стихотворения, его проводили жидкими хлопками, и он сконфуженно присел к столу, взмахом головы откинул со лба пряди длинных волос и с пренебрежением уставился в зал своими красивыми выпуклыми глазами.

По помосту, скрипя нерасхоженными черными ботинками, прошел пожилой человек в сером пиджаке, в пенсне и с бородкой. Пощупав трибуну, он примерился к ней и, найдя ее слишком высокой для своего роста, остался стоять на краю помоста, прикрытого брезентом. Потом он потрогал пенсне и раскрыл книжку, которую до этого держал возле бедра. Прежде чем начать чтение, пожилой человек откашлялся, посмотрел в

сторону стола, где кроме двух уже выступавших литераторов сидели председатель завкома и от комсомола Саул, и попросил воды. Саул с улыбкой поднес ему граненый стакан, и человек, выпив, вытерев платком губы и усы, поблагодарил кивком головы. Саул сел на свое место, потеснив поэта, и приготовился слушать, стараясь не упускать из поля зрения зал, чтобы заранее предупредить возможные «выпады». Мало ли что — кто-нибудь может выкрикнуть чепуху или, того хуже, свистнуть.

Несмотря на то что женщина-критик расхваливала прибывших на завод поэта и прозаика и называла их людьми, чьи произведения «перешагнули далеко пределы нашей Родины», почти никто из сгрудившихся в зале рабочих не знал их даже понаслышке. Саул, предвидя еще большую неудачу с прозаиком, придумывал дальнейший план вечера; он договорился заполнить брешь плясунами из самодеятельности и юмористом-балалаечником, рыжим литейщиком Ваней Мастаком, который всегда начинал свое выступление с частушки: «Ты не плюй мне на ногу, я у новом сапогу».

Расталкивая публику, гонцы побежали на поиски балалаечника и плясунунов, а писатель, порывшись в книжке, поднял усталые, болезненные глаза и объявил тихим голосом о том, что он прочтет только одну короткую главку из своей недавно изданной книги.

Проза дошла до аудитории лучше стихов. В прозе была мысль, чего не хватало крикливым стихам, атакующим сознание в лоб, без всякого стеснения. Эти фальшивые побрякушки оставили скромных, простых людей равнодушными. Другое дело — проза. И Квасов, один из простых слушателей, редко бравший в руки книгу, с детским изумлением слушал этого хилого старичка, сумевшего правдиво и глубоко проникнуть в сокровенные тайники обычных, казалось бы, людских отношений. Дело касалось любви, простой и открытой, без фальши, без ненужных прикрас. Вот такая любовь — и только такая, настоящая! — красит жизнь. Мало кто отваживался в литературе честно рассказывать, как живет обыкновенный человек, какую иногда терпит нужду, какие таит душевные слабости, как борется в одиночку с пороками, якобы унаследованными от проклятого прошлого, и только от прошлого, и не имеющими корней в иных ошибках настоящего. Почти всегда в книжках все идет гладко, все будто выбрито и опрыскано одеколоном, слова подобраны умело и чистенько, все на месте, все зализано, а жизни нет!

Герои таких книг никогда не думают о зарплате, о крове; и неизвестно, кто их кормит, где и как они живут. Строители нового общества в этих книгах подобны утиному пуху — летают, витают... Другая встает

картина, когда такие художники, как Шолохов или Серафимович, берутся за перо. Но у них в книгах — гражданская война. А нынешний день? Ныне не погарцуешь на рыжем коне, не отобьешь харч в обозах кадетов.

Писатель с бородкой взял сегодняшний день не во всей его масштабности, а с одного края. Зато как!.. Он рассказывал о любви без цветочков, без сладеньких слов, о грубой и властной ее силе. Кто, прежде чем броситься в омут, вымеривает его глубину? Марфинька тоже жадно вслушивалась в красивые обнаженные слова, и ей казалось — то она плывет в мутном потоке, то парит в самих небесах, выше облаков, почти под солнцем...

Аплодисменты как бы разбудили Марфиньку, вернули ее в обычный мир, в столовку, где пахло щами, манной запеканкой и рабочей одеждой.

— Понравилось? — спросил ее Жора.

— Да... — прошептала Марфинька.

— И поди ты, чем же он допек нашего брата?

— Тем, что рассказал, как надо любить, — ответила Марфинька. — Скажешь, неправда?..

— Пожалуй, — согласился Жора, следя за тем, как писатель спокойно и ласково поклонился людям.

— Мы любим как-то очень простенько, а хочется, чтобы было не так, — продолжала Марфинька. — Без цветов проходит наша любовь...

Жора любовался ее милым лицом, росинками пота на пушке верхней губы и тоже сказал негромко:

— Меня-то в этом не упрекнешь. Помнишь, притащил тебе целую охапку?

— Помню, еще бы!.. — Она просветлела, быстро вскинула на него глаза. — Ты приносил мне черемуху.

— Наломал возле станции, чуть забор не повалил...

— Это ничего, Жора. Зато все-таки принес... мне... Ну, послушаем, что будет дальше.

А дальше было скучно и даже грустно как-то. Новый литератор читал о житейских недоразумениях, о горе и скитаниях чувств. Смутные предчувствия снова всколыхнули Марфиньку, и она почти не слушала длинные психологические рассуждения очень серьезного и самодовольного автора. Глазами она искала брата.

Он сидел в группе инструкторов, среди которых приметен был Старовойт и возбужденный, взвинченный Степанец, быстро продвигавшийся за последнее время «по пути авторитета». Брат еще толком ничего не рассказал о своей встрече с Аделаидой; поскольку

Марфинька считала Аделаиду средоточием бед, ей хотелось знать, не грозит ли им, ей и Жоре, опасность с ее стороны.

Вечер закончился без плясунов. Люди стоя аплодировали литераторам, а когда их проводили из зала, повалили следом за ними: интересно поближе увидеть тех, кто пишет книги.

— Коля, прости, — сказала Марфинька, протиснувшись к брату. — Мне хочется поговорить с тобой.

— Здравствуй, Марфинька! — Наташа поцеловала ее в лоб и в щеки. — Какая ты жаркая!..

— Наташенька, разреши поговорить с Колей, а? — попросила она.

— Разрешаю, разрешаю... — Наташа снова поцеловала ее. Она знала о добрых вестях и радовалась за Марфиньку, которой желала счастья.

Квасов стоял в стороне, разглядывал литераторов, очень далеких ему и непонятных. Литераторы рассаживались в новеньком директорском «газике». Человек с бородкой вяло помахивал рукой. Женщина-критик красила губы, глядя в круглое зеркальце, и что-то говорила забившемуся в угол поэту.

«Газик» просигналил и раздвинул толпу. Вскоре красные зрачки фонариков пропали в глубине переулка. Вечер был теплый. Припомнились счастливые дни походов, движение конницы, запахи трав, луна над просторами Недреманного плато. Почему-то Жоре, гуляке и беспутнику, захотелось заплакать.

Вернулась Марфинька — веселая, обрадованная. Она понимала его с одного взгляда, и, прикоснувшись ладонью к его щеке, о чем-то спросила. О чем — не имеет значения. Главное — ее голос, участие. Не задумываясь, не колеблясь, она всегда придет к нему на помощь.

Всякие предчувствия, приметы и суеверия Квасов называл м у т ь ю. А теперь он почти физически предчувствовал беду. Куда-то исчез Коржиков. Исчез, и хрен с ним! Но тесная связь с «кузеном Сержем» не распалась. Пачка денег, новеньких, тугих, как нераспечатанная колода карт, оттягивала его карман. Жора не расставался с этой пачкой, боялся ее потерять. Дурные предчувствия были связаны с этими проклятыми деньгами. Выбросить их он не мог, сдать в милицию — боялся. Будто проклятие висело над Жорой. Единственным теперь утешением была Марфинька. Она спасала его от страшных мыслей, преследовавших его после гибели Фомина. Река, черная, жуткая, мерещилась ему.

В этот вечер пожилой писатель пробудил в нем светлые чувства. Да, любовь существует, и эта любовь — Марфинька. Ему захотелось

порадовать ее, сделать приятное.

Как же получше провести удачно начатый вечер? В кино не тянуло, слишком буднична эта утеха; в театр уже опоздали, да и не принимал Жора многих нынешних пьес — в них фальшивили герои, говорили бесцветные слова, навыворот кроился материал жизни и белыми нитками была сшита интрига.

Оставалась заветная «Веревочка» на прилубянском холме. Там и пели, и плясали жарко, люди не чванились, каждый вел себя, как ему нравится, можно было и вкусно поесть, и хмельно напиться.

Марфинька во второй раз ехала в «Веревочку». Ее величали вместе с Жорой, а цыган в желтой рубахе пронес на кудрявой голове стакан вина и потом выпил за ее здоровье. В ее тогдашнюю скучную жизнь ворвалось что-то необычное, жуткое и опьяняющее. С «Веревочки» тогда и началось...

— Помянем Митю Фомина, — сказал Жора. — Все же был такой человек, был...

Марфинька осторожно спускалась по истоптанным ступенькам подвала, стесняясь взять под руку Жору и брезгуя коснуться сырых, сальных стен. На ней было новое платье из файдешина, предмет ее давних мечтаний, туфли из замши, такие, как у Наташи, и подарок Жоры — черные бусы из какого-то блестящего немецкого сплава.

Торговля была в разгаре. В переполненном ресторанчике держался крепкий настой табачного дыма, подгоревшего бараньего жира и алкогольных паров.

Никто не обратил внимания на ничем не примечательную пару. Ели, пили, запойно курили, беседовали надрывно, старались перекричать друг друга.

Первоначальное ощущение радости погасло, улыбка исчезла у Марфиньки. Она искоса присматривалась к посетителям. Потерялось чисто физическое ощущение своего нового платья, свежего белья. Стул, который ей пододвинули, был грязен. Чтобы не помять и не испачкать платья, Марфинька присела на самый краешек.

Старый официант с жирной спиной и брюшком, спрятанным под черным фартуком, небрежно выслушал заказ, хотя знал Квасова как тороватого клиента. При всей своей лакейской почтительности он в душе презирал таких нищих гуляк за то, что они напоказ тратят кровью заработанные деньги.

— Потом, друг, сочинишь пожарские котлеты, — барственно распорядился Жора. — Мне — белой, даме — портвейна. Осетрину

сжарить на шпаге, помидоры запечь... Нет, нет, салатов не надо. Огурцы принеси...

— Жора, хватит. — Марфинька раскрыла папку с меню, и цифры запрыгали перед ее глазами. — Жора, посмотри, сколько стоит у них огурец! Да разве так можно?

Официант улыбнулся Марфиньке:

— Вы это заметили верно. Огурец у нас в аккурат золотой.

Отпустив официанта, Жора удовлетворенно откинулся на спинку стула.

И вдруг он заметил «кузена Сержа». Будто сам дьявол сводил их в «Веревошке»! Сомнений не было, Коржиков сидел к нему спиной, стул к стулу. Все, что окружало Квасова, мгновенно как бы поблекло, но голоса стали резче, кабацкие запахи тошнее. За одним столиком с «кузеном Сержем» сидели два человека, ели судачью икру и пирожки. Графин был пуст, и они допивали полдюжину входившего тогда в моду крепкого ленинградского пива. Собутельники Коржикова не были Жоре знакомы, и он, понимая всю сложность своего положения, решил хорошенько разглядеть и запомнить их. Один из них, сидевший напротив Коржикова, был представительный старик лет пятидесяти с аккуратно подстриженной седой бородой; второй — крепкий и сравнительно молодой человек в бостоновом темно-синем пиджаке, в расстегнутой сатиновой косоворотке, обнажавшей его белую, в отличие от загорелого лица, сильную шею. Тот же официант, который принял заказ Квасова, принес им заливные стерлядки и жаренный в соли миндаль.

Итак, неизбежное свершилось. Коржиков объявился, а что дальше делать, Квасов не знал. Во всяком случае, нужно остаться незамеченным. Жора съежился. Пересесть за другой стол? Поздно! Можно бы смяться, а как Марфинька?

Она чутко уловила перемену настроения в нем, погладила его руку и сказала, мягко глядя ему в лицо теплыми глазами:

— Жора, если ты думаешь о заводе, то это зря. На стружке, конечно, тебе стыдно работать и оплата меньше. Потерпи, все вернется, а пока я помогу... — И после короткой паузы похвалилась: — Ты не сомневайся. Знаешь, сколько выписали мне в получку?

Квасова растрогали ее слова, произнесенные без всякой рисовки. Разве он может сомневаться в Марфиньке? Как-никак, а теперь их двое.

После недолгого перерыва на помост вышли цыгане. Марфинька сразу заметила двух пожилых и трех молодых стройных женщин с талиями, обтянутыми пестрыми платками. Мужчины побренчали на гитарах,

переглянулись, кивнули хору, и в зал лавиной обрушилась дикая песня, бесстрашная, степная, раздольная.

И эта песня будто вернула Жоре способность соображать. Границы жизни раздвинулись. Мог ли Коржиков загородить ее своими хилыми плечами? Две рюмки водки окончательно прояснили сознание Жоры и помогли ему здраво осмыслить положение. Только теперь он догадался, что именно отсюда, из «Веревошки», началась за ним слежка. Многие здешние завсегдатаи, пьянчуги, как бы созрели для того, чтобы стать подлецами. И одним из таких, как они считали, был он.

После таборной песни плясали худые ребята в атласных шароварах. По их впалым, насмугленным косметикой щекам катился пот, оставляя длинные бороздки. Старый цыган с серебряной серьгой в ухе, стоявший сбоку, впереди хора, подыгрывал на гитаре, в то же время выискивал глазами в зале очередного дурня для величания. Жора отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом, и, чокнувшись с Марфинькой, выпил третью рюмку холодной водки.

— Ты закуси, Жорочка, — попросила Марфинька.

— Пусть пожжет. — Теперь Жора уже сам старался поймать взгляд Коржикова. Ему не терпелось.

Коржиков заметил Квасова сразу, еще у входа, но сделал вид, что не узнал. Как поведет себя этот взбалмошный парень? Исподтишка он стал наблюдать за ним. Квасов испугался, это хорошо! Водкой он пытается заглушить свой испуг — тоже неплохо! Действовать нужно осторожно. Выбрав удобный момент, когда Марфинька была отвлечена пляской на эстраде, Коржиков придвинулся ближе и сказал не оборачиваясь:

— Жора, учтите: меня здесь нет... Мы встретимся в среду, — он назвал улицу, место. — Есть сообщение...

Договорить он не успел, к нему повернулся сидевший рядом с ним старик с яркими молодыми губами.

— Павел Иванович, а ведь это симптоматично.

— Что симптоматично? — переспросил Коржиков, недовольный тем, что ему помешали.

— Вся эта обстановка. Римскую империю, как известно, погубил разгул.

— Черт с ней, с Римской империей! — буркнул Коржиков и выпил водки.

— Я прикидываю к российской действительности. — Старик указал пальцем в ту сторону, где цыгане величали сибиряка.

Он сидел, упершись локтями в стол, чтобы не свалиться, и широко

расставив ноги в сапогах с козырьками голенищ, поднимавшихся над коленями. Цыгане величали этого могучего сибирского медведя, а он глядел на них мутными, оловянными глазами, но не вставал, так как спиной прижимал к спинке стула туго набитую сумку из оленьей шкуры.

— Вы ошибаетесь! — громко заявил второй из компании Коржикова и пристукнул кулаком по столу. — Наше государство не погибнет! Полюбуйтесь, как этот сибиряк прижимает своей стальной спиной оленью сумку. Попробуй сдвинь его! Государство взяли в свои руки мужики и фабричные. У них девственные мозги и непокалеченная психика. Видишь? Сибиряк дал в рыло? Кому? Тому, кто попытался только притронуться к его сумке. Bravo! Bravo! — Он привстал и захлопал в ладоши.

— Эка невидаль, сумка, — буркнул Коржиков. — Что там может быть у него, в сумке? Червонцы?

— Неважно, не имеет значения! Пусть там клозетная бумага или планы свинцовых копей. Какая разница? Он метко дал в морду, хотя пьян как свинья... Что на это скажете, римляне?

Старик дожеввал кусок мяса, вытер губы платком, посмотрел на часы.

— Я стою на своем, молодой человек, и жалею могучую империю Рима, раздавленную, образно выражаясь, виноградного кистью.

— Врешь, старик! — Снова кулак об стол. — Римская империя погибла из-за таких вот слюнтяев, как ты. — По привычке, свойственной многим нашим согражданам, он перешел на «ты». — Слюнтяи предали забвению Цезаря и Помпея. Они сменили мечи на кисти и резцы, ха-ха!.. Стали рисовать картинки, портить благородный мрамор на изваяния голых баб. Женская грудь восторжествовала над доспехами. Мускулистых центурионов сменили изнеженные слюнтяи, подобные тебе, старикан, и тебе, гражданин Коржиков.... Римскую империю съели барство, изнеженность, свары и склоки, вместо дыма боевых костров она стала дышать благовониями. У патрициев одряхлели мускулы, да, да!..

Услышав фамилию Коржикова, Марфинька наострила уши. Она заметила отрывистые перешептывания Жоры с гражданином, сидевшим к их столу спиной. Несвязный рассказ Николая о его встрече с Аделаидой побудил ее думать, что у Жоры с Коржиковым ссора из-за любовных дел. Нет, теперь она ясно почувствовала, что дело в другом. Римская империя и все прочие мудрые штуки — это все для отвода глаз. «Нет, нет, погодите, — думала Марфинька, мгновенно протрезвев, — кого-кого, а меня не проведете! Ишь ты, какой изворотливый Коржиков!..» В ее сознании происходила сложная работа. Если Жора должен остерегаться Коржикова, то, значит, он опасный, значит, и она должна его бояться.

Разговор за соседним столиком обострялся. Марфиньке показалось, что мужчина в косоворотке и с сильной шеей только притворяется пьяным и бестолковым, а на самом деле он т в е р ё з и распаляет своих собутыльников с какой-то тайной целью.

Потом старик немного успокоился и слушал своего собеседника, склонив набок аккуратно подстриженную голову и играя пальцами по столу. Коржиков с аппетитом доедал жареное мясо.

Когда мужчина в косоворотке выговорился, старик снял пальцы со стола и сказал брезгливо:

— Если хотите знать основную ошибку Римской империи, могу вас просветить. Римская знать доверилась преданности своих рабов, мстительных, лукавых и вероломных. Вот так... — Он махнул головой в сторону сибиряка. — Ваш сибиряк с оленьей сумкой тоже, если хотите, вчерашний вероломный раб... А нам пора и честь знать, Павел Иванович, я сыт по горло. — Старик нервно расчесал бороду маленькой расческой. — Пора уходить из вертепа, Павел Иванович.

Коржиков что-то сказал молодому; тот отмахнулся, опустился на стул так, что затрещали ножки, и буркнул, не глядя на Жору:

— Пусть!.. Нам-то что...

Коржиков нагнулся, будто для того, чтобы завязать шнурок, и тихо шепнул Жоре:

— Итак, в среду на той неделе, в одиннадцать. — И добавил, уже приподнявшись: — Шрайбер умер...

— Шрайбер? Когда? — У Жоры сорвался голос.

— Да, Шрайбер, — повторил, казалось, довольный Коржиков. — Сегодня. Три часа тому назад... Мне позвонил Мартин.

— Мартин?

— Да. — Коржиков сделал знак глазами, призывая к осторожности. — Вы напрасно с ним на ножах... Сойдитесь с Мартином...

Все вместе они вышли из «Веровочки». Коржиков тут же нанял машину и укатил с бородатым. На тротуаре остались Квасов, Марфинька и человек в косоворотке.

— Какая благодать! — Он втянул в легкие воздух, засунул правую руку в карман. — Будто после помойки кислородом дышу.

Жора решил промолчать. Ему казалось, что Коржиков не зря оставил с ним этого мужчину. Чтобы выгадать время, Жора закурил, хотя и без того было гадко во рту. Известие о смерти Шрайбера застало его врасплох, и он воспринял его как предупреждение.

Низкие облака будто тащились по самым крышам зданий. Накрапывал

дождик, зачерняя асфальт, освещенный двумя матовыми фонарными шарами возле углового входа «Веревочки». В ресторан уже не пускали. Запоздавшие гуляки ломались в дверь. Из отдушин-окошек подвала несло смрадом. Вверху, на площади, будто крепость, тяжелело полуосвещенное здание ОГПУ. Квасов снял пиджак, прикрыл зазябшие на ветру и дождике плечи Марфиньки и неловко под пиджаком взял ее под руку.

Они пошли вниз, к Театральной. Незнакомый мужчина пошел вместе с ними, продолжая разговор с Марфинькой. Будто случайно, он заинтересовался ее немудрой биографией, и Марфинька охотно отвечала ему и даже наивно с ним кокетничала. Он был красивым мужчиной.

Перешли на другую сторону улицы, скользя на мокрых торцах мостовой. Квасов вдруг ощутил свое бессилие и робость. Раньше бы без церемоний турнул этого пристава, а сейчас не мог. Больше того, он покорно начал отвечать на его вопросы.

Незнакомец что-то слишком подробно расспрашивал о Шрайбере, его характере, привычках и будто невзначай остановился на Мартине. Казалось, он лучше Квасова знал заводских немцев.

— Что ты нас выдаиваешь? — в шутку возмутился Жора и как бы случайно хлопнул его ладонью по правому боку; ему показалось, что парень катает в кармане пистолет.

Тот ловко увернулся от Жоры и без всякой связи стал рассказывать о первопечатнике, когда перед ними возник его тускло освещенный фонарями бронзовый памятник у Китайгородской стены.

Потом он весело рассмеялся, сверкнув отличными зубами, и на прощанье вручил Марфиньке свой телефон. Отрекомендовался он безличным именем: Иван Иванович.

Когда Квасов и Марфинька шагали по Охотному ряду, Квасов упрекнул:

— Зачем ты взяла у него телефон?

— А что в этом плохого, Жорик?

— Если женщина берет телефон, это ее обязывает.

— К чему?

— К тому самому... Не притворяйся!

— Что ты говоришь! — Марфинька повисла у него на руке, подняла веселые, смеющиеся глаза. — А его не обязывает?

— Ладно, ладно, Марфута, ты пьяная. Пошли...

И на Жору снова нахлынули прежние угнетавшие его мысли. Загадочная гибель Фомина, смерть Шрайбера, этот Иван Иванович со «шпалером» в кармане, Коржиков — вот сколько бед навалилось на одного

человека...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Почему же умер Шрайбер? Инфаркт миокарда? Болезнь сосудов головного мозга? Так определило вскрытие. Но и нечто другое сгубило его. Национал-социалистический фатерланд успешно закончил охоту за Шрайбером, за его прошлым и настоящим. Ему ничего не простили: ни партийного билета, ни работы на русских, ни критики нового режима, от которой он не удержался в письме к жене после ареста брата. Арестованный в Гамбурге, в доках, его брат бесследно пропал. Жену Шрайбера и детей увезли в лагерь, и о судьбе их не мог узнать даже Наркомат иностранных дел.

Как бы то ни было, Шрайбера не стало.

Шрайбера не только ценили в России, его любили на заводе за простоту, вежливость и уважение к труду, сближавшее с ним рядовых рабочих. Он приехал из Германии одним из первых, и потому его считали соотечественники как бы старостой, обращались к нему за помощью и советом. Поэтому на похороны собрались не только заводские, но и человек до тридцати немцев, работавших на других предприятиях. В зале заседаний завкома могла уместиться только часть людей, остальные стояли во дворе. Траурный митинг открылся вскоре после гудка, завершившего первую смену.

Сначала говорил о достоинствах покойного один из заместителей начальника вышестоящего учреждения, недавно объединившего группу смежных предприятий в разных районах страны. Заместитель был свежим человеком в этой отрасли индустрии, он недавно окончил ленинградский институт, ему было около тридцати, и потому, полный сил и здоровья, он прочитал четыре страницы убористого машинописного письма довольно бойко, если не сказать, весело. Попытки придать своему цветущему лицу и ярко сверкающим глазам соответствующую моменту печаль не удалось. Он был еще так далек от могилы и так хорошо устроен в Москве после полугодных лет студенчества, что мог представить себе смерть только умозрительно, не испытывая сердечной боли. В своей речи он перечислил многие достижения социализма, выросшие за последние годы гиганты черной и цветной металлургии, химии, энергетики, сложных сельхозмашин, турбин, станкостроения и заводы, для которых, как выяснилось из его выступления, покойный Шрайбер подготавливал базу

точной механики.

Закончив надгробное слово, заместитель вынул белый платок с тугим рубчиком от утюга и провел им по сухим глазам.

— Ишь какого актера подсунули в наше объединение! — шепнул Парранскому Лачугин, сложив на животе руки. — Видно, по нашей отрасли еще мало кумекает.

Парранский вежливо отстранился от своего тучного соседа, поморщился: изо рта Лачугина исходил дурной запах. И ответил, нажав на последнее слово:

— У него есть все данные, чтобы отлично к у м е к а т ь.

— Что же у него за данные? Квартиру сразу дали, это я знаю.

— У него большой запас времени. Он молод...

Лачугин тяжело вздохнул.

Теперь говорил Отто, горячо вскидывая то одну, то другую руку и протягивая их к покойнику, лежавшему в своем неизменном твидовом пиджаке и в крахмальной белой рубашке и бордовом шерстяном галстуке. На безымянном пальце блестело широкое обручальное кольцо, редкие седые волосы зачесаны назад так, что лысина не видна. Отто называл покойного другом, отцом и старым моряком. Он говорил по-немецки, речь никто не переводил, но все понимали ее смысл: иногда Отто вставлял русские фразы.

Среди державшихся вместе немецких женщин, одетых в черные платья, слышались всхлипывания. Саул на ходу переводил речь Отто Квасову и Бурлакову. Отто говорил о том, как тяжело умирать вдали от родины, но, словно утешая покойного, отметил, что для него Москва не была чужбиной.

— Чего уж тут!.. Дал дуба — значит, дал! — сказал Жора. — Фомин утоп, этого спалят на коксе...

Как и всегда на похоронах, кто-то один должен был отвечать за порядок. Этот о д и н обязан отрешиться от всего личного и заниматься похоронами, как любим д е л о м. Надо следить за тем, чтобы ничего не перепутали, чтобы выступили заранее намеченные лица, а не все, кому заблагорассудится; надо командовать оркестром, транспортом, выделить людей: кому нести венки, кому крышку гроба; подтолкнуть к гробу тех, кому назначено выносить; следить, чтобы не подвернулись случайные люди.

Распорядиться похоронами Шрайбера «треугольник» уполномочил начальника снабжения и сбыта Стебловского. Он все организовал хорошо: первая часть церемонии прошла без заминки. Венки выносили лучшие

ударники и немцы, гроб — дирекция, представитель объединения и близкие покойного. В крематории, как и условлено, должны были выступить Ожигалов, Парранский и Майер. Стебловский непрестанно докладывал Ломакину о ходе церемонии, сновал туда и сюда и, только когда процессия тронулась по улице, вытер лысину и облегченно вздохнул.

— Ужасные обязанности, Андрей Ильич, — сказал он ехавшему вместе с ним Парранскому. — Вы не можете себе представить, на какую мне пришлось натолкнуться стену. Чтобы добиться крематория... — И он стал рассказывать, как ему удалось сломать все рогатки, прорваться к тому-то и тому-то и устроить все без лишней потери времени.

Парранский, подавленный смертью Шрайбера, слушал Стебловского невнимательно. Он думал о своем сердце, которое пошаливало, и всякий раз, когда он уходил из дому, жена напоминала, чтобы он не забыл пузыречек с валидолом.

У ворот крематория Парранский вышел из своего «газика». Из другой машины вылез Ожигалов и тут же закурил, пряча папироску в кулак, быстро затягиваясь и выпуская дым через широкие ноздри. Мимо Парранского прошел Ломакин, говоривший заместителю начальника объединения о необходимости подыскать кандидата для замены Аскольда Васильевича Хитрово. Молодой вышестоящий начальник уже знал о Хитрово, считал его ничтожеством и советовал «гнать в шею как можно скорее». К чести Ломакина, он не соглашался с мнением вышестоящего начальника: «Нет, нет, в данном случае нельзя так поступать. Мы его проводим достойно. Мы не азиаты...»

Немцы приехали на автобусе и, сгрудившись в кучку, сговаривались о поминках в складчину. Вилли, которого Парранский хорошо знал как специалиста по спецстеклу, тут же принялся собирать деньги, заноса цифры в записную книжечку. Немцы говорили о Мартине, осуждая его поведение, и вынесли решение не приглашать его на поминки, а если явится незваный — не допускать.

Парранский бывал в Германии, отлично знал немецкий язык, и ему поручили неприятную миссию — уволить Мартина. Сейчас Парранскому не хотелось думать о Мартине. Парранский знал и понимал Германию Шрайбера, но не знал и не понимал Германии Мартина. Не представляя еще себе будущих трагедий, Парранский не беспокоился о России, но ему было жалко Германию Шрайбера, ее чистые города, добродушных северных девушек и черноглазых саксонок, вересковые долины и березовые аллеи, немецких детей, женщин с неизменным вязаньем в руках.

Шествие двинулось к мрачному зданию из серого бетона, с широкой

трубой, из которой в бесцветное небо поднимался дым. На лестнице толпились прилично одетые люди и, как на церковных папертях, стояли побирушки, протягивая свои ладони, собранные лодочкой. Впервые попав в крематорий, Парранский невольно попытался определить его пропускную способность и возможности дальнейших реконструкций. Эти мысли отвлекли его от драматизма минуты. Он вполне овладел собой и стал собираться с мыслями перед выступлением, которое ему было поручено и которого он немного побаивался.

Гроб поднесли к оборудованному широкому люку с двустворчатыми крышками, поднимавшимися и опускавшимся автоматически, и установили его на них.

Когда последние приготовления были закончены, Стебловский шепнул Ожигалову, и тот, покачивая плечами и держа кепку в руке, пошел к трибуне, напоминавшей церковный амвон. Парранский почувствовал обмирание сердца. Его пальцы испуганно пробежали по карманам, прежде чем он вспомнил, что валидол в брючном кармашке для часов. Парранский лихорадочно, боясь промедлить секунду, поднес пузырек ко рту. Только теперь слова Ожигалова дошли до него. Ожигалов с трибуны всегда говорил плохо. Он назвал покойного человеком, который «высоко нес знамя партии», и это как-то не подходило к Шрайберу — маленькому, суетливому старичку, любившему пиво и вышивания.

Когда пришла его очередь, Парранский сказал о том, что большинство людей в жизни — маленькие, скромные, незаметные; они не понимают толком своего значения и только в критические моменты раскрываются во всей своей сущности. Оценить по достоинству их можно только на расстоянии, отбросив мелочи и поняв главное. Шрайбер — сын истинной Германии, не той, которая сейчас марширует под стук барабанов.

Возможно, ему, беспартийному человеку, не место говорить здесь о политике, но перед ликом смерти ему захотелось сказать именно так, он не имеет права лгать или утаивать. Нередко его понимали превратно — возможно, он сам виноват в этом, а сейчас ему хочется говорить открыто, не стыдясь своих собственных чувств...

Николай Бурлаков вместе с Наташей стояли в толпе, почти у самых дверей. С волнением он слушал надгробное слово Парранского.

Шрайбер отдал жизнь за дело рабочего класса. Да и как могут рабочие поступать по-другому? Индустрия требует жертв и сознательности. Если заводы только чудовища, пожирающие здоровье, время, мозг человека, — зачем нужны такие жертвы? Если заводы помогают рождению пролетарской правды, заглушают бой фашистских барабанов, помогают

уничтожить зло, погубившее Шрайбера, — тогда ничего не жалко: ни мозга, ни времени, ни здоровья.

Парранский говорил с рабочим классом и о рабочем классе.

Стебловский, работая локтями, пробрался к нему. Вытянув шею, внимательно слушал Парранского.

— Алексей Иванович, я его категорически предупреждал, — сказал он, оправдываясь.

— О чем? — Ломакин продолжал слушать Парранского.

— Затянул Андрей Ильич. Еще Майеру говорить намечено, а время поджимает.

Ломакин нагнулся к Стебловскому:

— Время подождет.

Стебловский только развел руками в крайнем изумлении. Человек дела, он не доверял словам и всякие речи считал пустяком, данью условности.

Парранский закончил тепло, бороденка его дергалась от волнения, пальцы дрожали, поправляя пенсне.

— Жаль, здесь не положено, а то похлопал бы Андрею Ильичу, — сказал Ломакин вышестоящему начальнику, которого брала досада на самого себя: он сознавал, что ему-то надгробное слово не удалось.

— Да, ничего сказал... — сдержанно похвалил он. — Теперь послушаем немца. — И добавил: — У нас даже похороны похожи на пленум Коминтерна...

Тихий, незлобивый Майер неожиданно распалился и со всей силой обрушился на Гитлера. Это имя в то время еще не получило зловещей известности, и Майер как бы приоткрыл завесу над смыслом событий, проходивших в Германии. Он называл убийц убийцами и требовал им кары. Его слова, произнесенные на ломаном русском языке, воспринимались как обнаженная правда. Это говорил человек оттуда, и ему нельзя было не верить.

— Надо было его предупредить, — вышестоящий начальник недовольно поморщился, — здесь же не митинг протеста. Необходимо помнить, что с Германией у нас дипломатические и торговые отношения...

К зданию крематория подъехал «паккард» с двумя рожками так называемых кокков — сигналов, устанавливаемых на правительственных машинах. Из «паккарда» выскочил человек в коверкотовом костюме и желтых полуботинках и, быстро взбежав по ступенькам, прошел в здание. Глазами он отыскал Ломакина и, по-хозяйски раздвигая толпу, подошел и передал ему пакет.

— От товарища Орджоникидзе.

Ломакин взял пакет, полагая, что это какое-то новое сверхзадание, и потому, вскрывая, не таился от своего начальника. Тот почтительно наклонился к пакету.

На трех бланках большого именного блокнота Орджоникидзе писал Шрайберу, как живому, своим крупным почерком.

— Товарищ Орджоникидзе очень сожалеет, что не может присутствовать лично... — сказал человек, прибывший с пакетом. — Он просил огласить свое письмо. — Поймав недоумевающий взгляд Ломакина, тут же объяснил: — Для нас это несколько необычно, но в Грузии пьют з а з д о р о в ь е даже покойных.

Ломакин кивнул и быстро направился к трибуне.

— «Дорогой товарищ Шрайбер! — писал нарком. — Я только что вернулся с Урала, где строят заводы социализма, и меня поразила тяжелая весть о Вашей безвременной кончине...»

Это были слова не для газеты, не для сборника речей, не для мемуаров воспоминателей. Нарком писал для немецкого пролетария, коммуниста, и для всех тех, кому нужно было услышать его интимное слово.

Стебловский махнул рукой, орган наполнил храмовый зал звуками Баха. Безупречно работавшие механизмы постепенно опустили гроб.

Пожалуй, только одна Марфинька не испытывала чувства скорби. Нельзя сказать, чтобы ее не волновали речи и траурные церемонии. Но Шрайбер был для нее человеком посторонним, старым, что также имело немалое значение, ибо люди для Марфиньки прежде всего делились на старых и молодых, и только потом брались в расчет их нравственные достоинства. Вся эта печальная обстановка обострила ее страх за Жору, за его судьбу.

— Жора, подойди к нему, — Она плечом подтолкнула Жору к брату, стоявшему возле стены с урнами, покоившими прах сожженных людей.

— Неудобно, — отнекивался Квасов.

— Почему неудобно? Не дури.

— Что я ему скажу?

— Все, что наболело...

— Не доктор же твой Колька, — попробовал отшутиться Квасов.

— Он друг, — упрямо повторила Марфинька. — Друг важнее доктора, важнее профессора. Ты с ним сейчас ни о чем и не говори... Только условься, когда зайти к нему. Зайдем вместе. Наташа сказала, что завтра они поедут в институт. Вот и договорись встретиться попозже, после института.

— Хорошо.

— Что хорошо? — упрямо настаивала Марфинька. — Будет хорошо, а сейчас плохо. Какого человека свалили!.. Сам Орджоникидзе его знал... А ты...

Марфинька добилась своего, и друзья условились о встрече. К Марфиньке подходили подруги, что-то спрашивали. Она никого не замечала, все они казались ей на одно лицо, и всем она отвечала одно и то же:

— Девочки, после. Не мешайте. Очень я занятая...

Жора принадлежал только ей и больше никому, она отвечала за него головой. И за свое счастье тоже...

На другой день после погребения Шрайбера Николай и Наташа поехали в Высшее техническое училище, куда были пересланы документы, ходатайство завода и характеристики. На доске объявлений Николай нашел свою фамилию. Он был допущен к экзаменам. В приемной комиссии, как и во всех подобного рода комиссиях, царила напряженная атмосфера. Но сегодня вместо строгой, неприветливой дамы за столом сидела миленькая полногрудая беляночка, завитая под барашка, что в те времена считалось образцом шика.

— Не волнуйтесь, товарищ, — успокоила она приятным голоском, — вы от станка. Это же превосходно! В вечерний! Тем более! Я бы на вашем месте, вместо того чтобы суетиться, пошла в кино...

В коридоре Наташа, которая все умела деликатно угадывать, разговаривала с товарищем из деканата. Моложавый юркий человек в рубашке с твердым воротником, с желтыми залысинами до самого темени, весело щебетал с понравившейся ему девушкой. Завидя Николая, он переменял тон, поправил галстук.

— Видите ли, я могу сказать одно: нам нужна жесткая арматура. Рабочая прослойка укрепляет напряженные конструкции.

В профессорской столовке, куда Николай и Наташа случайно забрели, им тоже улыбнулось счастье: не спрашивая продкарточек, им подали манную запеканку, политую клюквенным киселем, бурачно-фасолевый винегрет и две свежие булочки.

В самом хорошем настроении они доехали до Всесвятского. Будущий метрополитен открывался глубокой траншеей. Семьдесят тысяч комсомольцев Москвы дали обещание сделать лучшее в мире метро. Из отвалов вывозили мокрые грунты. Куцые грузовики рычали, как звери. А кругом: избы, пески, картофельные и капустные поля, на дикой земле —

лебеда, кошачьи лапки и двухцветные иван-да-марьи.

Расставшись с Наташей, Николай смешался с оживленной толпой студентов, спешивших к общежитиям. Глядя на них, он с чувством какой-то легкой отрады говорил себе, что у него есть теперь свой угол, своя крыша, что ему не нужно никого просить, не нужно унижаться, все идет как надо.

И раньше шло как надо.

Не будь отзывчивого директора и боевого комсомола, ему, возможно, долго пришлось бы ждать своей очереди на жилье. Если бы Семен Семенович Стряпухин не узнал, что Лукерья Панкратьевна тревожится о своих правах, возможно, не так бы скоро выписали наряд на бревна и пиленый лес. Если бы Розалия Самойловна, врач их заводской поликлиники, не обследовала квартиры и не нашла опасности в соседстве с туберкулезной сестрой, дело с отдельным жильем тоже отодвинулось бы. Было много подобных «если бы». Но все они носили побочный характер. Самое главное было в другом: Николай и Наташа старались работать хорошо, и, значит, завод ценил их.

А начало всех начал? Если бы не Жора Квасов, не его письмо, не «о р к а» на конверте... Вчера Жора подошел к нему. Его слова: «Запутался я... А бежать? Ноги немые», встревожили не на шутку. В глазах — тоска и нерешительность. Все это так не похоже было на него. Просьба Марфиньки. Скрытое предупреждение Аделаиды. Сегодня Жора должен к нему прийти. Чего бы Жора ни потребовал, он может надеяться на Николая. Долг платежом красен.

Николай вспомнил, что нужно купить хлеба. Отрывая талон от карточки, приветливая продавщица сказала ему, что ходят слухи об отмене карточек. «Колхозники, пишут, лучше стали работать», — она указала на лежавшую на прилавке газету.

Потом Николай медленно шел по улице. На фоне сумеречного неба поднимались высокие, узкие корпуса студенческого городка. Светились бесчисленные окна. Городок возник словно по щучьему велению. Его заселили за трое суток. Теперь в корпусах, похожих на пчелиные соты, роились тысячи студентов.

Когда Николай добрался, наконец, домой, он встретил у ворот Ожигалова и своего отца. Отец не знал нового адреса. Его привел сюда Ожигалов. Они сидели на вынесенных Лукерьей Панкратьевной табуретках и разговаривали о колхозных делах. Отец, по укоренившемуся в селе обычаю, высказывался перед партийным человеком осторожно, ничего не хулил, больше поддакивал. Во двор он не вошел, чтобы не давать повода

Ожигалову, этому, казалось, неплохому человеку, задержаться тут. Кто его знает, как посмотрит на это сын. За последние годы в Степане Бурлакове выработалась характерная черта — подозрительная осторожность.

— Ничего живем, ничего, — в который уже раз повторял он в ответ на настойчивые расспросы, — на бога и на власть не гневаемся. Урожай, правда, плох, рожь в солому пошла, полегла, косами брали, на валки упали дожди, проросла рожь, чисто падалица, щеткой в землю, не отдерешь. А так ничего... Травы много накосили, согрел ее, подсоллил. Фунтов сто соли пришлось извести! Зато корм...

Степан подробно рассказал о своей корове.

Ожигалов поддразнивал хворостинкой собачонку, тщетно ожидавшую подачки.

Заметив сына, отец встал, поправил пиджак и подаренную им фуражку — алый верх, белый околыш, Николай обнял отца.

— Не звал, не ждал — сам приехал, — сказал отец, когда закончились объятия и обязательные при первой встрече расспросы.

— Хорошо, папа, спасибо. Проходите. — Николай посторонился, чтобы пропустить гостей. — Сейчас Наташа прибежит. В магазине она. Не знали мы...

— А я у тебя тоже впервые, — сказал Ожигалов. — Помогла тебе наша комса или только мешала?

— Помогли! Спасибо! — отвечал Николай. — Проходите. Табуретки я сам захвачу.

Отец подозрительно следил за Ожигаловым: в его представлении он был одним из разрушителей привычного, устойчивого быта. Партийный секретарь почему-то дважды вслух перечел список жильцов, вывешенный на черной железке под фасадным домовым фонарем, потом долго и весело рассматривал белых петушков, перья которых были перемечены красными и синими чернилами, расплывшимися от дождей. Петушки как петушки, сытые, новой породы, и чего над ними смеяться? Через решетку забора куценького огородика свисали крупные шляпки грызового подсолнуха, тоже помеченные цветными лоскутками.

Ожигалов посмеялся и над подсолнухами, покачал головой.

— В какой цвет своих петушков будешь красить, Колька?

— Не буду, Ваня. Не думаю заводить петушков.

— А почему? — спросил отец. — И курятина будет, и свежее яйцо. Невелика с ними забота, руки не отсохнут.

Ожигалов перестал смеяться, выковырял из тронутого птицей подсолнуха несколько семечек и, пощелкивая ими, подошел к пристройке

обветшавшего дома.

— Она? — спросил Ожигалов.

— Она.

— Что же, знатная штука... — Ожигалов остановился, заложил руки за спину.

Степану очень не понравилась насмешливость этого человека. Но когда сын стал хвалиться и восторгаться пристройкой и ощупывать вкусно пахнувшие смолой, недавно окоренные, законопаченные швами бревна, отец успокоился.

А как не полюбоваться на двери и рамы, окрашенные цинковыми белилами на натуральной олифе! Ступеньки скрипят, как нерасхоженные сапоги. Пол зацвечен искрасна-коричневой охрой. Сам охаживал каждую досточку, каждый шов. Утрами будильник еле-еле дозванивался до его слуха. Даже на заводе ему мерещились окошки, стены, баночки с красками, ящик с гвоздями.

Вот здесь станет кровать, здесь стол, этажерка, а может, буфет. Все вымерено рулеткой до сантиметра.

— Теперь прошу в нашу прежнюю комнату. Переберемся в пристройку, а комнату отдадим.

— Это кому же? — спросил отец.

— Сестре.

— Сестре? — переспросил отец. — Богато дарите.

Николай промолчал.

— Тут много разных тонкостей, — пояснил Ожигалов. — Не будем их обсуждать. Только, Коля, не очень гордись.

— Чем?

— Собственностью.

— А почему бы нет? — строго спросил отец. — Свое есть свое.

— Построил хибару — захочет корову, — миролюбиво сказал Ожигалов.

— Только не корову. — Николай мельком взглянул на отца. — Тетка дает закуту в сарае для козы. Вот и свое молоко будет!

— И пух, — поддержал отец. — Довелось мне в тридцатом ездить в Поворино. Может, слышали?

— Знаю, воевал и в тамошних местах, — сообщил Ожигалов. — Ну и что там, в Поворине?

— Вокруг Поворина в селах держат коз особых, для пуха. Бабы платки вяжут из пуха — и к поездам. Земля там, как кирпич, ничего не дает, налогами задушили. Платками и кормятся люди. Живая копейка идет с

КОЗЫ.

— Ишь ты, какая, оказывается, коммерция, — Ожигалов улыбнулся, — а я и не знал!

— Знал бы, козу завел, Ваня? — пошутил Николай.

— А что ты думаешь...

— Завел бы козу... — Отец махнул рукой с нескрываемым пренебрежением. — Вывести вы мастаки, а завести?

Старый крестьянин по-прежнему был недоволен этим партийным человеком. Такие советчики и насмешники только и умеют, что дергать вожжами то туда, то сюда. Степану не нравились намеки на вредность своего. В каждой направляющей бумаге, приходившей в село, в той или иной форме нападали на эту самую вредность своего, будто бы способного загубить революцию. Практически Степан Бурлаков никак не мог добраться до смысла этой пагубной вредности. Ежели крестьяне получают продукты для себя со своей коровенки, какая же тут вредность? Крестьянин член государства аль не член? Не стань он к хлебу, кто ему даст? Артель? Когда-нибудь, может, и созреет артель, а ныне вся скотина передохла в артели. Сапожник Михеев, вместо того чтобы самому стать с косой, тачает сапоги, носит на базар и покрикивает. При чем тут коза, петушок или корова? Да неужто корова сможет забодать революцию? Если революция сильная — а она сильная, ее пушками не взяли! — тогда почему ей страшна корова? Или овца? Неужто ее перекукарекает петушок? Если революция настолько ослабела, то все нужно решать по-другому, а не отпиливать рога коровенке.

С такими нудными и темными представлениями и существовал Степан Бурлаков, и никто ни разу ничего не разъяснил ему, неграмотному и заблудшему.

В то время когда колхозный крестьянин и секретарь партийной ячейки вели нескладную и несогласную беседу, Николай Бурлаков, посильно выполняя долг гостеприимства, взял в руки шинель и ушел из дому. Эта шинель перекочевала в руки старьевщика, инвалида первой мировой войны, продувного мужчины, «выручавшего» окраинный люд в критическую минуту. Будучи человеком опытным в определении психологического состояния своих клиентов, инвалид первой мировой войны оценил шинель не столько по ее качеству, сколько по явной нетерпеливости ее владельца. Двадцатка — невелик капитал, но можно купить водки, а к ней ливерной колбасы и азовской тюльки. В последний раз перед бывшим кавалеристом мелькнули петлицы, шикарные отвороты рукавов на темно-синей подкладке, латунные пуговицы на разрезе.

Вернувшись с двумя бутылками водки и снедью, Николай застал умилительную картину. Отец, Ожигалов и Лукерья Панкратьевна с азартом резались в «подкидного дурака». Затея Ожигалова удалась на славу: была сломана стена взаимного недоверия и подозрительности. Отец всегда был страстным игроком, да и тетушка разошлась. Ожигалов лукаво подмигнул остановившемуся в дверях Николаю и яростно покрыл подброшенных ему жирных королей такими же засаленными тузами.

— Заходи, Коля, четвертым будешь, — пригласил Ожигалов. — Давайте пара на пару.

— Отлично, — согласился Николай и, сунув на подоконник две бутылки водки и сверток со снедью, присел на кровать. — Пока Наташа придет, поиграем, а потом сообразим по рюмахе.

Отец веером раскинул карты в руке, вздохнул всей грудью.

— Оставим мы их дураками, Колька. У меня шестерка. Наш ход.

Азарт все-таки упал. Игра закончилась вяло. Лукерья Панкратьевна пересчитала карты, собрала колоду и ушла в пристройку готовить ужин.

Отец сказал:

— Любую вещь можно засунуть в бутылку. Гляди, секретарь, вот и спряталась шинелька. Прогуляете вы свое светлое царство. Легко у вас живется.

— Не так легко, как со стороны кажется, — миролюбиво сказал Ожигалов. — Кабы легко...

— Понимаю. Трудности?

— Трудностей немало, — согласился Ожигалов.

— Как начались они с первого залпа «Авроры», так до сей поры и не кончаются. — Отец гнул свое. — На каждом шагу ждите их, этих самых трудностей. А шинель ты зря спустил, Колька.

— Отслужила она свое, папа. Висела музейно, будто кафтан Петра Великого. — Николай показал драповый реглан, дарованный Жорой. — Вот теперь какая штука служить мне будет. Двусторонний немецкий материал, драп. Штука хорошая.

— Теплое сукно. — Отец пощупал реглан негнушимися пальцами. — Больше ничего на зиму?

— Зачем еще?

— Ясно. За скотом не ходить, навоз не возить, — согласился отец. — В трамвае — крыша, на заводе — тоже. Нигде не дует... — И вышел недовольный.

В комнату через открытое окошко летела мошкара, хороводно кружилась вокруг лампочки. На улице брэнчала гитара. Незрелые, ломкие

голоса пели бытовавшую тогда песенку, занесенную джазом Утесова: «Гоп со смыком».

Закурив, Ожигалов подошел к окну и вслушивался в песенку с выражением не то страдания, не то неловкости.

— Ты что это не в своей тарелке, Ваня? — спросил Николай, предполагая, что виной — отец. — На него не обижайся, ему трудно угодить. Все старики ворчат. В душе-то он все понимает правильно.

Ожигалов повернулся к Николаю, лицо его построжело.

— Хочу попросить тебя, Николай, об одной услуге.

— Пожалуйста...

— Услуга такая. Сегодня у тебя будет Квасов...

— Откуда ты знаешь? — удивился Николай.

— Прибегала ко мне Марфа...

— Понятно.

— Итак, проясни с Жорой всю обстановку. Он хочет тебе открыться. Нас либо стесняется, либо, верней всего, не доверяет. — Ожигалов смял окурочек. Лиловый якорек на левой кисти руки, казалось, шевелился. — Учти: если прицепятся со стороны, Жорке не отбелиться.

— Я ничего пока не знаю. У тебя тоже одни намеки, Ваня...

— Надо доискаться истины и помочь. — Ожигалов говорил веско, без обычной усмешки. — Тебе в партию вступать. Зачислим это как первое партийное поручение. Человека надо выручить... — Он поднялся, подал руку.

— Хорошо. — Николай задержал его руку в своей. — А может быть, останешься?

— Прогуливать светлое царство? — Ожигалов натянул кепку на голову. — Кстати... Недавно в «Веревочке» Квасов познакомился с одним гражданином. Напомни: гражданин в косоворотке. Скажи Квасову: неплохой человек. Загадки? Опять-таки Марфа узнала. Она с этим человеком встретила, он ей свой телефон дал. Вот они и встретились. Хороший и нужный человек. Ну, прощай. Наталья — пламенный привет от всего моего многогранного семейства...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Отец будто только и ждал ухода Ожигалова. Внимательно осмотрев в сопровождении Лукерьи Панкратьевны весь дом и двор, он вернулся в комнату и присел на стул спиной к двери.

— Не знаю, как у тебя на работе, — начал отец, глядя не на сына, а на гирьки ходиков, бросивших на стену резкие подрагивающие тени, — а тут... От чего ушел, к тому и пришел. Только разве труба повыше и дыма поболее. — Он откашлялся, вытер ладонью бороду. — И родня такая же малокультурная, необразованная. А пицца... — Старик уныло качнул головой. — Жалко мне вас. Что там купил за шинель, кроме водки? Ливер и тюльку?

— Учиться начну, — сказал Николай, продолжая думать о поручении Ожигалова.

— Поступил уже?

— Поступаю. Выучусь, буду инженером.

— Инженером? — переспросил отец, всматриваясь в сына. — Поблек ты, Коля. Матерь пугать не стану, а не тот стал, кем был. С армии вернулся молодцом. А тут и с лица привял, и...

— В армии жил без забот. Да и здесь пицца хорошая, всегда вовремя, ровная...

— Пицца? Вот эту «жуй-плюй» пищей называешь? — Отец ткнул пальцем в рыбешку. — Инженер! Помню, когда отводку тянули, заезжал в село инженер, начальник дистанции. Кучер у него. Фаэтон. Длинный пинжак. Фуражка с кокардой. Вечером заехал, а брит. Видать, два раза в сутки брился.

Николай сконфуженно провел по щетине, затянувшей его подбородок и щеки.

— Извини, замотался.

— Я не к тому. — Отец стал добрее и как-то ближе. — Если уж ушел, так ушел! Было бы за что... О селе не думай. Власть правильно сочинила: земля обчая, скот и так далее. Теперь уходить не жалко. Раньше бы за межник свой уцепился, а теперь что Михеев, что Сидоров на земле — разницы нету... Мы с матерью вдвоем остались. Тоже, кроме подпола да коровенки, все чужое...

— Хуже стало в артели?

— Почему хуже? В общем, не жалко. И не жалею. Начал тут корневиться, держись...

Наконец вернулась Наташа. Она успела навестить сестру, Анну Петровну, привезла от нее кое-какие продукты. Наташа весело и приветливо поздоровалась с отцом. Глаза ее, веселые, искристые, говорили лучше слов. Сближение между чужими людьми, вступившими в родственные отношения, не всегда проходит искренне. Но оно легко давалось Наташе. Она любила людей и верила хорошему в них, не выискивала дурного. Ей и сейчас хотелось сделать приятное мужу и не обидеть его отца. Но, узнав о шинели, она расстроилась: «Зачем, Коля? Я бы все достала сама и без этого...» Ей были дороги воспоминания, связанные с шинелью, первые робкие встречи с Николаем. Какой-то кусочек прошлого откололся вместе с этой шинелью, перекочевал в чужие руки.

Степан Бурлаков наблюдал за невесткой сначала с любопытством, а потом со скрытой нежностью. В памяти воскресла картина метельной столицы, девушка, бросившаяся поддержать старуху; лицо девушки запомнилось ярко, на всю жизнь. Неужто это была Наташа?.. Отец не хотел спрашивать. В конце концов неважно, она или не она. Но именно такая могла это сделать.

Наташе хотелось понять, осмыслить интересы отца Николая, пока такие для нее далекие. Она не совсем понимала, с кем спорит отец. Он заставил ее сесть рядом и слушать его рассуждения о том, что значит свое и что не свое, общее, государственное.

Была революция, да, была, развивал свои мысли Степан Бурлаков, объявили крестьянам вольную землю, дали во владение помещичью усадьбу, скот помещика и его земледельческие машины. Пошло дело вроде ничего. На своей земле. Но на этом государство не остановилось. Собрали в один кошель все: и землю, и тягло, и плуги. Дело пошло хуже. Пришел трактор. Но одна морока с ним. Покружился по буграм, пожрал керосина столько, что можно бы светить лампы пять лет подряд, не меньше. И ушел. Объявили: дело не идет из-за руководителей. Если вместо такого-то поставить такого-то, то лучше пойдет. Поставили такого-то, а дело не двинулось, рожь обсыпалась, вика-смесь почернела в валках, капусту засыпало снегом, картошку копали в заморозки, лопата не шла, и в бороде иней... Потом Михеева назначили, более расторопного, сапожника. Это ему валушка пришлось скормить, чтобы Марфиньку отпустил. Чуть сдвинулось дело с мертвой точки — глянь, опять какая-то переделка! Вроде нужно изгонять лен, сеять картошку и морковку для потребностей города. И опять

не помогло. И шефы приезжают, и дети по самое горло в навозе, не учатся до глубокой зимы, а все скрипит, буксует, как колесо на склизком. А все потому, рассуждал Степан Бурлаков, что нет у людей отношения, не видят своего. Сколько ни двужильничай, все едино заплатят, как установят в районе, а налоги, заготовки — «отдай, а то потеряешь». Кулаков выслали, а много ли было кулаков в их местности? И не разговелись на них, и зла не сорвали... «Нету интереса» — на том крепились размышления Степана Бурлакова, а раз «нету интереса» в общем котловом довольствии, то каждый принялся варить щи в своем чугушке.

Думалось, в городе лучше, а тут тоже тюлька. Хотя ничего не скажешь, ехал сюда — по дороге двадцать новых фабричных труб насчитал, и поезд шел на час скорее прежнего. Конечно, сын прав, не все сразу делается. Сгорела Москва деревянная, каменную построили; редко встретишь мужика в лаптях, каждый норовит сапоги надеть; а все же решили родители на семейном совете, при двух равных голосах, отдать детям обратно все, что они прислали старикам на подмогу; двести рублей, скопленных Николаем в армии, тоже отдать. Старикам теперь много не надо, картофель на своих сотках опять уродил, молоко стало дороже, на «Суконке» стали пить его не только служащие или инженеры, а и всякая Малашка из общежитки кричит: «Папаша, не забудь мне пол-литра!» Отец для того и попросил кликнуть невестку, чтобы при ней вручить деньги, присланные по переводам, — все, до копейки. Почтовые извещения, сшитые черной ниткой, он извлек из кармана вместе с деньгами.

— Мы не возьмем этих денег, — сказала Наташа. — Нам стыдно брать их. — Поймав протестующий жест отца, она решительно добавила: — Мы оба работаем. Все у нас идет хорошо.

— Мать же просила...

— Спасибо. Большое спасибо! — Наташа обняла отца, ощущая пропитавший одежду запах земли, скота и птицы. — Спасибо, папа, не надо, не надо!..

— И тебе не надо? — спросил Степан сына.

— И мне... — Николай прикоснулся к руке отца, будто отлитой из темного сплава. — Дай нам право.

— Какое?

— Тоже быть отцами...

— Ладно, скажу матери. — И отец спрятал деньги.

В одиннадцатом часу приехал Квасов. Вошел, огляделся, по-родственному поздоровался с отцом.

— Держи, Наташа, для потомка. — Квасов передал ей сверток. — Ну,

не красней. Рано или поздно, не избежать... Не знаю, удастся ли потом одарить...

Отец обрадовался Квасову, встал, залюбовался им.

— Хорош!.. Ничего не добавишь, не уберешь. Прост и люб. Вот ты мне сын, Колька, а скажу: не такой ты! Не всегда прост...

— Иная простота, папаша, хуже воровства! — Жора причесался у зеркала, продул расческу. — А меня переоцениваешь, папаша. Дрянной я человек...

— Прост, прост, — снова подтвердил старик. — Нет у тебя камня за пазухой, нет шила в кармане...

Во дворе послышался звонкий голос Марфиньки. Квасов хорошо улыбнулся, сказал:

— Вот кто человек: Марфинька!

— Она — да, она — да... — Отец вышел ей навстречу, ввел в комнату.

— Здравствуйте, буржуи, — сказала Марфинька. — Ишь как у вас великолепно! Дворец! Как, Жора?

— «Мир — хижинам, война — дворцам!» — отшутился Квасов, любуясь Марфинькой. — Ты кого ищешь?

— А где же товарищ Ожигалов? — спросила Марфинька.

— Нужен он тебе! — буркнул отец. — Как-нибудь и без него не утонем. Садитесь, я вам расскажу про нашего такого же, про товарища Прохорова.

Все уселись к столу, на котором дымилась картошка и притягивала взгляды тихоокеанская иваси; рядом с ней азовская «жуй-плюй» потеряла всю свою аппетитность. В алюминиевой миске тесно лежали соленые огурцы, принесенные Лукерьей Панкратьевной. Приглашенные к столу стеснительные ее дочери оказывали старому Бурлакову почтение, и это окончательно исправило его настроение, а пропущенная единым махом стопка в честь новоселья согрела кровь.

Случай с Прохоровым, попадавшим в глупые положения из-за незнания земледельческого труда, имели успех.

— Ему нужно руководить, а он козла велит доить! — безулыбочно повторял старик после каждой рассказанной истории. — И почему только на крестьянина такая беда: посылают в деревню для руководства кого угодно? Везде руководитель обязан иметь что-то за душой, что-то знать, а за землю каждый неук беретса.

Старик вернулся к вопросам, не дававшим ему покоя. Не оторваться от земли, не уйти от нее! Квасов слушал, применяя его речи к своей жизни: сам не исправишь, кто позаботится? Даже если плох отец, никто не захочет

отчима.

Перед тем как приехать сюда, Жора говорил с Саулом, казалось бы, на отвлеченные темы: почему тревожно в мире, откуда идет опасность, а может быть, и смерть? Расспрашивая, он думал о себе, как о частице большого тела, которую черные силы пытаются оторвать и привить к инородному, уродливому телу. И это страшно: ноги немеют, не замахнуться, не отбиться. Прямо как во сне.

Саул говорил о задачах рабочего класса. Если ему поверить, весь трудовой мир живет надеждой на победу рабочих в России. Весь мир считает его, Квасова, образцовым, внутренне красивым человеком. А мир шатается. Ожили и заговорили кратеры на земле.

— Можно тебя на минутку? — спросил Жора Николая.

Тот поднялся.

— Можно. Хочешь, выйдем?

Марфинька проводила их глазами. В открытую настежь дверь видна была стена черного дыма, окрашенная багровым огнем.

— Помоги ему, Коля, — посоветовала Лукерья Панкратьевна. — Пусть провеет на свежем воздухе.

— Быстро дошел, — сказал отец, — а тяпнул меньше моего. Хотите, я вам расскажу случай? Давно это было, стояли мы в одном фольварке в Польше...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Квасов отвел Николая подальше от дверей, к решетке забора.

— Помочь мне может друг, а не начальник милиции. Верю тебе и не боюсь. Слушай...

Перед Николаем разворачивалась дикая история во всех ее подробностях. Наконец-то открылся «кузен Серж» и полностью прояснились туманные предостережения Аделаиды. Николаю не приходилось сталкиваться с той стороной жизни, которую можно назвать ее изнанкой. Враги, несомненно, существовали, и специальные органы советской власти следили за их происками, обезоруживали их. Два мира находились в смертельной схватке. И, однако, все это было далеко, проходило как бы стороной. Дрались и дрались! Никто не поручал вмешиваться, помогать. А ну вас! Занимайтесь своим делом... Теперь же опасность была рядом. В борьбу против рабочих зарубежные враги втягивали самих рабочих. Понятным становилось поручение Ожигалова.

— Слушай. — Квасов оглянулся. — Послезавтра в одиннадцать ночи он будет ждать меня.

— На квартире?

— Нет, не на квартире. В переулке, — Жора назвал переулок.

Однако он хотел проверить самого себя, найти больше сил для борьбы, если уж в нее нужно вступать, отбросить всяческие сомнения.

— Не преувеличиваешь ли ты, Жора? — напрямик спросил Николай, так же прямо, не мигая всматриваясь в глаза своего друга.

Жора вначале не понял вопроса и попытался так же горячо, порывистым шепотом повторить какие-то подробности, выплеснуть хотя бы часть из того, что тяготило его.

— Подожди, подожди, — остановил его Николай, — раздетализировал ты все и так правильно, могу сам все до последнего шурупа собрать, свинтить. Ты скажи главное: нет ли тут того самого страха, от которого глаза велики? Приучают нас везде видеть шпионов, агентуру коварного врага, оглядываться туда-сюда, крутиться на собственной оси, за хвостом своим гоняться.

Квасов остановил друга, схватил его за руку; глаза его помутнели, а губы стали белыми-белыми, безжизненными, мертвыми.

— Шпионов пусть гепеу ловит, — яростно выдохнул он. — Страшнее

тут, Колька, пойми... Душой они хотят нашей завладеть, Колька! Хотят, чтобы мы отказались от крови нашей, ото всего... Мы один на один схлестнулись с ними и один на один должны решить, по-рабочему, без свистков, без протокольчиков. Нас не нужно за ручку водить по революции, поглядите, какие цветочки хорошенькие... Революция во мне сидит, тут, — ударил кулаком в грудь. — Я отсюда должен все выкидать к чертям собачьим! Сам, не нужно мне чужих вил и граблей... У меня аммонал внутри... Сюда фитиль тянут...

— Успокойся, Жора, — остановил его Николай, осмысливший все, что было сказано. — Я понял все. Не доказывай мне больше ничего, не убеждай... Ясно, я должен помочь тебе, только как?

Ничто теперь не выдавало внутреннего волнения Николая. Именно таким, спокойным, обязан предстать перед мятущимся другом, чтобы он поверил ему и доверился полностью.

— Говори, Жора, — попросил он твердо, — где тебе назначил «свидание» Коржиков?

— Недалеко от Марфиньки. От нашего дома. Если мы его не повяжем — нулевые мы люди! — Глаза Жоры сверкнули гневом. — Подумать только! Хуже меня не нашли... Меня в Сибирь нужно, а не на стружку. Сегодня, мол, подписывай, а завтра иди и завод подпали...

— Только не надо шараться, — сказал Николай. — Ты был один, теперь нас двое. Тебе стало легче и мне! Разное можно было подумать...

— Каких только кошмаров не вижу!.. — Жора придвинулся ближе. — Утопленника вижу... Фомина. Шрайбер из головы не выходит. Будто гвоздей повбивали мне в голову. Щипцами не ухватить, не вытащить...

— Ухватим, вытащим, — успокоил его Николай. — Узаконенным путем не хочешь?

— Пойми: если я его сам — одно дело. Если явлюсь с повинной и выложу это, — он вытащил деньги, — спросят, и правильно сделают: «Почему ты их так долго таскал? А кто поручится, не две ли было колоды, гражданин Квасов?» Понял?

— Понял...

— А раз так... — В светлом пролете двери показалась Марфинька, и Жора прикрикнул на нее. Марфинька скрылась. — Раз так, то я его на гирьку. Она на добром ремешке и крепится вместо браслетки. Мне ее до послезавтра таскать не годится. Вдруг застукают: улика.

Николай опустил гирьку в карман галифе.

— Фунтовик, что ли?

— Фунтовик. Дашь по темени — и в самый раз!.. Пойдем. Опять

Марфута тут как тут. Идем, Марфута! — Он сказал серьезно: — Ради нее тоже... Люблю ее, Колька...

Жора и Марфинька уехали в город. Отец остался ночевать. Ему постелили в маленькой комнате.

На следующий день Квасов должен был заехать за Николаем в десять часов вечера на машине. Коржиков знал Николая. Не годилось раньше времени появляться в переулке, чтобы не спугнуть осторожного «кузена Сержа».

Дальнейшие действия тоже были распланированы во всех подробностях, обсуждению их они отдали немало времени. Но друзьям и в голову не могло прийти, что Марфинька следила за ними, будто невзначай задавала вопросы. У них сложился свой план, у Марфиньки — свой, и только будущее могло ответить, чья мысль работала лучше.

Нетрудная, казалось бы, задача — встретиться с Коржиковым. Но по мере приближения этого «свидания» вырастали все новые сложности.

Наташа постелила отцу в их старой комнатухе, взбила подушку и, вернувшись в новую комнату в пристройке, увидела, что сегодня муж почему-то необычно рано решил отправиться на боковую.

— Э, нет, будущий студент, мы по-другому намечали наши обязанности! — Наташа растормошила Николая, велела сесть к столу и, раскрыв учебник, проговорила скучным педагогическим голосом: — На чем мы остановились в прошлый раз?

— Наташа, прости, совсем не варит сегодня голова, — взмолился Николай, не зная, как заставить ее лечь и заснуть поскорее.

— Нет, нет, и не проси! Теперь тебе нельзя надеяться на внешний вид, ведь шинели уже нет, приходится рассчитывать только на знания.

Как назло, в доме долго не замирала жизнь. На тетушкиной половине разливалось сопрано Вяльцевой, потом цыганщину сменили каторжные песни. Граммофон заводили дочки Лукерьи Панкратьевны, и воздействовать на них было невозможно. Через капитальную бревенчатую стену проникали и другие звуки; на полную мощность работал самодельный радиоприемник, долгожданное детище мужа Наташиной сестры, который служил на центральной станции связи; на улице бродили люди, доносились обрывки разговоров.

Легли в десятом часу, при открытых окнах. Уже неделю держались прохладные вечерние зори, и спалось легко, если ветер не нагонял копоть с завода. Наташа, пожелав мужу спокойной ночи, повернулась лицом к стене. Он знал, что она притворилась спящей. По-видимому, он плохо скрывал

свое беспокойство, и Наташа инстинктивно ждала чего-то. Неяркий свет уличного фонаря проникал в окно и, словно просеянный сквозь тюль занавески, рассыпчатыми мельчайшими пятнышками играл на зеркале и на свежеокрашенной белой двери.

Какие-то чертики мигали в глазах Николая, подсмеивались и вдруг сливались в одно лицо. Коржиков! Не только Квасова преследовал «гражданин вселенной».

Часы на руке фосфорически мерцали. Скоро должен подъехать Жора. А что Наташа? Он легонько прикоснулся к ее руке.

— Ты не спишь?

— Засыпаю, Коля. — Она не изменила позы, приоткрыла глаза. — Вы что-то надумали с Жоркой? Что?

— Поверь, ничего страшного.

— Почему же ты так волнуешься?

— Не знаю... Мне трудно тебе объяснить... — Он прислушался: кажется, машина уже пробиравалась по их улочке. — Подробности ты узнаешь не позже утра. А в идее, если хочешь знать, я должен сегодня бороться за двух человек... Бороться и победить.

Наташа быстро повернулась к нему, приподнялась на локте.

— Мы договаривались никогда не лгать друг другу, всегда говорить откровенно и... гасить ссоры или недомолвки в самом начале.

Свет фар скользнул по окошку, хлопнула дверца машины. Надо спешить. Николай встал, быстро оделся, незаметно опустил гирьку в карман.

— А это зачем? — Наташа поднялась.

— Заметила?

— Не дурачься. — Она подошла к нему. — Мне страшно. Сначала я думала, что замешана женщина... Надеюсь, ты теперь объяснишь.

Жора, по-видимому, поджидал у двери. Машина разворачивалась; ее свет переместился, потом исчез. Слышалось пофыркивание мотора, работавшего на малых скоростях.

— Все будет хорошо, Наташа. — Николай решительно уклонился от прямого ответа. Обнял ее за голые плечи. — Я понимаю... Ты вправе спрашивать, но пока разреши мне ничего не объяснять. Что? Хочу помочь другу. Пришло мое время ему помочь...

— Почему ночью?

— Темное дело, потому и ночью... — попробовал он отшутиться.

— А яснее? — Наташа дрожала.

— Помнишь, приходил Ожигалов? Ну да, когда шинель... Он просил...

Мое партийное поручение...

— Если партийное, зачем берешь гирю?

— Ах да, конечно, к чему она мне? На, возьми. — Он вынул из кармана гирьку, отдал Наташе. — Вернусь не позже двух. Ну, где твои губы? Спасибо!

Николай уехал. Блестящая, будто смазанная маслом гирька лежала на ладони Наташи. Ременная петелька на ушке. Как все ловко приспособлено! Почему навязали Николаю это темное оружие?

Наташа спустилась во двор, выбежала за калитку. Улица была пуста. Черная труба завода, большая, высокая и широкая, извергала дым и пламя. Наташа пошла к себе, в дверях столкнулась с отцом.

— Ты одна? — спросил он глухим голосом.

— Да, папа.

— А он куда подался?

— Нужно ему...

— И часто бывает так нужно? — Отец не скрывал своего неодобрения. — Вижу, сел в машину и... Не время!

— Ничего. Ему нужно, папа, — сказала Наташа еще тверже. — Вы не беспокойтесь. Я знаю, что ему нужно...

Легкими шагами, чтобы не выдавать своего смятения, Наташа вернулась к себе, включила ночник и присела на краешек кровати. Матово светлели кроватьные шары. Кто-то называл такие шары мещанством. И не все ли теперь равно! Любимый человек, отец будущего их ребенка, должен был уйти, чтобы помочь другу и еще кому-то второму. Кому? Марфиньке? Конечно, ей! Ради нее можно и должно.

Наташа была из числа тех женщин, которые способны в какой-то мере подчинять свои чувства разуму. Она умела рассуждать разумно. На подоконнике лежал сверток, принесенный Жорой. Все необходимое новорожденному. Она еще не привыкла к мысли о будущем материнстве. Зачем же другие вмешиваются?..

В свертке — записка: «Будущему правильному гражданину Советского Союза». Записка сегодня обрела новый смысл. Наташа решила не ложиться, она должна дождаться его. А если...

Она, как большинство женщин, верила предчувствиям, и предчувствие беды не покидало ее.

...«Рено», все то же памятное «рено» отсчитывало километры. Мимо пробегали дома и деревья, заборы и глухие стены корпусов старых и новых заводов. Пахнуло сладким теплом — конфетная фабрика бывшего Сиу, а на Балчуге — фабрика бывшего Жоржа Бормана, тоже француза. В город

везли центроплан и сложенные разломанные крылья самолета. Куда? Вероятно, в ЦАГИ. Туда отвозят останки разбившихся самолетов. Откуда? Возможно, с бывшего завода Дукса. Что-то мастерил Дукс по этой части. Нет уже и Дукса, зато в стране много заводов, где делают моторы, крылья, шасси, винты. Дукс, кто его знает, француз с острой бородкой или немец с пивным сердцем? Бывший Альберт Юбнер — фабрика шелков, бывший Жиро — ныне комбинат «Красная Роза», бывший Живард — гардины и тюль, фабрика «Ливерс» — ныне имени Тельмана. Аделаида работала на бывшей фабрике Альберта Юбнера. Девчата из шелкоткацкой держали шефство над родным колхозом Николая. Как давно это было, ужасно давно!.. Память с трудом продиралась к прошлому, ведь каждый год молодости равняется десяти годам старости, когда время летит все быстрее и быстрее.

«Рено» миновало Триумфальную арку и теперь бежало мимо низких неказистых домов у истоков Тверской — главной магистрали столицы.

Никто не прощает своего крушения. Ни Дукс, ни Жиро, ни Живард, ни Гужон, ни Бромлей. Ни тот немец, который приказал русскому кузнецу отковать фантастических славянских птиц, чтобы они пророчили ему удачу.

Гирьки нет: Неважно. Не самое мощное оружие гирька. И под пистолетом не дрогнем, под орудийным огнем...

Жора пытается что-то объяснить:

— Они думают, мы продажные твари. Ладно! Квасов потребует. Хотят плюнуть, паразиты, на рабочего человека! Плюнуть и растоптать! Подумать, какие зануды? Не языки у них, а метлы. Я ему подпишу отречение... — К шоферу: — На Садовой-Триумфальной вправо, по Бульварному кольцу. — И снова к Николаю. — Коржиков прет на красный свет. Мы не только дунем в черный свисток, мы ему в ухо... — Дальше посыпались слова, которых не терпит бумага.

Машина остановилась у зашитога тесом забора бывшего Вдовьего дома. Счетчик погас. Жора расплатился. Когда машина уехала, они пошли вниз, к Грузинам.

Трамваи ползли по рельсам, изогнутым у зоопарка, как ятаганы. В кино на Баррикадной шла «Путевка в жизнь». С большой парусины смеялся Баталов. Несколько парнишек, не попавших на последний сеанс, курили у входа, грызли тыквенные семечки. Белая шелуха летела на тротуар. За зоопарком, если пройти вдоль высокого щитового забора, начинались темные унылые улочки, поднимавшиеся на всхолмье. В одной из них жила Марфинька.

— Дальше нам вместе не светит, Коля. — Квасов остановился,

огляделся. — Ты дуй вперед. Увидишь фонарь, не доходя до него — домишко с палисадником, сирень. Залезай в сирень и... сам понимаешь... Я подойду позже, когда ты обоснуешься. Постараюсь подманить его поближе к засаде. Только помни: «кузен» обожает ножичком...

— Знаю.

— Гирька при тебе?

— Безусловно, — соврал Николай.

— Гирька — это хорошо, — продолжал Жора шепотом. — Только гирьку пускай в крайнем случае. Мы должны его живьем... А еще...

— Хватит тебе инструктировать, — озлился Николай, чувствуя, что ему так и не унять дрожь, постыдно овладевшую всем его телом.

— Правильно, хватит. Ну, желаю, Коля!.. — Квасов весело улыбнулся.

Улочка поднималась не круто. Впереди светлое пятно. Не доходя до фонаря, Николай увидел за заборчиком сирень и забрался в кусты. Пахло прелью и мокрой корой. Под ногами противно скрипнуло стекло. Устроившись поудобней, Николай осмотрелся. Отсюда хорошо был виден фасад дома на той стороне улицы.

У единственного освещенного окошка второго этажа читала книгу девушка, прижав ладони к ушам. Черный кот пробирался по карнизу к голубиному гнезду. Все движения его гибкого тела были безошибочно рассчитаны. «У него-то будет удача!» — почему-то подумал Николай. И замер. Ему показалось, что приближается Коржиков. Нет. Шел старик в длинном макинтоше, приговаривая с ехидцей: «В связи с отменой карточной системы, господа, у меня больше никто не осмелится вырезать талоны на жиры. Да, да, господа присяжные заседатели...»

Прошли парнишки без пиджаков, говорили о парашютных прыжках, знаменитом Кайтанове и о Машковском, погибшем парашютисте.

— Я сам видел: Машковский — головой, об асфальт головой... Не там приземлился. Череп лопнул... Если об асфальт черепом, лопнет...

Наконец приблизился Жора. Руки в карманах, поступь тяжелая, мертвая. Немецкие ботинки не скрипели. Остановился в тени. Закурил. Фосфорические стрелки часов на руке Николая показывали пять минут двенадцатого. Коржиков запаздывал.

Еще десять минут. Жора, вероятно, подошел ближе к дому. Его не видно. Томительное выжидание действовало на нервы. Мелькнула мысль: «А может быть, все ерунда? Все почудилось. Нет Коржикова. Нет врагов. Все гораздо проще».

Коржиков появился внезапно. Донесли невнятные слова. Поздоровались.

— Да, да, действительно опоздал, — извинился Коржиков. — При следующих встречах мы заранее должны сверять часы друг у друга.

Квасов сказал что-то в ответ. Коржиков более громко:

— Нет, нет, я не доверяю кустам. Просмотрите бумагу, у фонаря лучше, видней. Не обращайтесь внимания, бумага вмонтирована в книжку Майн Рида.

Жора сказал отчетливо:

— Хорошо. Я дома проштудирую Майн Рида.

— Дома штудировать нельзя, — подчеркивая несвойственное Квасову слово, отрезал Коржиков металлическим, уверенным голосом. — Вы подписываете это в счет аванса. Документ мы с вами уже проштудировали...

Коржиков протянул Жоре «вечное перо».

Квасов взял перо, подался ближе к засаде. Николай приготовился. Коржиков почувствовал неладное, грубо приказал:

— Оставайтесь на месте!

— Чего это вы? — огрызнулся Квасов.

Теперь они стояли шагах в десяти от кустов. Расстояние небольшое для ловкого человека. Но сигнала еще не было. Разведка затягивалась по вине Квасова: он почему-то медлил. Лицо Коржикова теперь было на свету фонаря, бледное, застывшее. Коржиков говорил мягко и вкрадчиво: бич не свистел, дрессировщик укрощал голосом.

— Вы ведете себя неразумно, — проговорил Коржиков.

Следующие слова не дошли до слуха Николая.

«Скорей бы, скорей!» — мысленно торопил он, чувствуя, что его снова трясет озноб. Во рту появилась горечь, как от хины. Проглотив слюну, он переменял положение тела, расправил затекшие плечи.

Где-то в глубине переулка, в черноте ночи, послышался осторожный милицейский свисток; он повторился; если не обманывал слух, затопали по мостовой ноги бегущих. Эти звуки приближались. И именно в эту минуту Квасов сшиб Коржикова с ног. Глухое падение тела, вскрик... Николай выпрыгнул из кустов, проломив ветхий заборчик, и в несколько прыжков достиг места схватки. Заметив нового противника, Коржиков ударил Жору головой снизу, по челюсти. Жора пошатнулся. Оттолкнув его, Коржиков с неожиданной силой обрушился на Николая. Конечно, он сразу его узнал. Но какая-то секунда — секунда внезапности — была потеряна. Все-таки Бурлаков был отделенным командиром, привыкшим действовать показом, а не рассказом. Пригодились тренировки в борьбе, проводившиеся в армии в часы досуга. Коржиков оказался не таким уж слабосильным, с ним

приходилось серьезно считаться.

Прежде всего Николай воспользовался своим преимуществом в росте. Ему не составило труда, обхватив Коржикова за поясницу и крепко сцепив руки на его спине, поднять его, лишить точки опоры. Но швырнуть Коржикова на землю и скрутить ему руки — не удалось. Правая рука Коржикова выскользнула из обхвата, и в тот же миг сверкнула узкая сталь ножа. Инстинктивно зажмурив глаза, Николай бросился на землю вместе с намертво зажатым Коржиковым. Он близко увидел его искаженное лицо, бледное, как маска. Только бы уберечь глаза! Нож распорол гимнастерку и прошел где-то по левому запячью. Николай почувствовал небольшую боль и жар крови, окатившей, казалось, всю его спину.

Николай схватил Коржикова за руку и уже не отпускал, продолжая изо всех сил сжимать его тонкое, плоское запястье. Пальцы, привыкшие к узкому эфесу кубанского клинка, держали надежно, словно капкан. Неподалеку от себя Николай заметил выроненный Коржиковым нож. Только теперь он ясно осознал, какая опасность его миновала. Он изловчился и, не выпуская противника, стянул крест-накрест кисти его рук и при помощи Жоры связал их брючным ремнем.

— Ах ты, гад!.. — бормотал Жора, хватая Коржикова за плечи и исступленно тряся их.

— Хватит, Жора! — Николай поднялся, легонько оттолкнул его. — Самосуд? Лучше погляди, глубоко ли он меня царапнул... — И он повернулся к Жоре плечом.

Гимнастерка, разрезанная почти до пояса, прилипла к телу, текла кровь.

— Не знаю, что делать, — Николай поморщился. — Перетянуть бы. А как здесь перетянешь? Нужно в больницу...

— Что ты! Сами справимся. Не бойся... Мы с Марфинькой... Врача найдем. В больницу нельзя... Что? — Квасов ударил ногой в бок притихшего Коржикова

— Не надо. — Коржиков тихо произнес эти слова. Квасову почудилось, что он улыбнулся. — При огласке ни мне, ни вам не миновать... Развяжите, обещаю...

— Что обещаешь? — Голос у Квасова перехватило. — Уйти...

— От кого?

— От вас...

— К другим подкатишься? — Жора стиснул пальцами щеки Коржикова, и тот заскулил. — Кричи, гад! За меня кричи! Самому невоготу. Зови! Пусть спешит к тебе любая подмога. Держи свои деньги,

держи... — Квасов ударял твердой пачкой кредиток по лицу Коржикова. Подтянул ногой ножик, попробовал жало на ноготь.

— Брось, — сказал Николай. — Все равно не заколешь.

— Почему так решил?

— Он многое рассказать должен...

Квасов, не спуская глаз с Коржикова, вытер нож о свою штанину. Потом тяжело встал, и Николай впервые увидел на лице своего недавнего беззаботного друга выражение безнадежной подавленности.

— Ты зря так переживаешь, Жора...

— Не знаю, отмолюсь ли сам, а тебе большое спасибо, Колька... — глухо сказал Жора. — Вон сколько крови из-за меня потерял...

— Брось дурить. Подумаешь, из-за тебя! А из-за себя?

Невдалеке затормозила машина. Пучок света метнулся по деревьям, по окнам, высветил стены домов и стволы лип.

— Милиция, — сказал Квасов.

Машина двинулась вверх по переулку, продолжая прощупывать стенки домов. Несколько черных фигур вынырнули из темноты. Луч скользнул по кустам сирени.

— Вот они! — закричал женский голос.

Это Марфинька. Рядом с ней бежал знакомый человек в косоворотке, тот самый, что был в «Веревочке».

Жора Квасов спокойно ждал. Пусть бегут люди, пусть светят хоть тысячи лучей, пусть его притянут к ответу, пусть покарают! Разве теперь это имеет какое-нибудь значение? Теперь у него нет тайников, нет захоронок, он весь открыт навстречу людям и правде. Он осторожно прижал к себе Марфиньку, понимая всей душой, как она напугана: «Ты каменный, Жора!.. Я тут, пойми: я с тобой, Жора!..»

Квасов вздохнул, провел рукой по глазам и улыбнулся. Ему было хорошо сейчас. Хорошо как никогда!

Говорят, в ту ночь громко кричал Гамаюн — птица вещая.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)